

Суннатилла Анарбаев

Сайли

роман

Перевод с узбекского В. Дудинцева

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

Художник Тимур Самигулин

Анарбаев С.
А 64 Сайли: Роман. Пер. с узб. — М.: Сов. писатель,
1986. — 248 с.

С. Анарбаев — один из ведущих узбекских прозаиков, творчество которого хорошо известно русскому читателю.

Новый роман писателя «Сайли» — о судьбе женщины, раскрепощенной Октябрем, ставшей социально активной личностью. Его героиня бесстрашно, бескомпромиссно борется со злом, со всем тем, что мешает советским людям честно исполнять свой долг перед временем и обществом.

А $\frac{4702570200-411}{083(02)-86}$ 351—86

ББК 84.Уз7

© Перевод на русский язык,
Издательство «Советский писатель», 1986 г.

Идет по улице женщина в накинутой на голову парандже. Словно черный мешок натянули на человека. Ускорила шаг, свернула в махаллю Ходжагай. Спешит мимо низких и высоких стен, мимо раскидистой шелковицы, мимо растущих в ряд тополей. Вот и знакомые ворота. Остановилась, смотрит в нерешительности. Давно не крашенные доски на воротах рассохлись, резьба на них почернела от времени и непогоды.

Знакомое место... Закинула за голову черную сетку — чачван. Открылось молодое лицо восемнадцатилетней женщины. Черные, будто выписанные брови; пугливые газельи глаза воспалены от бессонных ночей, в них робость и тревога. И нетерпение.

Протянула руку к латунному кольцу. Но передумала, не стукнула. Толкнула створку ворот. Протяжно запели несмазанные петли. Женщина прошла под навесом и оказалась во дворе. В недоумении остановилась, поглядела вокруг — того, что искала, не увидела. Пусто, только ветер кружит красные листья. Растерянная, остановилась посреди двора.

Сзади опять заскрипели ворота. Она поспешно отошла в сторону, рука сама схватила край паранджи, прикрыла лицо. Под навесом постукивала тросточка. Показался седой старик уста Умар. За ним девочка лет восьми в легком не по погоде платье. Шмыгает носом — от холода.

— Сестра!.. — и бросилась вперед.

— Ассалам алейкум, отец!

Женщина потянулась к старику. Но маленькая сестренка повисла на шее, не отпускала.

— Сайли!.. Сама пришла!.. — Уста Умар попытался засмеяться, но смех у него получился странный, невеселый, скорее похожий на всхлипывание. И нос сестренки, тыкавший в щеку женщины, был почему-то мокрый.

— Братишка... Братишку моего забрали! — разревелась вдруг.

— Что-о? — Сайли не сразу поняла ее. — Кто забрал? — Схватилась за грудь, побледнела. — Что ты сказала, Сатти? Скажи толком, что?

Отвела руки девочки от своей шеи, посмотрела в глаза.

— Сайли... — отец взял за локоть девочку, отстранил от старшей сестры. — Пойдем к матери. Заходи, доченька. А ты, Сатти, не лезь в дела взрослых.

Сайли, начиная понимать, с ужасом взглянула на старика. Не помня себя, бегом влетела на айван, блеснул между распахнувшимися полами паранджи переливающийся шелк платья. Открыла дверь. В комнате у окна лежала на кровати старушка.

— Мама!

Ее мать Шаходат-биби лежала неподвижно. Очень она изменилась с той поры, как в последний раз была здесь Сайлихан. Лицо желтое, глаза прикрыты отеками веками. Воздух в комнате спертый, нечем дышать. Видно, давно не проветривали. Пораженная Сайлихан застыла на пороге, не в силах двинуться. Уста Умар стукнул тросточкой рядом. Сняв кавуши, Сайлихан подошла к матери. Наклонившись над нею, распахнула окно.

— Мама!..

Отекшие веки Шаходат-биби медленно приподнялись.

— Пришла... — выпростала из-под одеяла желтую руку.

Дочь со страхом смотрела на распухшие пальцы матери. Дорогие, ласковые пальцы... Еще совсем недавно они были такие тонкие, мягкие, самые красивые на свете. Совсем еще недавно...

Сайлихан со стыдом посмотрела на свои руки — белые, нежные, в браслетах. На пальцах — перстни играют камнями. Ичиги не простые — лак. Виногато понурилась.

— Как себя чувствуете, мама?

Шаходат-биби с усилием шевельнула губами, пытаясь улыбнуться. Не только пальцы и лицо — все тело ее словно набухло. Одеяло стоит горбом.

Отец у двери простер руки, собираясь прочесть молитву. Увидел плачущую Саттихан, пристыдил ее:

— Ты уже большая девочка, стыдно плакать. Иди чай завари, давно пора завтракать.

— Мама, где Уктамджан? — вырвался наконец у Сайли не дававший покоя вопрос.

За мать ответил уста Умар:

— Уктам жив-здоров... — и уставился на дастархан, расстеленный младшей дочерью.

Шаходат-биби ничего не сказала. Ее глаза опять были закрыты.

Саттихан достала из сумки, висевшей на стене, полбуханки черного хлеба, положила на дастархан перед стариком. Тот вынул из ножен, висевших на бельбаге¹, нож и бережно принялся резать хлеб.

— Сегодня занял очередь — еще было темно. А подошла только сейчас, — проворчал, качая головой. — Три куска на троих! И на том спасибо. Столько народа, все хотят есть... А помнишь, был год змеи? Да-а, куда тебе помнить. И слава богу, что дети не помнят такое. Вот это были вправду голодные дни...

Нарезал хлеб, аккуратно собрал крошки, смахнул в ладонь — и в рот.

Увидев это, Сайлихан поднесла руку к груди. Отчего так устроено в жизни? Одни всегда сыты выше головы, а другим даже черного хлеба вволю не поесть, крошки метут. Вспомнились вдруг слова тети Анзират. Она пришла через неделю после того, как выдали Сайлихан замуж. Должна бы мать проведать дочь, отданную в чужой дом. Но мать уже тогда заболела. Вот что сказала тетка: «Если человек родился в достатке, то и весь свой век проживет, катаясь как сыр в масле». Только сейчас поняла, о чем она. Про зятя говорила. Это же она просватала Сайлихан за богатого человека, за Махамадшера. Он шурином приходился ее мужу.

Верно она сказала — разница бросается в глаза. Хоть дастарханы их сравнить, хоть прочее убранство, одежду. По-разному живут, сразу видно. Но все равно: нет человека чище, достойнее и честнее ее отца уста Умара.

Она задумалась. Как бы им помочь, ведь голодают...

Мать шевельнулась, открыла глаза. Но смотрела в окно, мимо дочери, куда-то на воробьев, скандалящих на ветках шелковицы.

¹ Бельбаг — поясной платок.

— Можешь, конечно, обижаться на меня, но я сделала одно дело, — заговорила Шаходат-биби глухо, отдыхая после каждого слова. — Сама потом... Поймешь... Для твоего же счастья. Теперь я спокойна за нашего Уктама. Слава богу, не умрет...

Уста Умар, опустив голову, кивал, подтверждая слова жены. Шаходат-биби размеренно, тихо продолжала:

— Еще при моих дедах был такой обычай... Слышала ведь: молодухи помогали матерям, у которых молоко пропало. Брали чужих младенцев, вскармливали своей грудью. Пожалев бездетную, младшая сестра, бывало, отдает свое дитя старшей... Или старшая младшей... А бывало и так: добрая женщина, видя, как погибает дитя, берет его и воспитывает... Потому что родная мать не в силах... И делается все это по доброте, от чистого сердца. Если у народа пропадет такая доброта, сердечность, такой народ потеряет свой стержень и самая его жизнь исчезнет, — она ласково, успокаивая взглядом, посмотрела на дочь. — Ты совсем молодая. Будешь жива-здорова, еще нарожаешь.

Сайлихан слушала мать и не верила ушам. Понимала и не хотела понимать. Все цеплялась за тоненькую ниточку надежды. Но мать кончила говорить, и ниточка оборвалась. Поняла только одно — у нее отняли родного сына, ее Уктама...

Мать, строго посмотрев на нее, заговорила снова:

— Женщина верующая. Очень хотела ребенка. Все им аллах дал, только детей не дал беднягам. А мы... Сама видишь, лежу... Смотреть за ним не могу... Сатти мала еще. Большое дело, что сама за собой смотрит, — Шаходат-биби, как бы винясь, посмотрела на дочь. — Ты же не можешь взять его к себе. Какому мужчине понравится. Скажут: «Притащила за собой своего сиротку». Хорошо, хоть тебя вдовую взял. Благодарю аллаха и свою Анзират. Позаботилась о тебе. Ну, не плачь, доченька... Они хорошо воспитают Уктама, обещали...

— Боже! — Сайлихан схватилась за голову, кинулась к двери...

Есть еще надежда... Хоть малая, но есть. Она бежала, пока хватило сил, переходила на быстрый шаг и опять бежала по узким улицам. Слезы текли по щекам под паранджой. И все шептала:

— Лишь бы он разрешил. О аллах, всели ему в сердце жалость, сделай его милостивым! Рабыней ему стану на

всю жизнь. Можно ведь скрыть от свекра. Буду растить хоть в сарае, хоть на сеновале...

Когда выдали ее за Махамадшера, она сначала пришла без ребенка. Но мальчик так скучал по матери, изводился, плакал, что не выдержала, однажды принесла своего Уктамджана. Свекор, домулла Сайфитдин, даже через порог не дал переступить. «Что соседи скажут? Привела с собой своего щенка! Неси, неси его вон отсюда!» Никакой жалости, а еще имамом¹ зовется.

Не забыть ей, как протягивал к ней свои худенькие ручонки Уктамджан, когда уходила от него. Как горько плакал, звал. Никто, никто, никакая женщина, какой бы она ни была хорошей, не заменит ребенку мать. И отца тоже.

Часть первая

I

Джалалхан шагнул через порог мастерской во двор — вышел покурить — и не заметил, как повернул голову к заготовительному цеху. Улыбнулся: «Приворожила...» Сестра вон из самого своего Ярмазара видит. Упрекает: «Забыл, не зайдешь даже. Не иначе, жена всю твою зарплату таскает к еврею-знахарю, бегаёт за приворотным зельем». Мед в уста твои, сестрица! Пусть хоть ворожит, хоть колдует, лишь бы было у нас всегда как сейчас!

Сайлихан! Стоит расстаться пусть на самое короткое время — и он уже тоскует. Чует сердце — хрупок мир в доме. Ненадежен покой. Время ведь какое! Газеты что ни день приносят тревожные известия. Сгущаются грозные тучи. Вот и на занятия Осавиахима ходит уже Джалалхан со своими товарищами. Обучаются военному делу. Скоро будут сдавать нормы на ворошиловского стрелка...

Сайлихан! Стоит только подумать о ней, замирает радостно сердце. А увидит, хоть издали, — словно теплым, ласковым ветром повеет.

Сторона, что зовется Выборгом, далеко. А здесь, в Маргелане, спокойно. И в артели «Ривожия», что значит «Рассвет», по-прежнему крутятся веретена, со стуком кланяются рычаги, открываются-закрываются глазки ре-

¹ И м а м — духовное лицо.

мизок. Челноки, щелкая, таскают вперед-назад нити утка. Не стоят станки — работают. И на улицах города все то же. Многолюдно, шумно, пыльно. На базаре — свежие огурцы, ранние белые абрикосы, черешня. Все, что хотите, — прилавки ломаются. Молоко в казах — сливки в палец толщиной. Полно народу и на перекрестках — гузарах. Там — чайханы, люди отдыхают за чаем, беседуют. Правда, если присмотреться, кое-кого из завсегдатаев недостает. И беседы не те. «Линия Маннергейма, она всем смерть несет»... «Кукушки» — эти разят одним выстрелом. Сразу наповал». Новые слова...

В один из таких дней, когда на безоблачном небе над Маргеланом сияло палящее солнце и торговые ряды ломились от обилия товаров, а еще больше от толпы продавцов и покупателей, Джалалхана призвали в Красную Армию.

Вернулся из военкомата и, отводя глаза, виновато сказал жене:

— Так уж получилось...

— Что получилось? — встревожилась Сайли.

— Насчет отпуска... Придется отложить до окончания войны...

Было это очень важно — отпуск. Джалалхан обещал, что поедут и обязательно разыщут Уктамджана, — мальчик растет где-то в чужой семье.

Сайлихан поняла — муж уходит в неизвестную даль, на войну. Кровь схлынула с лица, она пошатнулась. И упала бы, не успевай Джалалхан поддержать жену. Заботливо отвел в холодок, дал глотнуть ледяной воды, смочил лицо...

Весь день Ганишер не сходил с колен отца, кажется, и он почуял что-то. Обычно не дозовешься, до ночи гонят с мальчишками за воротами, а тут будто прилип.

Сайлихан принесла в плоской плетенке свежewe выпеченные в тандыре лепешки. Мальчик взял одну, надкусил и тут выставил указательный палец: «Пах! Пах!» — целаясь то в горлинку, то в воробья.

— Оглушил ведь отца, озорник, перестань! — остановила сына Сайлихан, раскладывая на скатерти лепешки.

— Для него стрелять — игра, — печально улыбнулся жене Джалалхан. — Пусть стреляет, не мешай. Пускай голосок его останется в моих ушах. Вместо патефона будет мне.

Сайлихан быстро взглянула на мужа и пошла опять на кухню. Глаза у нее покраснели. То ли у тандыра дол-

го возилась, а может, плакала где-нибудь в уголке. И губы обметало. Она же не Ганишер, знает, что такое война. С японцами на Хасан-голе хоть и недолго бои были, всего несколько дней, а может, и часов, но и их крошечного Маргелана это коснулось. Соседи рядом плакали по убитому сыну. А теперь с Финляндией. Эта уже не дни, целую зиму идет и весну захватила. Сколько джигитов сложили уже свои головы в той холодной стороне. Знает все это Сайлихан, оттого и волнуется, страдает.

Джалалхан вздохнул, погладил Ганишера по голове. Трудно будет жене. Она ведь с дитятей малолетним остается. Да еще о старшеньком, об Уктамджане, боль... Отец ее уста Умар сам немощный. А со стороны Джалалхана родичи — и при нем не привечали невестку: приворожила, хозяйкой заделалась! «Нашел себе сокровище, стыдно соседям в глаза посмотреть, — ворчит его сестра. — Мало молодых девушек ходит, так он побывавшую замужем взял!»

Эх, сестра, сестра! Все по старым законам живете. Украдет джигит девушку, продадут родители за мешок муки — вот это, по-твоему, правильно. А вот когда любят оба, такого, наверно, вы считаете, и на свете не бывает. А он вот полюбил Сайли, давно полюбил, еще когда была за его другом, борцом-палваном. Тогда и сам не знал, что любит. Теперь-то знает — так и было. А что до ее прежней жизни, — может, еще крепче полюбил Сайлихан за ее страдания. Ведь он, Джалалхан, заставил ее губы улыбнуться, зажег радость в печальных глазах.

Он посмотрел на жену, и сжалось сердце. Похоже, радость опять покинула ее. Заваривает чай, низко нагнулась над дастарханом, не хочет показать, что плакала. В самом деле, без опоры остается. Одна надежда, что молодая, как-нибудь выдюжит. И, конечно, «Ривожия», коллектив ведь, поддержат.

Сайлихан долила чайник кипятком, поставила на стол, усадила Ганишера между собой и мужем.

— А помнишь, Сайли, как отблагодарил меня этот негодник, — Джалалхан попытался развлечь жену. — Я его на шее катал, а он что наделал, бесстыдник!

Сайлихан засияла, влажные ресницы дрогнули.

— Вы тогда сказали: не мешай ему, пусть продолжает. Что с малого возьмешь?

Так сидели они. То смеялись, вспоминая прошлое, то умолкали, подумав о завтрашнем дне. И все смотрели, не могли насмотреться друг на друга.

Ранним утром, собираясь уже уходить, Джалалхан взвесил на руке вещмешок.

— Ого, да ты уж не насовсем ли меня из дому выпроваживаешь?

Сайлихан растерянно взглянула на мужа: может, забыл что?

— А постель положила?

Жена кинулась к нише, там высились стопой ватные одеяла.

Джалалхан ласково удержал ее. Развязав свою поклажу, начал один за другим выкладывать аккуратные мешочки. Лепешки, кишмиш, курага, орехи. Чего только не положили ему в дорогу заботливые руки жены. Под мешочками — одежда. А на самом дне — заветное: искусно вышитая маргеланская тюбетейка и расшитый затейливым узором шелковый пояс — бельбаг. Та самая тюбетейка, которую надела ему на голову перед свадьбой Сайлихан, и тот же самый бельбаг — пояс жениха, что был на нем в день свадьбы. Джалалхан подержал в руках эти дорогие им обоим, бережно хранимые Сайлихан знаки вечной их связи. И положил обратно на дно мешка.

— Остального не надо. Солдат на довольствии у государства. Миска да ложка — вот все, что нужно солдату.

— Они в мешке.

Глаза Сайлихан опухли от слез. Строго прикрикнул на нее:

— Живого меня хоронишь?

Испугалась:

— Не говорите такого! Нельзя, — и попыталась через силу улыбнуться.

— Вот так-то. Загадай лучше, чтобы нам живыми-здоровыми опять увидеться.

— Да, чтоб живые и здоровые увиделись, — повторила, утирая глаза концом платка.

Нагнулся к кровати Ганишера. Поцеловал сына в лоб. Сайлихан хотела было разбудить — не дал. Долго смотрел на крепко уснувшего мальчика.

— Таким и запомню, — сказал наконец. — Дома у меня спит мирно сын и ждет жена.

Пора уходить. Вышел во двор. Заложил оба больших пальца за ремень, огляделся вокруг. Вот его дом! На айване две двери — одна против другой. В спальню и в гостиную — мехманхану. Во дворе, в дальнем конце, у арыка — два плодовых дерева: персик и айва. Обильно цве-

тут в этом году. Ближе к дому — заросли граната. Виноградные шпалеры делят двор на две части. Уже завязались грозди, будет богатый урожай. Джалалхан любит возиться в саду. Деревья обрезать, пасынковать виноградные лозы. . . В огороде тоже все сам — и полон, и поливал. Теперь вся работа ляжет на Сайли. Справится ли?

А за виноградными шпалерами — сарайчик. Здесь он хранит свои «железки». Все ломал голову насчет приспособления для станка. Хотел облегчить работу прядильщиц. Пусть полежат «железки», пусть полежат. Вернется домой, обязательно доделает.

Вернулся в дом, еще раз подошел к Ганишеру. Тот разметался во сне, сбросил с себя одеяло. Джалалхан бережно прикрыл мальчика, сказал жене:

— Спросит, скажи — папа на войну ушел.

Обнял жену за плечи. Какая она хрупкая, тонкая, как девушка. Сломать можно. Осторожно, словно боясь разбить драгоценный сосуд, притянул к себе. Тихонько провел ладонью по плечу. Рука скользнула по шелку платья. На Сайлихан сегодня розовое, то, что носила в медовый месяц. С усилием отстранил от себя. Не выпуская ее рук, заглянул в глаза. Удивительные глаза — темные, с синезеленым отливом. Темные даже в яркий солнечный день. Всегда блестели весельем, а если и увлажнялись, то от смеха. А уж хохотать умела! А он любовался на свежие жемчужные зубы. Сегодня ее большие глаза затуманила печаль. Потемнели, совсем стали черные. Посмотрела грустно, даже показалось, с укором: оставляете одну, совсем одну! И опустила черные, слипшиеся от слез изогнутые ресницы.

Джалалхан погладил длинные косы. Поцеловал в лоб, глаза, щеки. «Может, в последний раз», — подумал и сам испугался.

С силой оторвал жену от себя, вскинул вещмешок на спину. У калитки твердо сказал.

— Расстанемся здесь. Пожелай мне, чтоб скорей вернулся.

— Подождите!

Сайлихан вдруг стрелой помчалась к дому. Джалалхан думал: жена все-таки решила разбудить сына. Нет, она уже бежала обратно с большой лепешкой в руке. Это был завитой, как крендель, патир.

— Откусите, — попросила, держа патир в вытянутой руке.

Старинный обычай... Джалалхан откусил от края лепешки. Теперь будет она храниться, пока хозяин не вернется домой, и будет оберегать его от всех бед.

— Да не обездолит судьба и вас, и этот дом!

Сайлихан твердила заклинание и не отрываясь смотрела вслед удалявшемуся от нее дорогому человеку.

А он уходил все дальше и дальше. Только бы не разрыдаться! Она собрала все силы. Смотрела и смотрела, как удаляется от нее: тонкий, выше среднего роста. Брюки черные, рубашка в клетку. На голове тубетейка. Сапоги надел старые — еще те, что носил, когда был трактористом. Новые оставил до конца войны. Сайли запомнит каждое его движение, каждую складку одежды!

Сейчас повернет. Вот уже дошел до угла. Ну, обернитесь, обернитесь же!

Не обернулся...

II

Война с Финляндией вскоре окончилась. Джалалхан, должно быть, и до места еще не доехал. И Сайлихан стала ждать возвращения мужа. Но шли дни, недели, месяц следовал за месяцем, и все слабее становилась надежда. Изредка приходили письма. Где он? Что делает? Об этом ни слова. Только о них: «Береги себя и Ганишера». И в конце — поклоны, поклоны всем. Сайлихан слушает радио, читает газеты, — может, из них поймет, где ее Джалалхан. Красная Армия освободила Бессарабию. В газете снимок: маршал Тимошенко встречается с давно потерянными родственниками. Порадовалась за маршала. Может, Джалалхан тоже там? Где бы ни был, лишь бы остался цел, невредим. «Встретиться живыми-здоровыми», — твердила, как заклинание, прощальные слова Джалалхана.

Для Сайлихан война началась с того утра, как рассталась у калитки с мужем. Оттого, видно, и утро двадцать второго июня с его грозной вестью не поразило ее внезапностью. К тому же и голос вождя — работницы собрались у репродуктора — вселял веру. Похоже, и Сталина эта весть не застала врасплох. Говорит медленно, веско, как всегда. Если голос и дрогнет иногда — так иначе и нельзя. Родина в опасности. Призывает весь советский народ сплотиться. Поднимемся на священную войну! Все силы на защиту Родины! Изгоним гитлеровских захватчиков с нашей земли!

Сайлихан слушала вождя, и росла уверенность — война не будет долгой. Все, кто стоял рядом, тоже так считали. Потом был митинг. Каждый, кто выступал, обязательно заканчивал словами Ворошилова: «Раздадим гада на его земле!» Слова эти вошли в поговорку. Сайлихан не раз видела в кино парады Красной Армии. Сколько же там шло танков, пушек! Такая силища! Как не поверить в победу. Да и какие парни воюют! Мужественные, сильные, как ее Джалалхан.

По улице каждый день шагают остриженные наголо молодые джигиты. За плечами вещмешки. Провожают их родные, близкие. Шум, крики, песни и слезы. Не прошло и трех месяцев, и в «Ривожии», можно сказать, совсем не осталось мужчин. И раньше-то их артель не богата была джигитами, а теперь в цехах одни женщины. Правда, есть несколько мастеров — совсем убеленные сединами. Да иной раз придет ученик — подросток. А продукции артель выдает не меньше, даже больше, чем раньше. Только из окон вместе со стрекотом станков не доносится уже задорный смех перекликающихся девушек и парней. Люди посуровели, подтянулись. На стенах цехов плакаты. Строгие глаза бойца или матери наведены, кажется, прямо на тебя, а указательный палец нацелен прямо тебе в грудь: «Что ты сделала для победы над врагом?»

Сайлихан, наклонившись над ручным станком — дуканом, с силой натягивает на валик накрахмаленную танду — основу. И вспоминает утреннюю политинформацию. Сегодня ее проводила сама Тупахон-апа. Это замечательная женщина. Она давно уже занимает большие руководящие посты. А теперь вот пришла к ним раисом. Будет, значит, председателем. Оказывается, по словам их нового раиса, каждый метр вытканного сверх нормы атласа приближает победу. Как это? Сайлихан не может понять. Другое дело — свинец, пули, винтовки. Там ясно: все идет для победы. Из винтовки стреляют, и пуля разит врага. А атлас? Вроде бы и для тыла не так уж нужен. Взять хотя бы красный или новую модель — плотный, гладкий, с разноцветным рисунком. Очень, конечно, красивый, высшего качества. Но разве найдется сейчас невеста или молодущка, чтобы модничать в таком платье? Вот хоть бы их старшая мастерица. Всегда приятно было на нее посмотреть. Что платье, что лицо. Трогала слегка усьмой ресницы, брови сурьмой подводила. А теперь даже черного, будничного атласа не носит. Какие уж тут атласы, когда двух сыновей, один другого пригожее, про-

водила на войну. Да и третий ждет призыва. До атласа ли ей теперь? Вот она, Карамат-ая, выходит из цеха, с нею две ученицы-подростки несут готовый скат, туго намотанный на валик. Как она сдала, ждет не дожидается весточки от сыновей. Утром, как только войдут в цех, смотрят друг на дружку. И если не вслух, то глазами спрашивают: «Получила?» От Джалалхана так давно нет писем. Все думы Сайлихан о нем. Когда муж был рядом, мысли часто уносили ее к Уктамджану. Джалалхан — тот догадывался, пытался утешить. Или шуткой прогонит, бывало, мрачные думы. «Маленький рай» — так любил называть он их дом. Ушел, и кончился их рай.

Недавно смотрела кинохронику. Самолеты тучей закрыли небо, сбрасывали смерть на землю. Села, целые города разрушены. По дорогам бредут беженцы, и нет им числа. Джалалхан!.. Только бы вернулся живым. Уктам все же здесь, и есть кому прижать его с материнской лаской к груди. А Джалалхан... Каждое мгновение грозит ему гибелью.

Вот и сегодня. Идет Сайлихан, погружена в свои думы. «О аллах, дай нам увидеться живыми-здоровыми», — шепчут ее губы. А рядом ягненочком скачет Ганишер. Бок-ком-скоком — к матери, хватает за руку.

— Мама, пить хочу, — и тянет к перекрестку. Там стоит будка с газированной водой.

Сегодня для Ганишера праздник. Давно уже так не гуляли с мамой по улице. Мать допоздна в своей «Ривожии». Он — в школе. А в это воскресенье так получилось, что и у мамы выходной. С утра ходят по магазинам. Купили ранец. Будет в нем носить книги и тетрадки. Не у каждого есть, да еще такой новенький и красивый. Ух и позавидуют ему ребята в классе! Весело Ганишеру, скачет, вертится на одной ноге.

— Мама, попить... .

Сайлихан сегодня не хочет ни в чем ему отказывать.

Принимая стакан с шипящей пеной из рук продавца, заметила его пальцы без ногтей. Отмороженные! Невольно подняла глаза и сжалась, как от удара камчой. Костистое лицо, сухое, как чувяк. Зеленоватые, как бы задернутые пленкой глаза. Они так и впились в нее. Это лицо выплыло из ее прошлого. Судорожно стала шарить мелочь в кармашках жилетки. Высыпала горсть монет, схватила сына за руку и потащила прочь от будки. Ганишер не успел выпить даже и половины стакана.

Вот наконец их улица. Переступив порог дома, рухнула в чем была на край айвана. Даже переодеться не стало сил. Бледная, тяжело дыша, все еще крепко сжимала руку мальчика. Притянула сына к себе, гладит голову, нашептывает что-то. От такой гонки оба разгорячились, взмокли. Жарища, а мать все крепче прижимает его к своей груди. Ганишеру не терпится выбежать на улицу, похвастать перед товарищами ранцем. Но что-то, он чувствует, не так. И потому просит только:

— Мама, отпустите! На улицу не пойду. Тут, во дворе, поиграю.

— Что? — не сразу поняла, посмотрела тревожно. — Во дворе? Хорошо, иди.

Вырвался Ганишер из горячих объятий и опять ягночком запрыгал по двору. А мать следит за ним глазами. Кажется ей: спасла сына от смертельной опасности.

Не видать бы ей никогда этого лица. Как слизняк... Похолодела от ужаса, когда глаза ее встретились с глазами продавца. Попутал ее шайтан. Надо же — выбрала дорогу мимо базара.

Лицо из ее прошлого... Махамадшер — так звали этого человека. Думала, навсегда ушел из ее памяти. И вот опять эти совиные, зеленые с рыжей пестринкой глаза, обтянутое желто-зеленой кожей лицо. Так и стоит оно перед глазами, и острый кадык противно прыгает вверх-вниз. Все как прежде. А теперь еще пальцы без ногтей, искривленные, тупые. Схватила за грудь. Может ведь проследить за ними. Сейчас откроет дверь и скажет: «Отдавай Ганишера, он — мой сын!» Никогда! Вот уже семь лет Сайлихан растит его сама. Почему это она должна отдать свое дитя!

Всю неделю ходила Сайлихан, опасливо оглядываясь: не крадется ли кто за нею? Измучилась вконец.

Однажды, вернувшись домой, нашла в дверной щели письмо-треугольник. Какими же родными показались обычные слова в начале письма: «Привет и наилучшие пожелания!» Вся засветилась, ничего не видя вокруг от радости, позвала:

— Ганише-ер!

Сын во дворе воевал со стаей индийских скворцов, отбивал от налетчиков еще незрелый виноград. В зове матери слышал что-то новое. Тут же примчался.

— От отца письмо! — Сайлихан радостно смеялась сквозь слезы, — Тебе самый большой привет.

— Ур-ра! — Ганишер подпрыгнул и, не слушая, что читала мать, понесся к калитке.

Вскоре опять появился, теперь в окружении своего мальчишеского воинства. Явились во всеоружии: деревянные сабли и наганы наготове.

В письме Джалалхан, конечно, не обошел поклоном ни одного из родственников, упомянул и соседей, и друзей, и товарищей по работе. И все же, когда очередь дошла до Ганишера, Сайлихан (да простит аллах ей этот грех) отважилась и прибавила кое-что от себя.

— «Сыну моему Ганишеру и его друзьям, — она значительно оглядела замерших в ожидании ребят, — и его друзьям: тебе, Абдуалим, тебе, Юлдашалла, и тебе, Нишамбай, — всем большой привет!»

Мальчишки в радостном изумлении переглянулись и, захихикав, будто от щекотки, стайкой упорхнули со двора.

Сайлихан снова и снова перечитывала дорогое письмо. Слова так и лились ей в душу. «Не переживай зря. Уктамджан, уверен, вырастет мировым парнем, станет настоящим человеком. Знаешь, как говорят: «Не будь сыном своего отца, будь сыном своего народа. Не мучай себя понапрасну, — уговаривал ее. — И еще что скажу тебе. Человек, который очень хочет ребенка, а судьба не дала ему такого счастья, будет любить усыновленного, как родного сына, и беречь его как зеницу ока. Уж поверь мне, Уктам в хороших руках».

«Сын своего народа!» — прошептала она.

Дай-то бог! А то ведь и Ганишер начал тревожить. Очень уж озорник стал. Вчера заявился с огромной шишкой на лбу. И нисколько не смутился. «Перекрестный обстрел», видите ли. Эти проказники прячутся за деревьями и пуляют друг в друга всем, что под руку попадет. А если бы этот твердый кусок глины не в лоб попал, а в глаз? От страха у Сайлихан ноги ослабели.

О себе Джалалхан почти ничего не писал. Только: жив-здоров, руки-ноги целы, гожусь пока пускать снаряды.

И то, треугольник этот, первое письмо, читать пришлось очень долго. Чего только не передумала, не пере-страдала за это время. Но потом белые треугольнички полетели один за другим. И каких только слов там не было. Заботы о ней, о Ганишере — это уж обязательно. И, конечно, поклоны. Но всего дороже — заветные слова, их слова. Торопился сказать той, которую любил, все,

чего не успел сказать, когда были вместе, что накопилось теперь, когда расстались. Исписанный листок жег ей пальцы. Вот какие письма присылал ей Джалалхан.

Один за другим промелькнули летние месяцы, как вагоны военного эшелона, уходящего на запад. Улицы Маргелана покрылись опавшей листвой. С наступлением холодов и сюда донеслись страшные отзвуки далеких боев, через многие тысячи километров. На их станции все чаще останавливались санитарные поезда с фронта, везли раненых то к Фергане, то к Андижану.

По утрам перед работой люди собирались, чтобы услышать сводку Информбюро. И после рабочего дня по домам расходились не сразу. К троиm подходил четвертый, пятый, тревога объединяла людей.

Сегодня во дворе артели собрались после работы все. Ждали. Ведь не ради прогулки к ним в «Ривожию» приехал председатель горсовета, сам Исполком-ата.

Вот он вышел на айван конторы. За ним — Тупахон-апа. На голове Исполкома-ата круглый лисий телпак, поверх кителя полосатый халат, ноги в сапогах. Сайлихан не видела его несколько месяцев. Черные блестящие усы, придававшие Исполкому-ата величественность, сейчас словно изморозь покрыла.

— Товарищи! — Тупахон-апа подняла руку, призывая к вниманию. Несмотря на холодный день, она оделась в рыжеватый коверкотовый костюм.

Впервые Сайлихан увидела Тупахон-апа году в тридцать пятом, на митинге в честь Восьмого марта. Не в дорогом коверкоте пришла она к ним — в зеленой хлопчатой гимнастерке, туго перетянутой в талии военным ремнем. Сайлихан больше всего поразили тогда ее коротко остриженные волосы и фуражка на голове. С тех пор прошло не так уж много времени, всего шесть лет. А как не похожа нынешняя Тупахон, ставшая раисом «Ривожиин», на ту, прежнюю, горевшую огнем, активистку...

Обычно их раис любила вести собрание основательно, как и положено председателю. На этот же раз даже не предложила выбрать президиум. Сказав несколько слов, пригласила выступить Исполкома-ата.

— Сестрицы, к нам едут гости, — Исполком-ата снял лисий телпак, прижал к груди. — Мы должны принять этих страдальцев как близких, родных людей. Придется немного потесниться, принять потерявших свой кров...

— В тесноте теплее будет! — подал голос один из стариков мастеров.

— Спасибо! Иного ответа и не ждал от мастеров «Ривожии».

Сайлихан прибрала парадную комнату — мехманхану, ею после ухода Джалалхана не пользовались. И поспешила на вокзал. Пока добралась, время перевалило за худуан — солнце уже полтора-два часа как зашло. В это время обычно все сидят по домам. А тут — столько народу, кажется, весь Маргелан вышел встречать прибывающий эшелон. За привокзальной площадью тесно — одна к другой — стояли телеги — это приехали жители окрестных кишлаков. Ближе к зданию вокзала стоят несколько легковых машин, санитарные фургоны.

Эшелон прибыл в полночь. Из красных вагонов начали спускаться, выходили люди — старики, старухи, еле волочившие ноги, женщины с детьми — семьи солдат и офицеров, тех, кто воевал на фронте. И казалось, нет им конца. В плотной черноте ночи, спотыкаясь о рельсы, они шли с котомками за плечами, с узлами и чемоданами к привокзальной площади.

Сайлихан переводила пару — старичка и старушку — через полотно железной дороги. Вдруг отчаянно закричал ребенок. «Оступилась, видно, женщина с малышом», — подумала Сайлихан и тут же услышала испуганный голос девушки постарше: «Мама, мамочка! Чего ты!»

Сайлихан довела старичков до пункта, где принимали прибывших, и поскорее стала пробираться назад. Малыш уже не плакал. Сквозь шум, суету, крики она все же различила голос девочки и пошла на него. На земле лежала женщина, одной рукой прижимала к себе чемодан, а другой — ребенка. Пухленький младенец искал у нее на груди. Над матерью беспомощно склонилась девочка лет шести-семи. Вислый джемпер, явно с материнского плеча, спускался ниже колен.

— Мама, мам... Вставай, что с тобой? — твердила она.

— Сейчас, подожди... Сейчас пройдет, — пыталась успокоить ее мать.

Сайлихан наклонилась к женщине. Малыш, не ведая ни боли, ни страха, продолжал искать грудь.

— Сможете вы идти? Я помогу, — спросила Сайли, путая русские слова с узбекскими.

— Сейчас... Подождите... — попросила женщина.

Сайлихан повернулась к вокзалу, стала звать:

— Э-эй, кто-нибудь! Врача сюда! Скорее!

Голос потонул в общем шуме. Никто не откликнулся. Сайлихан помогла несчастной матери встать, подхватила одной рукой ребенка, в ту же руку взяла чемодан. Поддерживая еле стоявшую на ногах женщину, повела через пути к площади. Девочка не отставала, ухватила мать за подол.

Около вокзального здания к ним подбежала мастерица из «Ривожии» Карамат-ая. Довели больную до лавки, и женщина, теряя сознание, повалилась на нее. Девочка, отчаянно плача, прикила к ней. Непомерно большой джемпер свисал на тонкие, как жердочки, ноги.

Площадь, переполненная скрипом повозок, криками потерявших друг друга людей. Кто-то ищет свою котомку. Плачут в темноте дети. Мастерица Карамат-ая сидит рядом с больной, подложила ей под голову свою ладонь. Она с виду спокойна, а глаза напряженно вглядываются в темноту, высматривают машину «скорой помощи». С тревогой смотрит в темень и Сайлихан, обнимая младенца. А он спит на плече чужой женщины, посапывает.

Наконец донеслась сирена «скорой». Дребезжа, подъехала выдавшая виды «карета» — из-за древности и оставили в тылу. Врач осмотрел больную. Махнул санитару. Женщину поспешно уложили на носилки, вкатили их в машину и увезли. О дочери больной и о младенце, о вещах в спешке никто и не подумал.

На эвакуационном пункте Исполкома-ата посмотрел на детей, покачал головой. Он занимался устройством прибывших.

— Уж больно они маленькие. Девочку, конечно, можно определить в детский дом, а куда малыша? — рассуждал вслух. — Да и ладно ли будет разлучить сестру с братом... Может, у матери ничего серьезного, день-другой — и отпустят. А пока...

Он улыбнулся Сайлихан.

— Смотри-ка, малыш ведь уснул! Признал...

Сайлихан сразу поняла, что на уме у Исполкома-ата.

— Конечно, пусть поживут у меня. Я уже и комнату приготовила. Их мать из больницы — прямо к нам. Рады будем.

— Долгих лет тебе, дочка! — обрадовался председатель исполкома.

В машине Исполкома-ата ребенок проснулся, заплакал. Заплакала и девочка. И конечно, мастерица Карамат-ая не ушла домой. Разве могла она оставить Сайлихан одну с плачущими детьми? И вдруг увидела слезы у подруги.

— Ты что это? Дети ведь, поплачут и успокоятся.

Не знала Карамат-ая, что творится на душе Сайли. Глаза закрыты, только слезинки cedятся сквозь черные ресницы. А Сайлихан думала: «Вот так же и мой Уктамджан, наверно, жалобно плакал на руках чужой ему Хпдай-биби...»

Ранним утром Сайлихан сбегала в больницу. Ей удалось поговорить с больной. Узнала — зовут ее Ольгой. Ольга Назарова.

— Сегодня будут делать операцию, — тихо, чтобы не разбудить девочку, рассказывала заночевавшей у нее мастерице. — Гангрена у нее.

— Гангрена! — помрачнела Карамат-ая.

— Да... Правая сторона груди совсем черная.

— Бедняжка, спаси аллах, дай остаться в живых на радость детям...

— Немцы проклятые, сбросили на эшелон бомбы. Осколок задел ей грудь. Сначала она не обратила внимания. Уже потом, когда проехала опасные места, рассмотрела рану. В вагоне перевязали, как смогли. Ну, а врачу не показалась, боялась отстать от эшелона. Вот так и получилось...

— Плохо, плохо, — опять вздохнула Карамат-ая. — Дай бог выйти живой из-под ножа...

Скрипнула и запела дверь. Обе подруги умолкли. За дверь стояла девочка в непомерно большом джемпере. Из-за ее плеча высунулась другая голова. Это Ганишер проснулся и таращил теперь глаза: что это делается на айване?

— От мамы тебе привет, — ласково сказала Сайлихан, старательно подбирая русские слова.

Девочка поняла и строго, совсем по-взрослому сказала:

— А сама почему не пришла?

— Поправится, выпишут из больницы, придет. Сразу и придет, так и сказала. А пока велела тебе: не плачь. Играй с Ганишером.

Сайлихан хотела успокоить девочку, но встретила строгий взгляд ее ясных глаз и, сама не зная почему, покраснела.

— Ах вы! Еще не умылись! Ну-ка, марш во двор, к умывальнику, — скомандовала детям.

Назавтра, не успела войти в цех, как ее вызвали в управление.

— Председатель-ата звонил, просит вас зайти сейчас в больницу.

В больничной сторожке не было дежурного. Сайли свободно прошла через проходную в огромный больничный двор. С четырех сторон двор окружали высокие постройки. Раньше всем здесь владел какой-то богач. В каждой из этих четырех домов было много комнат, теперь они назывались — палаты. Все двери выходили на айван. Сайлихан запомнила палату, где лежала Ольга Назарова, поднялась на айван и постучала в третью дверь справа. Ответа не было. Нерешительно толкнула дверь, заглянула в палату. Шторы опущены, в комнате — полумрак. На кровати кто-то лежал. Сайлихан позвала негромко:

— Ольга...

Отдернула край шторы, наклонилась к спящей:

— Ольга...

И замерла. Ольга Назарова лежала неподвижно, накрытая белой простыней. Лицо сковано восковой бледностью. А вокруг — пугающая тишина.

— Ольга! — все еще не хотела верить тому, что увидела.

Почему-то боясь повернуться спиной к кровати, попятилась к выходу. По коридору шел человек в белой шапочке и белом халате. Он посмотрел на Сайлихан поверх очков:

— Вы к Назаровой?

Сайлихан кивнула. Пожилой доктор утомленно сказал:

— Не смогли спасти. Удалили грудь, все пораженные места, но... — он качнул головой. — Опоздали. Вас спрашивала, детей... Она ведь знала ваше имя?

— Да, да... — с трудом промолвила Сайлихан. Трудно было говорить, дрожали губы. — У нее остались двое... Маленькие детишки...

Вот когда она по-настоящему почувствовала весь ужас войны.

Ольгу Назарову как жертву Отечественной войны хоронила общественность города. Пришло много людей. Сайлихан привела с собой проститься с матерью девочку-сироту, которую звали Настей. Принесла и ее брата Яшу, укутав его в теплый платок, и он, пригревшись, заснул у нее на плече.

Ганнишер крепко держал за руку Настю. Девочка не отрываясь смотрела на обтянутый кумачом гроб, стояв-

ший на свеженасыпанном земляном холме. Когда лицо матери прикрыли платком и опустили на гроб крышку, Настя пронзительно закричала, затопала и стала рваться из рук стоявших рядом с нею женщин. Проснулся и громко заплакал Яша.

Гроб опустили в яму, засыпали землей. Дети затихли, Настя покорно шла, держась за руку Сайлихан, оглядываясь на оставленный позади аккуратный серый холмик. Новая могилка. . . Ее еще не успел засыпать легкий снег, который, все усиливаясь, сеялся с хмурого неба.

Сайлихан с детьми подходила к воротам кладбища. Сзади кто-то позвал:

— Подождите, подвезу!

Между могил шел Исполком-ата в ватном полосатом халате, в лисьем телпаке. За воротами стояла знакомая «эмка».

Настя, та самая Настя, которая только что кричала у гроба матери, вперегонки с Ганишером побежала к машине. Дети — они и есть дети! Не успели влезть на сиденье, заспорили из-за места у окна.

— Ссорьтесь, ссорьтесь, безобразники! — сказала им Сайлихан, качая головой. Яша копался у нее на груди — хотел есть.

Машина быстро примчала их к дому. Сайлихан впервые удивилась. Никогда не задумывалась над тем, что их родная махалля, их квартал — так близко к кладбищу.

— Спасибо вам, дочка! — прощаясь, сказал Исполком-ата. — Я о чем думаю. Трудновато вам будет, ведь вы еще работаете. Потерпите, определим детей в интернат. Там уже знают.

И на работе ей то же говорили. Не справишься. Да и лучше там будет. Сыты будут, одеты, и воспитатели опытные, всему обучат: и как вести себя, и наукам, каким надо.

Вошла в дом, тихонько положила заснувшего Яшу на постель. Задумалась. А Настя что-то колдовала над узелком матери, который передали из больницы. В доме быстро темнело, стало прохладно. Сайлихан переоделась. Надо приготовить ужин. Собралась вскипятить чай. Настя тронула за руку:

— Вам письмо.

Душа Сайлихан запела — от Джалалхана! От кого же еще!

Настя протягивала вчетверо сложенный листок. С

фронта приходят треугольники... Только тут Сайлихан заметила разворошенный Настей узелок.

Медленно подошла к окну. Недостало сил зажечь керосиновую лампу. В свете угасающего дня разобрала первые строки:

«Настенька, ты умная девочка, веди себя хорошо, не потеряй братика. Отец вас разыщет...»

Сайлихан сглотнула слезы. Продолжала читать: «Моя дорогая сестра Соня...» Дальше шло еще одно слово, но оно растеклось от упавшей капли. На этой капле письмо и обрывалось.

В руках Сайлихан листок — неровные крупные буквы, написанные химическим карандашом. А перед глазами свежий серый холмик, еще не занесенная снегом могила Ольги.

Отошла от окна, спросила у Насти, есть ли у матери сестра Соня.

— Нету, тетя Соня, — сказала Настя.

«Тетя Соня!» — так и обожгло Сайлихан. Значит, это ее, Сайли, назвала умиравшая Ольга Соней. К ней, к Сайлихан, обращалась она с последней просьбой. Что хотела сказать, о чем попросить? Бедная, бедная Ольга...

Конечно, в интернате детям будет лучше — убедила себя в конце концов Сайлихан. И все же тянула. Дни шли, а дети оставались у нее в доме. Что-то мешало. Может быть, это обращение к ней умершей: «Соня...» Однако как ни откладывай, надо решать. И она решилась. В воскресенье приказала Ганишеру остаться: «Будешь дом караулить».

Направилась с детьми к остановке автобуса. Не сказала Насте, куда идут. Но и без слов девочка все поняла. В глазах застыла тоска.

Они долго стояли на при базарной площади, ждали автобуса. Снег, как сквозь сито, сеялся с неба. Ноги начали коченеть. «Могилку Ольги теперь уже занесло...» — подумала Сайлихан. Ее легонько дернули за подол. Настя? С Яшей на руках наклонилась к девочке.

— Тетя Соня! Куда вы нас ведете?

Сайлихан растерялась.

— В интернат? Да?

И где такая малышка поймала это слово? Увидела полные тревожного ожидания Настины глаза. Говорить только правду! Хоть и маленькая, но должна понять. Притянула девочку к себе.

— Ты у нас умница, — торопилась, сбиваясь на узбекскую речь. — Ты же видишь, я с утра до позднего вечера на работе. Накормить вас горячим обедом и то вовремя не могу. А в интернате вас будут кормить три раза в день, оденут во все новое, чистое. Научат читать, писать.

Пока говорила, глаза Насти все больше и больше наполнялись слезами. И вдруг обняла «тетю Сою»:

— Не отдавайте нас, ладно?

Кровь прихлынула к голове Сайлихан. Привиделся ей худенький ребенок. Тонкая шейка еле удерживала большую голову. Он плачет и отчаянно тянет к ней слабые ручонки. Оторванное от матери дитя... О, эта боль никогда не пройдет.

«Уктамджан! Сынок!» — шептали губы. А руки крепко прижали к груди и маленького Яшу, и Настю.

III

Вдоль узких улиц Маргелана свистит озверевший ветер. Перекрестки обезлюдели. Чайхана пуста. Не слышно шумного говора, оживленных бесед. Под вечер глаз солнца выглянул было и тут же скрылся за синей тучей.

Напротив чайханы улицу переходил человек в кожаной фуражке и кожаном полупальто. Как будто форму кожаную надел. Такая фигура не может пройти незамеченной.

— Смотри-ка, Махамад-порум объявился в наших краях! — удивился вслух единственный сегодня любитель чая, восседавший в чайхане на застланном ковром помосте — сури.

Махамадшер и правда давно не появлялся тут. Махамад-порум — это его давнее прозвище. Любил щеголять в военной форме, вот и нашлось для него словцо «порум». Всегда норовил выделиться среди обыкновенных людей. Он и сегодня в своей «порум».

Махамадшер прошел под белым голым тополем, который весь дрожал на ветру, словно озяб от стужи. Здесь свернул в узкую улочку. Достиг третьих от угла ворот, взялся за латунное кольцо и не слишком уверенно звякнул. Никто не отозвался. Потянул за кольцо, ворота поднялись и сами по себе открылись. Миновал крытую часть двора, снова очутился под открытым небом, поднялся на айван — веранду — и остановился у внутренней двери.

Уста Умар, старый мастер, отец Сайлихан, дремал перед сандалом. Не видя еще, кто пришел, кряхтя приподнялся, лоприветствовал гостя.

— Ассалам алейкум! — опередил хозяина учтиво-сладкий голос. Много лет старик не слышал этого голоса, а все-таки сразу узнал.

— А-алай... — ответил отрывисто.

— Сидите, сидите, отец! — засуетился Махамадшер. Уста Умар сотворил молитву.

— Вернулись, значит... Живы-здоровы...

Вчера только на перекрестке в чайхане вспоминали этого Махамад-порума. Аллах милосердный! Видели уже, оказывается, маргеланцы этого охотника до чужого имущества. Шоди-лудильщик сказал тогда: «Бог выдернул у него огромными щипцами все ногти по одному».

Уста Умар покосился на ногти гостя. Тот заметил.

— И за то надо быть благодарным! Пришлось и сосны в тайге валить. Видно, соль нашей судьбы была насыпана там, — сказал будто бы даже без особой печали. А раньше уж каким заносчивым был. Здороваясь, протягивал только кончики пальцев. Не зря говорится: чтобы стать настоящим мусульманином, надо побывать на чужбине.

Гость между тем продолжал говорить:

— Отец, не судите обо мне неверно. Моя душа, как и прежде, открыта для вас. Как вернулся, в тот же день хотел к вам, да постеснялся. Но любовь все равно пересилила. Не смог остановить себя. Пришел единственно для того, чтобы приложить руки отца к своим глазам...

Из уст Махамадшера лился елей, и сердце старого мастера не устояло.

— Сатти! — позвал младшую дочь. Но тотчас вспомнил: она ведь на работе.

Сам нагнулся, достал из-под сандала чайник. Сполоснул опрокинутые на скатерть вверх дном пиалы, разлил чай. Видя, что бывший тесть сменил гнев на милость, Махамадшер начал развязывать узел с гостинцами. Уста Умар нахмурил редкие, с заметной сединой, брови — вспомнил, как однажды, много лет назад, Махамадшер вот так же вошел в его дом с подарками. Однако теперь Махамадшер для него совсем чужой. Зачем пожаловал? Не затаил ли в душе на них злобу? Неясная пока тревога начала сплетать сеть в душе старика.

— Не стоит хлопотать, мулла! — сказал неприветливо и подал гостю пиалу с чаем.

— Зачем же так? Какне могут быть хлопоты! — гость прижал обе руки к груди. — Заставляете краснеть. Просто очень захотелось увидиться с вами. Ну и... мы все же с вами, как ни говорите, родственники, как-никак связанные узами, скрепленными законами шариата. Отец и сын!..

Откушенный кусок хлеба застрял в горле. Уста Умар заметно побледнел. Редкая борода вздернулась и опустилась. Сглотнул слюну. «Вот, оказывается, какое дело... Скреплено законами шариата!» Тревога еще крепче опутала душу. Ни он сам, ни отец его Камбар, ни дед Адулай не сильны были в шариате. Они только и знали, что наматывать нить и пряжу, устанавливать скат на своем ручном станке и не сводить глаз с утка. От зари до зари. До шариата ли тут было?

Пока «тесть», онемев, чесал затылок, Махамадшер успел забрать бразды разговора в свои руки.

— Гитлер, такая сволочь, крепко жмет, однако, а, отец? — качал он головой. — Ленинград наглухо запер. Люди в городе мрут с голода. Слышать, собак, кошек уже едят.

— Правда?

— Зачем мне неправду передавать? Хитрый, сволочь! Говорит, пусть друг друга едят, а мы город целехонький заберем. И боеприпасы сохраним.

— Кто заберет?

— Да Гитлер, кто же еще!

Уста Умар и по радио слышал, и со слов очевидцев знал, какие зверства творит Гитлер. Однако речи Махамадшера привели его в смятение.

— О аллах!..

— Правительство из Москвы переехало в Куйбышев. Слыхали?

— Но Сталин, говорят, в Москве?

— Говорят, конечно, всякое... А что им остается делать, когда враг стучится в ворота Кремля...

Наконец Махамадшер поднялся.

— Помирите нас с Сайли, отец, — попросил, держа обеими руками руку уста Умара. — Я прощаю Сайлихан. Зачем ребенку страдать без отца?

Сайлихан узнала об этом разговоре Махамадшера с ее отцом от младшей сестры Сатти. Так и вспыхнула. Какая наглость, он прощает ее! Жаль, не было ее там,

Не позволила бы ему пакостить порог родительского дома. «Прощает!»! «Помирите!»! Ни на кого на свете не променяет она своего мужа, своего любимого Джалалхана. Никогда! А тем более на такого, как этот подлый Махамад-порум!

Но встревожилась не на шутку. Потеряла сон, прислушивалась к шагам на улице. К тому же и очередное письмо от Джалалхана запаздывало. А тут еще зима неожиданно в силу начала входить. Жестокие холода сковали Маргелан. Ферганские жители не строят капитальные печи. Сандал¹ посредине комнаты топится по-черному. Окно почти не задерживает холод.

В такое время Сайлихан стелет на ночь вокруг сандала. Яшу укладывает рядом с собой. Ей все чудится, что от мальчика пахнет маленьким Уктамджаном. Ночью мороз пробирается сквозь щели, леденит дом. Дети ворочаются во сне, свертываются калачиком, норовят чуть ли не влезть в сандал. Утром ноги их и правда оказываются в теплой золе.

Ни летом, ни осенью не удалось запастись дровами. Спасает курак. Соседний с городом колхоз развез по дворам курак, рассыпал по айванам. После работы Сайлихан потрошит его. Хлопок сдает, а порожние коробочки, что остаются, идут на топливо. Дети засыпают, а она до полуночи все лушит, лушит курак. Вот и сейчас: руки работают, а мысли, как быстроногие кони, летят в далекие, незнакомые края. Ни холод не страшен, ни этот отнимающий время и силы быстро сгорающий курак. Лишь бы Джалалхан был жив!

Собрала вылушенные коробочки в фартук, высыпала в печь. Поковыряла кочергой в сандале, откопала в золе красные угольки, перенесла в печь и, нагнувшись, стала раздувать огонь. Если уж здесь такой мороз, то что делается там, на фронте! В последнем письме Джалалхан говорил, что они стоят в лесу. В жизни не видела леса. Дальше Ферганы никуда не ездила. Лес — это много-много деревьев. И все сейчас, наверно, стоят белые, как те два дерева, что в конце их белоснежного двора.

Вышла на веранду, подобрала остатки курака. Все кругом белым-бело. Приземистые домики за забором стали похожими на белые копны. А у них там, наверно,

¹ С а н д а л — низкий квадратный столик над небольшим углублением, в которое насыпают жар. Сандал накрывают широким стеганым одеялом; под этим одеялом спят, греют ноги.

каждый день идет такой чистый снег, думает Сайлихан, всматриваясь в опускающийся с неба белый занавес. Захватила совок корбочек, вошла в комнату. И тут же услышала — кто-то звякнул кольцом ворот. Стучат... Кого принесло в полуночную пору?

Вышла во двор. Не доходя до ворот, спросила:

— Кто там?

— Я, я... Твоя Джинни-апа, невестка...

«О аллах, — украдкой вздохнула Сайлихан. — Сама себя уже Джинни называет».

Джинни — значит безумная. Так прозвала улица эту женщину.

Станный вид был у ночной гостьи. Снег — по колено, а она в лакированных кавушах на босу ногу. Голова не покрыта. На плечах — коверкотовый жакет, под ним — желтое атласное платье.

— Песню сложила я о чернобровой Сарвиназ и сыне моем Джанджигите, что увял, не успев расцвести. Слушаете?

И тут же, у ворот, под падающим на нее снегом заела:

Ах, Сарвиназ, ах, тонкобровая!
Не ты ли дала клятву верности в любви Джанджигиту,
Который ушел биться за Родину?
Если то была ты, плачь по герою.
С матерью его обнимись и рыдай.
Теперь ему подушка — камень, постель — сыра земля...

Вдруг оборвав песню, женщина заглянула в лицо Сайлихан:

— Вам не понравилось, невестка?..

— Нет, как же! Все понравилось. Пойдемте поскорее в дом, холодно.

— Не понравилась, значит, песня... Ничего, у меня есть другая. Сейчас спою. Про моего Хатаная.

Сайлихан старалась увести гостью в дом, а та все стояла у ворот в глубоком снегу, не слыша ничего.

Сейчас ей лет сорок. Все еще стройная. Тонкое красивое лицо. Черные волосы густые, длинные. А в глазах поселилось безумие. Вдруг распахнула жакет, игриво прошла по сугробам. Волосы растрепанной волной взметнулись и обвили стан.

— Мой Хатам, бывало, говорил: «Тебе к лицу желтый атлас». Ну как этот атлас может быть к лицу потерявшей разум?

— Не называйте себя так, — Сайлихан обняла ее. — Нехорошие люди придумали это прозвище. Вы — Зульфизар. А Зульфизар-ая все к лицу, — она ласково сжала узкое, худенькое плечо гостыи. — Зульфизар, голубок, пойдете, пожалуйста, в дом.

И, заперев ворота, пошла позади гостыи, незаметно стряхивая снег с ее разлетающихся под ветром волос.

Зульфизар, оставив кавуши на веранде, вошла в комнату и остановилась, словно ища что-то. Рассеянно скользнула взглядом по лицу хозяйки и изумленно замерла — столько было в приветливом лице Сайлихан цветущей прекрасной юности. Брови, изогнутые ласточкиным крылом, хоть и нахмурены озабоченно, но и они говорят о страстной, кипучей жизни.

Но это было лишь мгновение, тут же заинтересовали Зульфизар горящие вылушенные коробочки хлопка. Она наклонилась над топкой, стала следить, как разлетаются с треском красные россыпи искр.

Сайлихан с грустью следила за ней, не сводя глаз с волос, закрывающих плечи, касающихся расстеленной на полу курпачи. Посмотрела на заснувших у сандала Ольгиных сироток и снова на гостыю. Вот они, горькие следы войны!

Красавица Зульфизар и первый маргеланский парень Хатам... Их историю знают здесь все. Зульфизар — Златокудрая, так звали ее. Но ее волосы были черны, как ночь. Это не сводивший с нее глаз Хатам в своих песнях украшал каждую прядь волос своей невесты кусочком золота. Дружная получилась семья. Любовь их с годами не гасла.

Перед войной старший сын Зульфизар Джанджигит поступил в педагогический институт. Муж ее Хатам к этому времени командовал эскадрой конной милиции в областном центре. Отца и сына призвали в действующую армию одновременно. Не мог Хатам уехать, не повидав жены. Одна ночь у него оставалась. Помчался верхом на коне из Ферганы в Маргелан. Осенью темнеет рано, к тому же свирепствовал кокандский ветер. Пулей влетел в город Хатам и на полном скаку ударился грудью о столб. Сбитый ураганом, этот столб нависал над дорогой. Когда Зульфизар прибежала на место беды, муж ее исходил кровью. Только предсмертный хрип услышала она. Невдалеке лежал убитый током конь.

Это был первый удар. А потом пришла весть о гибели на фронте сына. С той поры и ходит по ночам Зульфи-

зар, не зная покоя. Маргелан спит, а она бродит по темным кривым улочкам. Или усядется где-нибудь, обнимет колени и, подняв лицо к луне, заводит свою нескончаемую песню о черноволосяй девушке Сервиназ и безвременно увядшем сыне своем Джанджигите.

Сайлихан все присматривалась к волосам гостьи. Когда-то они воспламеняли сердца парней. А теперь лежат без всякого порядка, кое-где сваялись. Похоже, неделями не знают воды и гребня. Ей захотелось вернуть этим волосам прежнюю красу. Принесла с айвана таз и мыло.

— Разрешите, я вам вымою голову.

Зульфизар не шевельнулась. Она заворуженно смотрела на мерцающие угольки, слушала, как бурлит поставленный в топку глиняный кувшин с водой. «Бедняжка, куда унесли тебя мысли? Да и можешь ли ты мыслить?»

— Ая! — тихонько тронула ее плечо. — Позвольте мне помыть ваши волосы. . .

Зульфизар перевела глаза на лицо молодой женщины. Расширенные зрачки словно колыхнулись. Тонкое красивое лицо вдруг словно вынырнуло из мутной воды безумия, очистилось. Посмотрела ласково, мягко. Обрадованная Сайлихан достала из очага кувшин, смешала в ведре горячую воду с холодной. Подобрала палас — освободила место для таза и принялась бережно, прядь за прядью отмывать волосы гостьи. На стене на серебряной цепочке громко тикали в тишине карманные, с ладонь величиной, часы Джалалхана. Ей всегда слышалось в их ритмическом стуке: «Он с вами, он с вами». Ганишер завозился во сне. Настя спала, напряженно сведя бровки. Сладко причмокивал Яша. Нет, у нее все не так уж плохо. И с удвоенной нежностью она принялась расчесывать нежные, как шелк, мокрые волосы бедной своей Зульфизар. Такие длинные и густые, рукой не охватишь. Собственные волосы Сайлихан тоже не плохи. Вспомнила, как однажды перед зеркалом на айване долго с трудом расчесывала длинные пряди. Джалалхан сидел в саду на сури и, видно, следил за нею.

— Сайли. . . — заговорил вдруг.

— Да-а?

— Смотрю на тебя, как ты мучишься с волосами. Может, обрежем?

— Если вам хочется, обрежу. . .

— А ты и рада! Попробуй только обрежь. Совью из них веревку и повешусь в сарае.

— Слава аллаху!

— Что это ты бога благодарить?

— Тысяча раз спасибо аллаху, что сарая у нас нет.

Как весело смеялись тогда. Такой восторженный был ее возлюбленный... Сайлихан глубоко вздохнула и снова принялась расчесывать волосы гостыи.

Она не отпустила в ту ночь Зульфизар. Да и куда было той идти? В огромный пустой дом-морозильник? Ведь его ни разу не топили с самого начала зимы. Бедняга, совсем одна на свете! Родители давно ушли из этого мира. А жили хорошо. Зульфизар, единственное дитя их, росла в довольстве. И потом, когда вышла за красного командира Хатама, тоже не знала трудностей. И вот на нее, такую нежную, не готовую к трудностям, обрушилась беда.

Когда ушла Зульфизар, Сайлихан не слыхала. Проснулась — постель гостыи пуста. По двору в пушистом снегу — стежка следов к открытым воротам. Снег по-прежнему валит, но следы засыпать не успел. Значит, только-только ушла.

— Почему у нас была Джинни? — Настя высунула голову из-под курпачи.

— Никогда не называй ее Джинни. Ее имя — Зульфизар. Война сделала ее несчастной.

— Я просто потому... Ребята на улице так ее зовут. Я больше...

Сайлихан погладила Настю по голове. «Где бродит сейчас Зульфизар?» — все думала, не могла успокоиться.

Завтракали втроем — она, Настя и Ганишер. Ему в школу идти. Потом Настя осталась присматривать за братцем, а Сайлихан отправилась на работу — в «Ривожню». До шоссе с нею шел и Ганишер, а дальше — весь остаток пути до школы малыш всегда одолевал один. Попрощаются — и до позднего вечера... И так каждый день...

Незаметно подошла к концу зима. Как говорится, перезимовали. Дети получают хлеба по четыреста граммов, их матери дают шестьсот, значит, на день у них выходит один килограмм восемьсот. Масло, сладости тоже перепадают по карточкам. И другие продукты, чтобы положить в казан, бывают. Некоторые считают, что зима была суровой. А на взгляд Сайлихан — ничего, зима как зима.

Зацвела айва у них на дворе, и тут как раз пришло письмо от Джалалхана. Может, оттого и заметили цветущее дерево. Как взяла письмо в руки, все кругом засветилось весенним светом. Как красиво цветет их айва. Буйно. Каждый цветок похож на маленький колокольчик. Все дерево — бело-розовое, а на закате алеет. А пчел налетело! Если подойти поближе, все дерево звенит.

Джалалхан пишет: «Зима была горячей. Не хватало времени мерзнуть». Вот так он всегда: «была горячей», а как понимать это? А потом еще пишет: «Иной раз проснешься, а шинель, которой укрылся, стала прямо деревянная от мороза. Чуть согнешь — она пополам...» И опять не поймешь: правду говорит или шутит?

После письма и работа пошла веселее. Лошила пряжу, наматывала ее на толстый деревянный валик, а из-за белого облака вдруг вышло солнце, заглянуло в окно. В глубине цеха заиграла, засверкала всеми цветами радуги основа, натянутая на станках. Тронул луч лица девушки, и все как одна оказались красавицы, каждая будто играет, перебирая быстрыми пальцами шелковые нити.

На лицо Сайлихан тоже упал теплый луч и что-то стонул в ней. Закрыла глаза — продлить бы сладкий трепет, ожившее внутри счастье прошлой весны. Они ездили прошлой весной по Вуадилю, Шахимардану. Взявшись за руки, бродили по берегам Куликуббана. Как сейчас, сверкало солнце на небе. Поливало золотом все кругом. Сколько было света! Бьется о камни, пенится река. А по берегам — яркая зелень. И до самых гор, голубеющих вдаль, дружно цветут сады. Белые, розовые, красные пятна. Она даже почувствовала сейчас тонкий весенний запах тех садов.

Непослушными стали вдруг нежные ловкие пальцы. Отказываются перебирать, связывать, тянуть исчезающие с глаз нити.

Сайлихан подняла отяжелевшие веки. И кого же увидела вдруг за окном? Ее младшая сестра Саттихан спряталась за стеной ткацкого цеха и плакала. Не догадывалась, что могут увидеть, слезы вольно текли по ее щекам. Вот она достала платочек, вытерла глаза, лицо. Пошла в цех. Что случилось с сестренкой? Обидел кто? Или в доме что неладно? Сайлихан затревожилась об отце. Такой стал слабый, сгорбился. Вот и померк весенний свет вокруг, и опять все поблекло.

Дождалась вечернего перерыва. Когда вышли во двор, потащила сестренку в тень ив на берег пруда.

— Ты плакала, а?

Саттихан потупилась.

— Что-нибудь случилось? — Молчание сестры еще больше испугало.

— Миралим уехал.

— Миралим? Какой Миралим?

Саттихан кивнула в сторону мастерской. Внезапно все прояснилось для Сайлихан. Вспомнила прошлогодний праздник в «Ривожин». Собрались тогда во дворе. Саттихан, как всегда, рядом с сестрой. И был там парнишка, недалеко от них стоял. Все поглядывал в их сторону. Сайлихан тогда еще поняла, кому предназначались эти взгляды.

Ее сестренка! Сатти! Будто заново увидела ее. До сих пор считала ее маленькой девочкой. А она вон уже какая, одного с нею роста, очень даже симпатичная девушка. И смотри, какой ловкой оказалась.

Значит, и к ней пришла любовь! Шестнадцать лет — самая пора. Раскрывается первый бутон. К самой Сайлихан тоже в эту пору постучалось в сердце новое, незнакомое чувство. Лунными ночами, весенним цветением вошло в ее душу. Все помнится, все было: и праздничные песни, и горе, и слезы. Пусть Саттихан будет счастливее ее. Хорошая, ласковая девочка, пусть заря твоей любви будет ясной. И поменьше облаков. А то ведь успела уже узнать не только радость свидания, но и горечь разлуки. Сколько боли в ее чистых темных глазах!

Сайлихан привлекла к себе сестренку. Поцеловала глаза, щеки. Была для нее Саттихан всегда малышкой, птенцом, которого нужно беречь, защищать. А теперь появилась у Сайлихан подруга, она может почти все понять. От этой мысли у Сайлихан стало теплее на душе.

Вечером, когда вернулась с работы, дома ее встретили радостные крики детей. Уже на улице услышала их звонкий смех, веселье. Открыла калитку, а там во дворе прямо на сырой земле сидят лицом к лицу Ганишер и Настя. А между ними в одной рубашонке Яша — семенит босыми ножками то к сестре, то к названому брату. Приблизится неверными шажками и обнимет за шею — то одну, то другого. И такая радость охватывает всех троих. Кричат, смеются, барахтаются. А потом Яша поворачивается и опять делает шагжок. Иной раз спотыкается, голенькой сиделкой своей — хлоп с ходу на землю. Его тут же поднимают и пускают в путь.

— Тетя Соня, тетя Соня! — завизжала и запрыгала Настя. — Смотрите, Яша уже ходит!

«Путы свалились с ножек Якубджана!» — прошептала Сайлихан.

И тут же лицо ее омрачилось. Вспомнила Ольгу. Не пришлось ей порадоваться первым шагам сына.

С поднявшейся над животом рубашонкой, беленький весь, Яша все топал крепкими ножками между ребятами, покатываясь со смеху. Сайлихан решительно подняла мальчика, похлопала по задку, чтобы прилила кровь, обернула ножки полой камзола. Как бы не простудился. Земля-то еще сырая, холодная. Тронула пальцами лоб. Зимой, бывало, это маленькое тельце горело, что твой сандал. Бывало... Пальцы привыкли, стали вместо термометра. Слава богу, температура сейчас нормальная. Сайлихан успокоилась. Теперь надо раздать ребятам подарки — суюнчи, ведь заслужили за радостную весть. А Настя и Ганишер уже прыгали вокруг и требовали: «Суюнчи, суюнчи!» Очень кстати сегодня утром Караматая сунула ей в карман пригоршню урюка, смешанного с джидой и кишмишом. «Для детей», — сказала. И зимой сколько раз выручала... Есть, есть на свете хорошие люди!

Положила по горстке в протянутые руки Насти и Ганишера. И Яше тоже досталось.

«Души отрада, свет, освещающий темные ночи мои!» — Сайлихан обняла ребят, прижала к себе. И, как всегда в такие минуты, явился перед нею младенец Уктам. Все косточки можно было у него пересчитать. И как он с криком кинулся к ней...

«О создатель, защити нас!» — прошептала.

А дети грызли, уплетали за обе щеки свои «суюнчи», не сводили глаз со сладостей. И Яша шевелил во рту кишмиш, причмокивал у самого ее уха.

Вот так и растут за ее спиной. Она с ними — и сыты они. Хотя и тяжелое сейчас время, а дети веселы. А все оттого, что есть кому приласкать, приголубить. А Уктамджан? Мог и он быть в ее объятиях, хохотал бы на весь дом...

И вдруг представилось ей, что Уктамджан сейчас недалеко, рядом. Увидела низенькую ветхую мельницу с черным наклонившимся желобом. Одинокий карагач. Небольшая усадьба на берегу полноводного арыка. Сюда ведь принесла Хидай-биби маленького, еле дышавшего

Уктама. А потом исчезла. А что, если хозяева усадьбы приехали обратно?

Она будто увидела своего Уктамджана. Вырос, обогнал ростом Ганишера, скачет по усадьбе... Ведь и в школу уже ходит!

Мысль, что Хидай-биби вернулась и что Уктамджан рядом, крепко запала ей в душу. Дома ли, на работе — везде она думала только об одном: туда, туда, бежать... Он там!

И побежала. Было воскресенье. Вести с далекого фронта всю неделю шли тяжелые. Только и слышала, как люди повторяли: Керчь... Северный Кавказ... Моздок... Грозный... И еще другие, малознакомые названия городов и рек не сходили с уст. Из-за этих звучащих в ушах слов особенно тяжело было сидеть в воскресенье дома. Дети, не зная никакой беды, весело играли в тени на деревянной супе. Даже не заметили, как она ушла. А вечером, когда вошла она во двор, молчаливая, отрешенная, кинулись к ней с радостным визгом:

— Мама!

— Тетя Соня!

А за ними, что-то бормоча, ковылял Яша.

Перебивая друг друга, Ганишер и Настя рассказывали, что приходил какой-то дядя, какой-то ака, спрашивал ее. Откуда был этот ака, кто такой — они не знали. Только плечами одинаково пожимали на ее вопрос — оба — и Ганишер, и Настя.

Задали дети работу голове. Может, кто с фронта? От Джалалхана? Кто же это мог быть? А если...

IV

Половина работниц «Ривожи» собирала хлопок в Ташлаке с самого начала страды. Саттихан тоже с ними. Кому же еще, как не сестренке, молодой и бездетной, быть среди передовых. Когда же небо затянулось тучами и нагрянули заморозки, то и остальных начали на короткое время вывозить на хашар¹. Сайлихан не потревожили бы, все знали, что дома у нее трое малолеток. Но разве такое было время, чтобы искать причину? Она назвалась сама. Карамат-ая взялась присматривать за детьми.

Шла осень 1942 года. Самые напряженные, полные тревоги и воли к победе дни войны. Внимание всех было

¹ Х а ш а р — коллективный труд.

приковано к Сталинграду. Сайлихан этот город представлялся непреодолимым валом, о который снова и снова бьется налетевший, как смерч, враг. Как и каждый человек, любящий Родину, она готова была на любую самую трудную работу — лишь бы укрепить этот вал. Хлопок, значит, вата. Вата — это теплая одежда для воинов, для ее Джалалхана. Поэтому каждый собранный мешок хлопка был для нее как бы мешком с землей, идущим на укрепление вала. И вал, укрепленный общими усилиями, выдержал. 19 ноября началось великое наступление наших войск под Сталинградом. Врага окружили! Ликованию не было конца, когда сборщиков хлопка достигла эта весть.

Прошло несколько дней, и в хлопковый колхоз пришла концертная бригада. Табельщик с утра объявил: — Сегодня вечер в клубе, бесплатное представление! Приходите!

То-то радости было! Молодежь так и запрыгала. Некоторые даже решили, что не сегодня завтра война кончится. Вечером весь народ повалил с поля на хирман, где сдавали хлопок. Сайлихан увидела свою сестренку — шла первой. Понятное дело — она же очень любит музыку, пение. До войны ходила в кружок художественной самодеятельности. Миралим играл на дутаре, а она пела песни и танцевала. И дома всегда ходила пританцовывая, что-нибудь напевала. Жаворонок, одно слово. Не удивилась Сайлихан, не застав сестру в общежитии. Увидела ее только в клубе. Саттихан сидела в первом ряду среди ровесниц.

Концерт начали с торжественного марша. Музыканты сидели на сцене полукругом. Когда грянула музыка, все захлопали в такт задававшему тон бубну. Большой зал гремел. Казалось, сюда донесся грохот страшной войны. За музыкантами стояли, тоже полукругом, три ряда женщин и мужчин. Музыканты проиграли вступление, и большой хор запел Оду Сталинграду. И слушатели не выдержали. Хоть и не знали слов, потихоньку начали подпевать. Потом, овладев припевом, подхватили громче, запел весь зал.

Слезы мешали Сайлихан смотреть на сцену. Она пела со всеми. Герои Сталинграда! Как хорошо, что концерт начался именно с этой песни. Они, эти герои, защищали так не только свою страну. На них с надеждой смотрели и другие государства. И ее, Сайлихан, судьбу, судьбу ее дома, семьи решили они там, у Сталинграда,

где рекой лилась человеческая кровь, за тысячи километров от Маргелана. Она уже не сдерживалась — плакала, и были в слезах ее и радость, и боль.

Потом вышла танцовщица. Как легко и красиво двигалась она. Сайли, собственно, пришла в клуб ради Саттихан, за нею присмотреть. А теперь радовалась сама от души и за себя, и за сестренку. Вон она сидит, довольная, среди своих подружек. И как громко захлопала, когда объявили, что сейчас будет петь Султан Мурадов. Правда, Сайлихан не помнит, слышала ли она когда-нибудь этого певца. Но сестренка, видно, знала артиста по радиопередачам. Конечно, он был знаменитость. Одна женщина за спиной Сайлихан сказала своей соседке:

— Он и правда настоящий султан среди парней.

А девчонки, сидевшие рядом, начали шептаться о романе артиста с какой-то девицей.

И вот он вышел. Поет, подыгрывая себе на таре. Молодой музыкант помогает ему, бьет в бубен. Вот уж не показался он Сайлихан султаном. Бубнист и то стройней и пригоже. А этот — с толстой шеей, здоровый, как стоялый жеребец. Знай изливает свою любовь к прекрасной ханум.

Девчонки рядом замерли, открыли рты, слушают.

Кончил певец. Глубокий вздох пролетел по залу. А что потом началось! Люди словно с ума посходили — так отчаянно били в ладоши. Совсем оглушили Сайлихан.

Концерт кончился поздно. Вышли из светлого зала на улицу — ничего не видать. Сайлихан с попутчицами быстро добралась до общежития и легла в постель сестренки. Вот и подружки Сатти пришли, а самой Саттихан нет. Видно, задержалась на улице, сейчас придет.

На полевом стане, превращенном во временное общежитие, около пятидесяти женщин и девушек. Все возбуждены, обсуждают концерт. Понемногу успокаиваются. Кто переодевается, а иные уже успели и дастархан расстелить. Несколько женщин у окна переговариваются о чем-то тихонько. Может, о своих мужа-фронтониках говорят...

Рядом с Сайли дремлет на своей постели кругленькая, как дыня, женщина. Она чуть повернулась и сквозь сон сказала:

— Не ждите их.

«Кого? Почему не ждать? Что-то, наверно, знает, раз так сказала...»

Сайлихан поднялась с постели. Тихонько, чтобы не привлечь к себе внимания, вышла на улицу. На небе ни единой звезды. Темным-темно. В кишлаке вдруг залаяли собаки. Наверно, Саттихан идет. . .

Вышла на большую дорогу. Темнота вокруг. Ни звука шагов, ни голоса человеческого не слышно, только ветер осенний свищет. Где же ты, Саттихан?

Когда выходила в дверь, слышала, как женщины, сидевшие за дастарханом, хихикали. Не насчет ли ее сестры проходились? И зачем ушла без сестры? . . Видела же, как этот «султан среди джигитов» пялил свои узкие глаза на девушек в первом ряду. Страх вступил в душу, как холодом повеяло. И тут же закипела злость, придала силы.

Теперь не страшна была ей темнота безлунной ночи, не страшно было одной шагать среди полей хлопчатника. Решительно направилась к светящимся впереди редким огонькам кишлака. Вот и клуб. Еще недавно гремела здесь музыка, а теперь все тихо, пусто. Клуб закрыт. Сайлихан обошла вокруг здания. Остановилась в растерянности на пустыре. Куда идти? Что делать?

Вдруг донесло ветром обрывок музыки — играл тар. И голос поющего мужчины. . . Видно, где-то открыли и закрыли дверь. Пошла на этот оставшийся в ушах звук, напрямик, не разбирая дороги.

Кишлак остался в стороне. Вышла на дорогу, опять через поле. Идет как в траншее, дорога сжата с обеих сторон плотными рядами деревьев. Ничего не разглядеть. Холодный ветер бьет в лицо, мешает дышать. Будто специально задерживает: куда торопишься, не спеши. Сайлихан даже вспотела, несмотря на холод.

И в самом деле: куда она идет? Прошла уже немало — и ничего. И все же не сбавляет шаг. Снова пробренчал тар, совсем, кажется, рядом. Веселые крики гуляющих выбрызнуло из невидимой двери. . .

Дорога неожиданно уперлась в усадьбу.

Вошла в ворота и в нерешительности остановилась под шпалерами винограда. Из глубины усадьбы слышались музыка и размеренные хлопки веселящихся гостей. Очень не понравилось это Сайлихан — ни музыка, ни хлопки. Представила себе: а вдруг Саттихан там в кругу? И совсем забыла страх. Прикусив нижнюю губу, бросилась вперед по коридору из виноградных лоз. Побежала, словно спасаясь от протянутых к ней из тьмы рук. И хоть бы искорка где вспыхнула впереди. Только и слышно,

как веселится компания. «Дост!» — выкрикивают пьяные голоса, хвалят чей-то танец.

«Вай, какой позор... Только успеть, вытащить отсюда сестренку. Спасти...»

Ноги вынесли наконец Сайлихан на открытое место. Перед нею — добротный дом. Во всю его длину полуосвещенный айван. Из ярких окон льется свет, слышны крики пьяных, музыка, хлопки.

Пересекла мертвый, побитый морозом цветник. На айване остановилась, потрогала дверь. Кажется, заперто. Из окон, что слева, — музыка, там бренчит тар. Хлопают в ладоши. Вот запели «Яллу». Осторожно подошла к ближнему окну. Чуть не умерла, когда под нею закричала давно не крашенная доска. Подобралась наконец вплотную к окну, заглянула. Прислонясь налитой спиной к переплету, совсем рядом стоял он — тот самый певец, Султан Мурадов. Это он играл на таре и пел «Яллу»:

Давайте петь! Давайте пе-е-еть!
Трое-четверо сойдемся и споем, душу отведем!

В большой гостиной сидят попеременно мужчины и женщины, хлопают все вместе в ладоши, некоторые пританцовывают сидя, подергиваются от возбуждения. Лица у многих красные, у иных даже опухли, глаза замаслились, блестят. Саттихан не видно. Вот сбоку выплыла на середину женщина в красном атласном платье. Из-под него — длинные шаровары яркого цветистого шелка. Оторочены внизу ленточками с узором. Ноги в белых туфлях на высоком каблуке. «Та самая танцовщица, что в клубе сегодня... — узнала Сайлихан. — Смотри, как старается». А та плечами водит, подведенные глаза так и блестят, так и стреляют в здорового толстяка с пышными усами. Он стоит недалеко от Мурадова. Струйки пота текут у него с висков. А глаза жадные, голодные — сейчас так и съест танцовщицу. Вот он не выдержал, шлепнул себя по голой груди ладонью, заржал, как жеребец, закричал: «Дост!»

И тут появилась Саттихан. Ее вытолкнули на середину круга...

А рядом с Султаном Мурадовым — чья это гимнастерка? И сейчас же Сайлихан узнала полувоенную гимнастерку Давулбека Давлатова, управляющего хозяйственными делами «Ривожни». «Кому доверила Тупахон-апа овечек! Волку доверила!» — прошептала со злостью.

Давлатов, видать, руководил гулянкой. Все, подбадривая Саттихан, дружно захлопали. «Гулять так гулять! — доносились голоса. — Зачем отказываться от радостей жизни?» Рожи масляные, наглые. И улыбки. . . Как у Махамадшера. . . Плюнуть бы. . .

Саттихан стояла в кругу, прикрыв платком лицо. Попыталась вырваться из круга. Ее не пустили. Покраснела смущенно. А потом. . . Повернулась, взмахнула поднятыми вверх руками и потекла в прекрасном юном танце. Длинные рукава упали с поднятых рук, обнажились пухлые белые плечи. «Ой, бесстыжая! . . Бесстыжая! . .»

А Саттихан, постукивая каблучками, прищелкивая пальцами, самозабвенно танцевала. Казалось, не замечала ничего и никого. Вся была устремлена к одному центру. Там стоял Султан Мурадов. Играл ей на таре, для нее пел, покачивался. Она старалась скрыть свои чувства, а они открывались во взгляде, когда поднимала на него глаза, когда, сама того не замечая, улыбалась ему. Со стороны все это было очень заметно. Сайлихан сгорала со стыда, наблюдая за ней. Ломала руки. А тут еще толстяк с пышными усами вынул пачку денег, одарил девушку. А та, не взглянув, заложила бумажки за уши.

«Ой! Живьем, живьем закопала меня в землю, бесстыжая девчонка!» Сайлихан больше не могла сдерживаться. Подбежала к двери, рванула на себя, решительно ступила в комнату.

Тар сразу затих. Саттихан, кружившаяся в центре, застыла на месте. Поднятые руки сами собой опустились. И остальные, кто хлопал вокруг нее в ладоши, замерли.

Сайлихан молча подошла к сестре. Выхватила торчащие за ушами красные бумажки, швырнула прямо в голую, волосатую грудь усача.

— Вы. . . Вы. . . В отцы ей годитесь! — Сгорая от стыда и гнева, scomандовала сестре: — А ну-ка, идем!

Саттихан, то бледнея, то краснея, бросилась к вешалке. Пугаясь руками, торопилась надеть свой стеганый ватник.

Усатый, трезвея, переводил взгляд с измятых бумажек, что валялись у его ног, на Сайлихан и бормотал:

— Это что же. . . Нельзя и повеселиться? . .

— Повеселились уже, хватит! Братья наши, отцы кровь за нас проливают, а вам все бы по ночным гулянкам. . . — Она повернулась к нему спиной, смерила взглядом Давлатова, покачала головой и вышла вслед за

Саттихан. Сильно хлопнула дверь. — Стыда на вас нет, — шептала, пока шли под виноградной шпалерой. — Вам что, повеселитесь в свое удовольствие, и ладно. А что девушке позор на всю жизнь, вам и дела нет. Кобели несчастные...

Саттихан молча шла впереди. Спотыкалась на каждой выбоине дороги.

В общежитии было темно. Все спали. Саттихан забралась в постель, повернулась спиной к сестре, затихла.

А Сайлихан ворочалась всю ночь, не могла заснуть. Чуть скрипнет под кем-нибудь кровать, а ей чудится: прислушиваются, рады из мухи слона сделать...

Ишь... Только спина вздрагивает. Плачет... А что теперь плакать? Сама же натворила, а теперь еще дуется. Королевой хочется стать! Царицей пирушки!.. Такую оставь на свободе, всякого может натворить... Ветер в голове!..

На следующий день пошли собирать хлопок в дальний конец поля, подальше от любопытных глаз. После обеда Сайли опять ушла на край карты. Как всегда, увлеклась работой. И вдруг — женские голоса. Посмотрела — сборщицы собрались посреди поля, о чем-то взволнованно говорят и все машут руками в сторону густых зарослей джиды на высоком берегу канала. По ту сторону канала видна — еле просвечивает сквозь заросли — линейка. Председатель приехал? Огляделась — председателя на поле нет. Кто-то другой прикатил. Ну и пусть, какое ей дело. И снова наклонилась к хлопку. Однако еще раз все-таки взглянула в ту сторону. Там, у арыка, только что собирала хлопок Саттихан. А сейчас ее что-то не видно. Ох, не про ее ли сестренку галдят женщины! Забыв высыпать хлопок из фартука, бросилась к арыку.

Когда добежала до того конца карты, линейка успела отъехать довольно далеко. Пыль крутилась за нею столбом. Нет, председателя там точно не было. В линейке сидел другой человек. Хоть и далеко было, но она, кажется, узнала того певца — «султана среди джигитов». Что его сюда принесло?

Как бы хотелось ей догнать его и выложить всю правду прямо в глаза. Ишь жеребьячья порода! Султаном почувствовал себя! Когда настоящие джигиты ушли на фронт!

Саттихан уже на своем месте. Торопится, собирает

хлопок. Сайли настигла ее, когда девушка пошла было относить набранный доверху фартук.

— Ты что, перед всеми отца опозорить задумала?

Саттихан молчала. Нагнулась к хлопковым кустам.

— Кто это был? — Сайли показала на облако пыли, висящее над кустами джиды.

Сестра молчала. Сайлихан дернула ее за руку:

— Тебя, тебя спрашиваю. Кто?

Девушка подняла голову. Глаза красные. Оттого ли, что работала нагнувшись? Или слезы наготове?

— Вы же сами знаете... — невнятно пробормотала.

— Что он здесь оставил, этот банный лист?

— Зачем так говорите, сестра...

Чувствовалось, хотела добавить: «Султан-ака — уважаемый певец», но встретила гневный взгляд сестры и запнулась.

— Что за дело у него к тебе?

Саттихан смутилась, но тут же сдвинула брови и сказала с вызовом:

— Сама артисткой стану!..

— Что-о?

От удивления и злость пропала. Словно впервые увидела сестру. Куда делись горькие попреки, злые слова, что копились в ней со вчерашнего? Конечно, Саттихан всегда тянуло туда, где музыка, где поют и танцуют. В мать пошла. Покойница была очень веселая. На дутаре хорошо играла. Она и Сайлихан выучила играть. Помнит, Сатти еще маленькая, баловница в семье, надуется на что-нибудь — и сразу на пол. А мама захлопает в ладоши: «А ну, моя беленькая, а ну, моя пышненькая, станцуй!» И Сатти тут же, бывало, вскочит на ножки и пошла плясать. В школе — первая песенница и плясунья, «артистка» на всех вечерах. Но чтобы и в самом деле стать артисткой — такого разговора никогда не было.

Сайлихан потихоньку вздохнула. Джалалхан любил водить ее в театр. Вместе с ним смотрели «Фархад и Ширин», «Аршин мал алан». Она сама немного завидовала артисткам. И конечно, понимает сестренку. Этот Султан Мурадов затронул отзывчивую струну.

Собирали хлопок почти локоть к локтю с Сатти. Сайлихан не жоса поглядывала на нее. То вспыхивала от гнева, вспоминая ее, танцующую среди этих пьяных мужчин. То останавливала себя: молоденькая ведь совсем. Что она видела? Заскучала — а тут музыка, красивые слова:

театр! артистка! Вот и сбили с толку. Сколько раз, бывает, люди спотыкаются, пока на верный путь выйдут. . . Ничего, еще не поздно. И тут же испуганно замирала: а вдруг уже опоздала? Вон ведь как Сатти упорно молчит. Что у нее на уме?

Душно. День пасмурный. На солнце напоззла тяжелая туча. Но еще мрачнее туча легла между сестрами. Никогда не было так. Сайлихан с трудом дотянула до конца рабочего дня. В общежитии сразу легла и тотчас заснула. Видно, прошедшие сутки без сна сказались. Среди ночи проснулась, будто кто толкнул.

Открыла глаза. В комнате темно, только луна из окна проложила на полу полосу света к двери. Мирно посапывают уставшие женщины. Все сладко спят. Вдруг Сайли схватила, протянула руку к постели сестры. Нет ее! Приподнялась, прислушалась. Скрипнул пол под чьей-то ногой. Возле двери на лунной дорожке чья-то фигура. Тихонько позвала:

— Сатти. . .

Тишина. За окном свистнули. Кому понадобилось здесь свистеть? Сайлихан подошла к окну. Хлопковое поле белое-белое, словно тюлем накрыто. Заморозки начались. На той стороне дороги под шелковицей качнулась тень. И тут же опять скрипнула половица. . .

Сайлихан словно током ударило. Сама не заметила, как оказалась у двери. Успела схватить сестру за руку. Сатти рванулась изо всех сил:

— Пустите! Не ваше дело. . .

— С ума сошла! — шикнула на нее Сайлихан. Протянула к себе дверь, уперлась плечом в косяк.

Саттихан ломилась наружу.

— Пустите. . . — зашипела.

— Позоришь отца! Дочь уста Умара сбежала с развратником. . . — Сайлихан тащила ее от двери.

— Султан-ака не развратник. Это завистники пускают про него сплетни.

— Эй, хоть бы язык свой проглотила! Вчера по Миралиму плакала, когда на фронт ушел, а сегодня. . .

— Ну и что? Плакала. Детская дружба. А Султан-ака. . . Да ради одной песни Султана Мурадова многие девушки жизнью своей готовы пожертвовать.

— На тебя похоже. . .

— Охо, у самой, видно, слюнки потекли. . .

— Замолчи! — прикрикнула Сайлихан. — Твой Султан подлая лиса, которая выбирает ночь для охоты. . .

Он ногтя не стоит и Миралима, и моего Джалалхана!

— Не оскорбляйте...

— Как же! Может, хвалить прикажешь? Подлая, подлая лиса он! Самой стыдно будет! Чтоб сдох, проклятый!

— Кто попал под мельничный жернов, живым не выйдет. И ваш муж, и Миралим... — Саттихан всхлинула, ее трясло. — Были бы живы, неужели не написали бы до сих пор?

— Не смей так говорить, — Сайлихан оглянулась — не разбудила ли кого ссора сестер. Да, похоже, никто уже не спит...

— Не верите? — огрызнулась, не помня себя, Саттихан. — А вы спросите своего бывшего мужа!

Подкосила ее сестра. Ноги сразу ослабли, руки повисли.

— Как ты могла сказать такое? — проговорила чуть слышно. — Что он может знать про этот жернов? Самой будет стыдно за такие слова. Ладно, успокойся. Не враг же я тебе, в конце концов. Разве могу хотеть тебе зла? Страшно мне за тебя. Обесчестит и бросит. Погоди злиться. Может, твой Султан и хороший человек. Все равно, надо же девичью гордость иметь. Ты успокойся, подумай обо всем хорошенько. А я поспрашиваю у людей. Узнаю, что он за человек. Ведь так с давних времен ведется. А вдруг у твоего певца окажутся жена и дети? А может, и одинокий, занят своим пеннем...

Так, стараясь говорить тихо, успокаивала младшую старшая сестра. Но все вокруг давно уже не спали. И лампу уже зажгли. Некоторые даже подошли ближе — ждали, чем ссора закончится. А самые боевые — кто с палкой, кто с кочергой — на улицу выскочили. Вернулись разочарованные:

— Успел сбежать!

— А ведь плохое задумал, это точно!

Саттихан прорвалась сквозь стиснувший ее и Сайли круг, закрыв лицо, бросилась в постель. Теперь уже смысла не было шептать, и она испуленно выкрикнула:

— Хватит! Все считаете меня ребенком! Не хочу всю жизнь быть, как вы, несчастной! Сама себе хозяйка, что захочется, то и сделаю!

Сайлихан поблдедела. Как будто ударили ее по лицу. Еле выговорила:

— Как язык у тебя повернулся?..

Она сглотнула слезы и, посмотрев на обступивших ее женщин, жалко улыбнулась, как бы говоря: «Ну что с нее взять, глупая девчонка. Сболтнула, не думая». А губы дергались, улыбка не получалась. Зажав рот рукой, пошла к постели.

Женщины посудачили немного и утихомирились. Незаметно и свет погас, вроде как бы сам. Все опять спали.

А Сайлихан? Эх, да разве ей сейчас до сна? Надтреснутый крик Саттихан так и остался в ушах. Это ее сестренка сказала такие горькие слова. Даже от чужих такого ни разу не слышала. Сестренка, которую любила и баловала. Ведь была ей за мать! Нет, такого никогда и представить себе не могла.

Закрыла глаза. Не видеть бы никого..

Никогда не задумывалась до сих пор, счастливая она или несчастная. Всего хватало в жизни — были и светлые, и черные дни. А каких больше — не взвешивала. Но в эту ночь Саттихан заставила ее вспомнить прошлое..

V

Вот она, четырнадцатилетняя девочка, одна на берегу арыка. Зачерпнула воды в кумгаи. Только собралась подняться, видит напротив нее на том берегу чьи-то ноги. Широко расставлены, в больших дубленых сапогах. Вскинула глаза — джигит стоит. Да какой могучий, на широченные плечи накинут чапан, на голове тубетейка. Как посмотрел на нее — просто сжег взглядом. И улыбается сквозь усы.

Как она испугалась! Вспомнились предостережения матери: «Не выходи на улицу, украдут». Побежала со всех ног, расплескала воду.

И второй раз увидела его — пришел к ним в дом. Она сидела за пологом, наряжала куклу. Совсем еще девочка была. Так с этой куклой и замуж отдали. Звали джигита Джура-палван. Был он силач, побеждал всех в борьбе. Одно слово — богатырь. Палван.

Родители не хотели отдавать за него. Говорили: мала еще, совсем дитя. Тетка Анзират, главная советчица, была резко против, шумела больше всех. «Неизвестного роду-племени, ремесла хсрошего в руках нет. Только и ходит по свадьбам-тоям — куда бороться пригласят. Палван, он и есть палван! Борец! К тому же и бузы выпить

любитель». Отказали. А он, уходя, упрямо сказал: «Хотите не хотите, все равно женюсь на ней».

Через неделю тетка явилась сватать за деверя своего, за этого самого Махамадшера. «Вот это человек. Сын зажиточных родителей. Отсиделся в тени в беспокойное время, не тронули. Теперь у новой власти в чести, Советам служит». Отец с матерью подумали-подумали и согласились. Разломали со сватами, которых привела Анзират, патыр — специально на этот случай испеченную лепешку, одарили их отрезом шелка и платками.

И надо же, Джура-палван не забыл своего слова! В тот же вечер пошла она за водой, только лишь опустила ведро в арык, как на голову ей упало что-то вроде плотной паранджи или покрывала — ничего не стало видно. И крикнуть не успела: скрутили, связали, бросили поперек седла и увезли. Душно ей было под тем покрывалом, совсем задохнулась. Куда везут, понять не могла. Только цокот копыт отдавался в ушах.

Пришла в себя, почувствовав на лице брызги воды. Открыла глаза — небо звездами усыпано и со всех сторон — стена темных гор. Шумит падающая сверху вода. Над Сайли склонились незнакомые женщины и еще — тот, большой и усатый, которого у арыка видела. Джура-палван.

Оказалось, привез ее Джура в дом своего дяди. Она плакала потихоньку, горевала и ничего не говорила. И Джура-палван решил по-своему: молчит, — значит, согласна. Позвали муллу, скрепили брак Кораном.

И некому было пуститься на поиски. Отец один, что он мог сделать? Братьев у него не было.

Когда выпал снег, перебрались в собственный дом Джуры-палвана. Еще немного времени прошло, и с дарами в узлах отправились новые родичи с поклоном к дому ее отца.

Тут уж и аксакалы белобородые вмешались: «Кого еще надежнее Джуры-палвана сыщете для своей дочери? Лучший джигит в нашем краю». Родители смирились. «Так случилось, — значит, ее судьба».

На второй год супружества родила она мальчика. Назвали Уктамом.

Дом Джуры-палвана стоял на краю города. А работал Джура в поле. Любил лошадей, оттого и пошел на земле работать. Сильный сам и любил сильных. Однажды увидел в поле трактор, залюбовался, как он легко и плавно режет и отваливает целые пласты земли. С этого

дня загорелся — обязательно стану трактористом. И стал! Только знал бы, как оно повернется...

Как бы далеко ни посылали Джуру-палвана на его тракторе, всегда возвращался домой. Не успеет к вечеру, придет ночью. А иногда и всю ночь добирается, успеваешь только к первым петухам. С ним в дом врывается запах поля и керосина. Как придет — сразу к люльке. И тут уж его не удержишь. Спит не спит малыш, все равно поднимет, распеленает и начнет играть. Очень любил сынишку.

А еще — всегда можно было узнать, удался у него день или нет. Если все хорошо на работе или в борьбе победил, то издали слышен его сильный голос — с песней идет. Все соседи уже знают: у Джуры-палвана дела сегодня хороши. Любил повеселиться, всегда душа нараспашку. Но семью никогда не забывал. Очень заботливый был. И вот как получилось... Такой сильный, а вдруг погиб...

Страшный был день. Снег уже растаял, но земля оставалась мокрой. Не услышала в тот день песни мужа. Пришли четверо джигитов и внесли в дом палвана. Положили на курпачу и ушли. Да, ни с чем не сравнится, когда мужчина сам, своими ногами приходит в дом!..

Оказывается, мост через арык провалился, когда переезжал его. Трактору что — его, хоть и с трудом, вытащили. А вот человека... Спихнулись, когда сапог увидели — показался из воды. Трактор в те времена, конечно, был важнее... Занялись трактором, а про тракториста и забыли...

Вернулась Сайли с младенцем на руках к отцу. Тетя Анзират очень сочувствовала ей. И предсказала: «Пройдут все поминки, кончится траур — и выйдешь за человека, у которого на голове кожаная фуражка, а в руке папка».

Все наперед знала тетя Анзират. Так и вышло. Отдали Сайлихан за человека, который ходил с папкой в руке, — за Махамадшера. Это у него из-под носа украли невесту Джура-палван. От второго мужа пахло не керосином. Одеколоном благоухало, фасонил. Очень занимался своей внешностью. Не зря люди прозвали его «Махамад-порум». Но первый муж есть первый, пусть ходит он в масле и пахнет от него керосином. Бедный, не суждено было ему...

Отвела ее тетка к Махамадшеру. Как положено невесте — украшения, браслеты, кольца, а отцу с ма-

терью — полмешка муки. Очень тогда голодали. Был холодный и голодный тридцать третий год. Оттого, как только кончился траур по первому мужу, сразу и проводили дочку, не спросив, хочет ли она идти в чужой дом. Сестричка Саттихан вскоре принесла туда Уктамджана, сынка Сайли. Повернули ее от ворот. Свекор-домулла руками замахал: «Хочешь опозорить нашу голову?»

А потом... До сих пор не перестает болеть сердце. И никогда не перестанет болеть.

Родители се голодали — зять оказался не слишком щедрым. Когда удавалось, сама украдкой принесет, бывало, лепешку, кусок хлеба. Но редко. Ребенок недоедал, болел. Совсем исхудал, несчастное дитя. И отдали отец с матерью Уктама бездетной женщине, жене мельника. Пришла Сайлихан к родителям, а мальчика нет. Как сейчас видит и больную, умирающую мать на постели, и отца, опустившего голову, и плачущую Сатти. Слышит слова матери:

— Не плачь, доченька, они хорошо воспитают Уктама, обещали.

Не сразу дошло до нее, что украли у нее Уктама. А как ворвался в душу весь ужас, схватилась за голову, кинулась к двери. Всю дорогу к дому Махамадшера она бежала. «В ноги брошусь, буду молить, просить, — шептала. — Рабой стану, только бы согласился. Он ведь тоже сын матери человеческой, должен понять... Должен!..»

Не помнит, как прошла через ореховые резные ворота, как миновала крытый двор. Сняла с лица чачван. Медлила, приходя в себя. Из небольшого дома, стоявшего отдельно в глубине двора, доносился молитвенный голос свекра. Мулла исполнял вчерашний заказ — творил заупокойную молитву. Сайлихан как можно незаметнее и быстрее пересекла открытую часть двора. Ей уже чудился поперек в монотонном голосе свекра, читавшего Коран. Непонятные, таинственные слова молитвы, как осы, с заунывным жужжаньем летели ей вслед. Вошла наконец в свою комнату, и осы остались за дверью. Перевела дух.

В полутемной передней сбросила паранджу. Свет проникал сюда через двойные окна, выходящие на айван. Повесила паранджу на гвоздь, присела на курпачу против стеной ниши, где на полках стояли ппалы, касы, чайники. На перегородке с алебастровой лепной вязью

висела большая фотография. С надеждой подняла на нее глаза, прошептала:

— О всевышний, всели в него жалость!

С фотографии на нее смотрел усатый человек в кожанке и кожаной фуражке. Глубоко ушедшие под брови глаза цепко следили за ней.

Имя Махамадшер Сайлихан знала давно, а вот прозвище «порум» услышала впервые зимой тридцать третьего года. Как раз перед новым замужеством. Голодная была зима, и говорили, что в поселке открылась лавка торгсина, и будто там этот Махамад-порум принимает от народа золотые украшения, а взамен дает муку. Люди в ту страшную зиму жестоко страдали. Дома у уста Умара уже съели последнюю горсть муки. Забыли уже, как и казан кипит. Вот так, дойдя до крайности, собрала Сайли все украшения, что получила в дни своей первой свадьбы, укуталась в паранджу и понесла в торгсин. Золотые серьги, браслеты, кольца принял у нее тот, кого она уже знала, — Махамадшер! Оказывается, это его прозвали Махамад-порум, видно за кожаную «форму», которая его и выделяла среди других людей. Разложив перед собой ее «товар», он вроде бы в раздумье стал разглядывать его. Потом, подняв сросшиеся брови, распорядился:

— Пройдите во двор, надо проверить ваши вещи: чистое золото или фальшивое.

Перегнулся через прилавок и, протянув руку над головами людей, которые тоже пришли в лавку, показал, как пройти во двор.

«Вай, почему говорит, что фальшивые?» — испугалась Сайлихан. Подняла было к нему лицо и тут же опустила. Цепкие глаза, сидящие по сторонам орлиного носа, казалось, прожгли ее сквозь густую сетку чачвана и паранджу. Как можно плотнее завернувшись в паранджу, она прошла во двор, как ей и велел одетый «по-русски» заведующий. Он уже стоял на солнечном айване и ждал.

— Проходите!

Пропуская, сделал ей замечание:

— В советской конторе не положено сидеть в парандже.

«Советская контора!» От одних этих слов Сайлихан задрожала. Сняла, хоть и мучительно стыдясь, паранджу, но сразу же закрылась марлевым платком. Заведующий сел за стол, приставил к глазу круглую

стекляшку — так он проверял золото. Но почему-то все больше смотрел на нее, а не на браслеты и кольца.

Сайлихан трепетала под острым, пронизывающим взглядом. Потупив глаза, отвернулась.

— Мог бы ваш супруг сам принести, зачем было вас беспокоить, — вроде бы помягче сказал заведующий. Даже улыбнулся.

— Умер он, — ответила, не поднимая глаз.

Заведующий сочувственно покачал головой.

— Как его звали? Может, знаю его.

«Ведь все знает, а спрашивает!» Сайлихан смутилась. Как сказать? По адату женщине нельзя называть ни имя мужа, ни имена его родственников.

— Трактористом был. . .

— Джура-палван! — заведующий сверкнул глазами, и будто судорога прошла по его щеке. Он встал и начал прохаживаться по кабинету. — Здоровый парень был. А жизнь оказалась короткая. Судьба. Пусть душа его будет в раю! Вашего отца хорошо знаю. Мы с ним почти родня. Сдал он немного, а?

— Да, плохо видит теперь. . .

— Печально. Вам, конечно, туго пришлось.

Под упорным взглядом заведующего Сайлихан окончательно смутилась. Еще плотнее надвинула на лицо платок, один только глаз смотрел из-под него искоса, мимо заведующего, куда-то в угол.

— Не надо расстраиваться, — по-своему понял он ее. — И несчастливые дни проходят. Не стесняйтесь, будете в чем нуждаться, прошу прямо ко мне. Все, что в моих силах, для вас сделаю. Живете сейчас у отца?

Сайлихан от таких слов совсем стало неловко. Скорее бы уж уйти отсюда. А он подошел, словно гусь, склонился к самому лицу, опустил к ней голову.

— Ничего не пожалею для вас. Не стесняйтесь. Хорошо? А сейчас оставьте ваши украшения и спокойно идите. К вечеру вам привезут. . .

На улице был туман, холод так и прихватывал под паранджой, а у Сайлихан долго еще огнем горели щеки.

Заведующий свое обещание выполнил. Вечером отец как раз собирался стать на молитву, как вдруг постучали в ворота. Она сама пошла открывать. Оказалось — арбакеш из торгсина привез мешок муки. Целый мешок! А по карточкам выдают всего по куску хлеба на душу. На следующий день заявила принаряженная тетушка Анзират, а с нею незнакомая старушка.

— Скоро ты станешь счастливой, племянница!

«С чего это я стану счастливой?» — удивилась. Не долго пришлось гадать. Просватали ее за заведующего торгсином. И пошли, поехали свадебные приготовления — быстро, наспех. Не успела Сайлихан опомниться, как уже оказалась за пологом. Опять стала новобрачной! Рядом с нею сидел человек... Новый муж надевал на руки, на шею невесты те самые кольца, браслеты, серьги, за которые прислал им мешок муки. А теперь он смотрел на нее с фотографии в ее комнате.

— О всевышний, всели в него жалость!

Сайлихан оглядела комнату, в которой начиналась ее новая жизнь, ее и Махамад-порума. Стопы ватных одеял-курпачей, яркие сюзаны на стенах. В углу сверкает никелем кровать. Ни у кого в Маргелане не было тогда такой кровати. Застелена красным покрывалом, висится гора подушек. На полу большой туркменский ковер.

За стеной голод, а тут скоро лопнут от достатка. Горько на душе у маленькой, совсем юной женщины. «Я здесь хожу сытая, в атласах, а мой сынишка... Чужие люди будут кормить и растить его...»

Свекор что-то бурчал себе под нос, расхаживая по двору, — молился. Этот голос заставил опомниться. Она здесь еще новенькая. Как бы ни было тяжело, невестка должна знать свое дело. Пора готовить ужин свекру. Пошла на кухню, поставила самовар. Быстро прибрала в домике свекра, пока он по двору ходит. Заменяла поднос на столике, наполнила вареньем пиалу, принесла тарелку с черным кишмишом. Старик ест мало, больше поклевывает сладости.

Свекру угодила, теперь можно и себе заварить маленький чайник. Присела, взяла лепешку и остановилась, как бы оцепенев. Опять Уктам перед глазами. Среди тех лепешек, что отнесла сегодня родителям, была одна маленькая — ее специально испекла для Уктамджана. А его уже...

Опять заходила по комнате. Не может так все оставаться, нет... Села на кровать, прямо на нарядное покрывало. Дождется мужа... Он не откажет ей... Поминутно глядела на часы. Что-то стрелки сегодня медленно движутся...

Но вот подошло время готовить еду мужу. Отрезала кусок мяса, изрубила в фарш. Волнуется ли жена, страдает ли, к приходу мужа всегда должно быть все как следует. Правда, Махамадшер приходит по-всякому,

нной раз и на рассвете. То у него собрания, то посылают в другой кишлак, то просто придет под утро и ничего не объясняет. Жена не спрашивает, не полагается. Мать учила: «Не смей мужу и в глаза посмотреть». Упаси бог! Она не такая невоспитанная. Понимает — все, что есть у нее: одежда, серьги в ушах, браслеты на запястьях, жемчуг, в двенадцать рядов охвативший шею, бирюзовые камши на пальцах, — все его. И дом, и утварь, ковры, курпачи. . . Да и она сама — вся принадлежит ему. А родителям — как им не ценить такого зятя. В такое время взял ее. Кругом нужда, голод. На улицах трупы умерших с голоду людей. . . А он отвалил ее отцу мешок муки, риса полмешка, масла и мяса сколько-то, да еще моркови, луку.

«За родителей, видит бог, благодарю, спас от голода. Только разрешил бы взять сюда сыночка. А уж спасибо скажу. . . Буду служить ему весь век. Свекор, свекор вот — он против. Но сын его, он же муж мой! Он сжалится, разрешит. . . О всевышний!» — молила, обратив мокрое от слез лицо в сторону священной Киблы, туда, где поконится прах пророка.

Но что приготовить ему, чтобы понравилось? Вкус у мужа капризный. Не по нем — и не притронется, оставит. У свекра запоры, ест только отвары да мучную болтушку, заправленную бараньим жиром. А сыну хоть каждый день подавай плов или жаркое. От жидкого, говорит, живот у него пучит.

Сайлихан развернула скатанный в трубку лоскут бараньей шкуры, специально обработанный для стряпни. Расправив, принялась раскатывать на нем тесто. Свекор вчера ел мясной отвар, позавчера болтушку. Пожалуй, можно одним казаном обойтись. Для свекра пойдет мясной отвар — шурпа, в него можно будет запустить фрикадельки. Завтра пятница — отдых правоверных. Муж, не иначе, придет навеселе. Пожалуй, налепит она ради праздника чучвары, пельменей. Может, понравится. Порадовалась своей догадке. Поест муж всласть — размягчится, добрый станет. Тогда и скажет ему Сайлихан об Уктамджане.

Едва успела налепить чучвары, послышался голос мужа. Чуть не бегом полетела навстречу. Приняла папку из рук, фуражку. Когда снимал сапоги, подставила кавуши. Полила на руки. Помыл — а полотенце уже наготове, подоспела. Кажется, угодила. . .

— Ужин готов? — улыбнулся милостиво.

— Сейчас.

Мигом выложила из казана фрикадельки — это для свекра. Быстро запустила в кипящую шурпупельмени. Успела отнести ужин в комнату свекра. Когда вернулась, казан бурлил, словно его терпение кончилось. Пельмени гонялись один за другим, ныряли и подпрыгивали. Соль, приправа — все на месте. Остался горький перец. Муж любит, чтобы съест стручок целиком.

Оторвала от связки красного перца одну штучку, бросила в казан. Бегом принесла из соседней комнаты расписное фарфоровое блюдо. Пока раскладывала на нем пельмени, лук с помидорами жарились в масле. Выложила все на пельмени. Пусть будет повкуснее.

Муж с удовольствием проглотил целое блюдо чучвары.

— А ты неплохаястряпуха, очень вкусно получилось. И все же испортил немного похвалу:

— Однако если умирать, то только от плова.

Сайлихан не обиделась, знает его привычки. Любит подколоть. Главное, он в хорошем настроении.

Махамадшер, довольный, разлегся на курпачах, постеленных в четыре слоя. Сайлихан решила: пора...

Только лишь начала, Мухамадшер сразу переменялся в лице. Не дослушал.

— Эй, за кого меня принимаешь? Хватит и того, что Джура-палван перебежал мне дорогу. Думаешь, у меня гордости нет? Чтобы я да кормил его последыша! Не будет этого!

Сайли упала ему в ноги:

— Пожалуйста!.. Не оставьте у чужих!..

Он пнул ее ногой в живот. Вытаращил зеленоватые, как бы подернутые пленкой глаза, сросшиеся брови нависли над крючковатым носом.

— О милосердный аллах! — только и смогла вздохнуть она.

Мыла посуду, убирала со стола и не видела того, что делает. В ушах все гремел голос мужа: «Не будет этого!»

«О аллах, я думала, он мусульманин!» Сайли схватилась рукой за горло. Думала, искала выхода. Нет, так не может быть, нет! Она возьмет ребенка... Или уйдет сама. Только как уйдешь? Ведь от Махамадшера зависит не только ее благополучие. А родители? Старикам считанные дни остались. Если и живы, то только благодаря зятю. Нельзя, да и некуда ей уйти. К тому же в тя-

гости, — она взялась за то место, куда пришелся удар мужниной ноги.

Всю ночь Сайлихан думала и ничего придумать не могла.

Утром Махамадшер, как обычно, ушел на работу. Свекор углубился в свой Коран. И она решилась. Закуталась в паранджу и вышла из дома.

Путь держала к махалле, носившей название «Мельница». День был пасмурный, на улицах народу мало. Но все равно она обошла стороной все перекрестки. Петляла по узким улочкам. Холмы, сады за плетеными или глиняными дувалами, убранные кукурузные поля, устоявшаяся голубая вода в арыках — проходила мимо всего этого и не замечала. До того ли ей было сейчас?

Сквозь сетку чачвана вглядывалась в даль. Услышала грохот падающей воды. Значит, мельница уже близко. Вот она вышла к берегу большого арыка, стоит на холме. Внизу пенится, бурлит вода.

Только сейчас заметила, что идет дождь. Прибил пыль на дороге. Настороженно осмотрелась. Возле мельницы никого, только белый ишак привязан к колу. Дом Хидай-биби должен быть где-то рядом с мельницей. Спросить бы, но у кого? Открытую дверь мельницы застилает облако мучной пыли, и земля кругом белым-бела. Сквозь шум воды слышно, как яростно стучит мельничное колесо. . .

Из двери мельницы вышла старушка. Под мышкой плотно набитый мешок, на голову накинула чапанчик внука. Вот ступила на шаткий мостик через арык. Сайлихан испугалась: упадет! Но старушке, видать, привычен этот путь. Перешла спокойно и поднялась по склону к тому месту, где стояла Сайлихан. Молодая женщина вежливо поздоровалась. Спросила, где живет Хидай-биби.

— Туда иди! — показала пальцем старушка. — Видишь карагач? Рядом и дом Хидай-биби.

Подошла к карагачу, остановилась. Сердце так и стучало — вот-вот выскочит. Зачерпнула рукой воды из арыка, выпила. Отдышалась немного. А глаза не отрывались от ворот. Услышать бы хоть голосок Уктамджана. Как она истосковалась по нему! . . . Хоть бы был здоров. . . И что за женщина Хидай-биби? Как заговорить с нею?

Робко стукнула железным кольцом в воротах. Ничего не слышно. Стукнула сильнее. Опять ни звука. Только воробьи чирикают на карагаче. Нагнулась было — заглянуть в щелку — и замерла от страха: кто-то подошел.

Одна створка ворот приоткрылась. Выглянуло лицо женщины лет сорока. На ней зеленое платье и черная безрукавка. Худая, на шее зоб. Черные глаза сверкнули недоверчиво и злобно. «Хидай-биби», — сразу поняла Сайлихан.

И та, видно, ее разглядела. Побледнела, поздоровалась сквозь зубы.

Дождь припустил сильнее, но хозяйка не думает приглашать в дом — загородила собой дорогу.

— Сыночка... Посмотреть на сына пришла, — голос Сайлихан дрожал.

Хидай-биби покачала головой: нельзя.

— Плакать будет. Только начал привыкать к нам.

— Спаси вас бог, сестра! За сыночком пришла. Хочу забрать...

— Что-о? — губы Хидай-биби задергались. — Совесть у вас есть?

— Я понимаю... Только он же мой первенец... Сердце разрывается. Дай вам бог...

— Вспомнила, значит, первенца!..

— Вай, зачем же так? — Сайлихан прижала руки к груди.

— Как это зачем? Сначала отдаете ребенка, а потом назад? Живите на здоровье, веселитесь, пока муж кормит. Ребенок ей вдруг понадобился!

— Не ругаться с вами... — из глаз Сайли хлынули слезы. — Пришла умолять вас, просить... Поблагодарить за то, что столько дней кормили моего сына, заботились... Аллах вас не оставит.

— Вы, значит, и аллаха помните! — продолжала казнить ее Хидай-биби. — Ваша мать с тем и отдала — кормите, ради бога. Если б не я, ваш сын давно бы в могиле лежал. Бог помог, но все-таки жизнь спасли ему мои руки.

Умела Хидай-биби найти острое, убивающее человека слово. И все же не могла молодая мать отступить:

— Буду бога молить за вас, сто лет живите!..

— Зря просите. Мне отдали ребенка ваши родители, с вами у меня дел нет. Тринадцать лет я ждала. Ни одного домуллы не обошла своими дарами и просьбами. Посетила святые места и в Шахимардане, и в Джалалабаде. Все, что было у меня, отдала. Слезами моими полита земля, по которой ступала. И наконец послал аллах этого мальчика.

— Но родила его я! — обида зазвенела в голосе Сайлихан.

— А я от смерти спасла!

— Жаловаться пойду!

— Жалобами не запугаешь! Пуганые уже! — сузила глаза Хидай-биби. — Лучше оставь меня в покое, а то получишь на руки мертвого. Попролам разорву! Бери! — кричала, задыхаясь и трясась.

— Вай! — Сайли пошатнулась, закрыла лицо руками. Жесткий, повелительный голос заставил очнуться:

— Сайли!

Муж! Поскорей накинула паранджу.

— Быстро в фаэтон! — приказал Махамадшер.

Отъехав, Сайлихан оглянулась. Хидай-биби уже нет у ворот, обе створки закрыты. Муж резко дернул за руку, повернул к себе:

— Взяла, значит, привычку бродяжничать?

Она сжалась. Голос мужа осип — это был верный знак: пощады не жди.

— Я тебе что говорил? Или уже научилась не считаться с мужем?

...Утром у Сайлихан случился выкидыш. А в обед прибежала сестра — умерла мать...

Неосторожное слово сестры разбудило столько воспоминаний. Всю ночь они мучили Сайлихан. Так и не дали заснуть. Стук в дверь заставил очнуться. Вошел Давлатов.

— Подъем! — скомандовал по-военному.

На постелях зашевелились. Сайли взглянула в окно. Оно еще не начало даже синеть. И голова трещит... Разбредила сестренка душу. Не ожидала такого. Если уж близкий человек так может, чего же ждать от других?

Сатти не шевелилась — так натянула одеяло на голову, даже носа не видно. Погоди, тебе еще стыдно будет, что так сестру обидела.

VI

Из-под крыльев «юнкерсов» отрывались одна за другой бомбы и с тонким воем летели к земле. Джалалхан едва успел спрыгнуть в траншею. Прижался к земляной стенке. Загрохотали взрывы, на голову посыпался песок. Земля в траншее вздрагивала — передавала удары. Где-то отчаянно заржала лошадь, кто-то закричал. Ка-

залось, все кругом в огне — деревья, трава, овсяное поле. Дым и пыль забивали легкие, мешали смотреть.

Затих хватающий за душу вой пикирующих бомбардировщиков. Послышался голос командира:

— К бою!

Зашевелились окопы, засыпанные землей. Джалалхан выбрался из траншеи, осмотрелся. Орудие было отброшено взрывом в сторону. На его месте лежало поваленное дерево.

Начали расчищать огневую позицию. Поставили пушку на колеса.

— Младший сержант, чуешь, тебя поранило, — сказал командир орудия сержант Медвидь, озабоченно разглядывая щеку Джалалхана.

Только тут понял он, что слегка оглох на одно ухо, из него и кровь текла. Один из солдат расчета подал флягу с водой, другой намочил кусок бинта, заткнул им ухо.

Джалалхана не испугала кровь. Жив остался, и ладно. Вон их товарищ лежит, большой был шутник. Не поднялся. . .

— Противотанковыми! . .

Это скомандовал сержант Медвидь. Джалалхан крутил барабан, искал новую цель. Слава богу, оптический прицел не разбит.

— А ну, давай подъезжай ближе! — кричал он, направляя ствол на вражеский танк.

Отбили две атаки. Вражеская пехота наступала под прикрытием танков. И с третьей справились. Как только танки отходили назад, налетали «юнкерсы». Весь день земля тряслась под ними, до самого вечера.

С темнотой немцы уgomонились. Теперь можно было и отдохнуть. Измотало людей за день. И потери большие. Немало убитых, но еще больше раненых.

В сумерках, постукивая, прикатила повозка. Это земляк Марди привез снаряды.

— Ты еще жив, джура¹? — словно удивился, застав товарища в живых. Сам он заметно сник. Черные, как ночь, глаза глубоко западали, в них притаился ужас. Оглянулся по сторонам и зашептал: — Джура, ты заметил, как тихо стало?

Джалалхан сидел на станине орудия. Прислушался: и правда — тишина. Только слышно, как лошади переби-

¹ Дж у р а — приятель.

рают удила, постукивают зубами. Ветер развеял дым, даже запаха гари не осталось.

— Это не просто, что так тихо. Немцы окружают... — выпучив глаза, шептал Марди.

— Откуда ты взял?

— Точно говорю, джура. С тыла заходят...

Договорить Марди не успел.

— Отбой! — пронеслась команда.

Джалалхан поднялся. Вместе с расчетом захлопотал у пушки. Орудие прицепили к передку, хлестнули коней и покатили. Поле, политое кровью товарищей, осталось позади.

Артиллерийский полк шел в стороне от большой дороги — по ухабам, через поле, сквозь лесную чащобу. Мучили себя люди, мучили лошадей.

— Джура! — окликнул Марди. Он ехал в обозе. Джалалхан шел за своим орудием, то и дело засыпая на ходу. Руку положил на ствол — боялся отстать. Когда повозка обозника поваялась с ним, вскочил на нее, подсел к товарищу. — Вот видишь, все так и идет, как я говорил.

На что намекает? Откуда он в обозе может знать, что немцы заняли город Перемышль?

— Киев, Минск, Смоленск!.. — Марди безнадежно махнул рукой. — Ленинград уже из полковых орудий обстреливают.

— Откуда ты взял? — возмутился Джалалхан.

— Хоть ты, джура, и младший сержант, и наводчик что надо, а глаза твои не видят, уши не слышат.

Тут уж Джалалхан не на шутку рассердился.

— Какой паникер выложил тебе этот бред? — схватил он его за локоть.

— Не хватай! — Марди выдернул руку. — Какой бред? А рации на что? Опять же телефон, штаб есть. Людям рот не заткнешь.

Джалалхана как дубиной хватили. Сидел, опершись на карабин, окаменел весь. Рассветало. Из-за леса видно зарево — деревня горит. Проектора прорезали с двух сторон небо. Донеслись взрывы.

— Вот и говорю. Написала жена, спрашивает: когда вернусь? Разве тут вернешься?

Джалалхана и Марди в батарее зовут «стариками». Это потому, что оба женаты. А они не обижаются. Дал бы аллах дожить до старости!

— Ничего, Марди. Терпи. Домой заявишься — вся грудь в орденах.

Марди мрачно покачал головой.

— Не-ет, джура. Мало кто в этой войне уцелеет. У Гитлера оружие знаешь какое? Он в свой кулак забрал всю мощь Европы. Вся Европа на него работает. Перебьет нас всех, безбожник, — он горестно обхватил ладонями голову. Потом придержал повозку. — Знаешь что? — И зашептал в самое ухо: — Давай развернем коней и в сторону.

— Это зачем?

— Ты на одного, я на другого коня — и на восход солнца, на Самарканд.

— Ты с ума сошел, Марди, — Джалалхан невольно оглянулся. — Ты же присягу давал!

Самаркандец тихо плакал, уставившись в хвост белой лошади.

— Кости наши здесь останутся... Хоть бы один только раз взглянуть на своих...

«Хоть бы раз!» — сердце Джалалхана дрогнуло. Закрыл глаза и увидел Сайли — стояла у ворот, в руке патыр, от которого дала ему откусить. «Эх, хоть раз бы еще довелось увидеться!»

Однако не дело болтает земляк. Заговорил с горечью:

— Ты что, злость затаил на Советскую власть? Обидела она тебя чем?

Марди — в руках вожжи, за спиной карабин — сидел понурясь, из глаз текли слезы. Покачал в ответ головой. Нет, никто его не обидел.

— Вот видишь. А затеял бежать. Это я мог бы еще сказать — бежим.

— Я, джура, такого слова не сказал, — испуганно замотал головой обозник.

— Вот у меня действительно могла бы найтись причина обижаться на Советскую власть.

Марди вытер рукавом шинели глаза, взглянул на товарища.

— Давай закурим! — Джалалхан провел пальцами по левой стороне груди. Там в кармане у него был табачный припас.

— Ты ж знаешь, курить запрещается.

— Да, да, конечно. Спичку за семь верст видать. Да вот вспомнил одно дело — так и потянуло закурить.

— Ты что, из раскулаченных?

— Какой там кулак. Пролетарий. Голодранец чистый. Трактористом работал.

— Откуда же твоя обида?

— Давай погоняй лошадей. Не отставай.
— Ты уж, джура, договаривай, раз начал.
— Да-а, жил себе тракторист, знал одно свое дело... — горестно вздохнул Джалалхан. — Молодой был, в жизни слабо разобрался...

Перед глазами ожило поле. Он на тракторе. На берегу арыка шевелятся под ветерком тутовые деревья. От города на кауром коне мчится всадник. Вот он! Джалалхан как сейчас отчетливо видит его — высоченный, в темно-синей милицейской форме, на голове форменная фуражка. Как его не узнать? Кто в Маргелане не знает милиционера Наркузи Эсанбаева? Это он выбил одним выстрелом глаз курбаши Шермухамеду из Вуадыля, тому самому, которого прозвали потом «Косой Шермет».

Подъехал милиционер Наркузи и поднял плетку: «Остановись!» Джалалхан приглушил мотор. Слез с трактора, подошел, поздоровался. Наркузи на приветствие не ответил, сразу командовать:

— Ну-ка, подыми ногу! — и наставил свои зоркие соколиные глаза прямо в глаза Джалалхану.

Удивился Джалалхан. Но ногу поднял.

— Подкова на твоей обуви впору и ослу.

— Хожу много, другая не выдержит.

— Много ходишь, да криво ступаешь, парень.

— Не понимаю, о чем вы, милиционер-ага.

— Скоро поймешь. Ступай за мной.

Сжалось сердце под проникающим в душу взглядом Эсанбаева.

...В то утро Эсанбаев обследовал пролом в стене торгсина. У амбара обнаружил след сапога, подбитого здоровенной подковой. В эту ночь шел дождь, и подковка сапога отпечаталась четко. След привел к большой дороге и там пропал. Милиционер заглянул в будку сапожника, что на краю базара. Сразу заметил — точно такая подковка висит на гвозде среди других. Указал на нее:

— Кому в последнее время прибивал?

Сапожник объяснил. Эсанбаев прикинул: из тронх, кому сапожник чинил обувь, один старик, второй — учитель. А третий... Вот он, не иначе, и есть злоумышленник. Чего ждать от Джалала-тракториста? И пьет, и курит. Все, что заработает, тут же — на друзей, на гулянку. Все проматывает. И в драке попадался. Сейчас у парня опасный период... Так решил, сел на коня и примчался на поле...

— Требовал, чтобы я сознался... Э, не хочется и рассказывать дальше.

— Погоди, джура. Значит, обвинили, что ты взломал тот торгсин?

Вот именно! Как гром среди ясного неба было для Джалалхана то обвинение.

— А вышло все вот как... Год шел тридцать третий. Голод, цены на продукты — не подступишься. Открыли у нас этот самый торгсин. Меняли золото, у кого есть, на муку. В тот день, как всегда, шел я мимо на работу. Еще не вполне рассвело. Дорога моя — мимо этого самого торгсина. Смотрю — с наружной стороны амбара у них провал чернеет. Ну, думаю, стена рухнула. Отсырела. Потому как всегда лужа там стоит. И вдруг как хлопнуло по голове. Догадался! Когда шел, навстречу мне арба пронеслась. Да как! Арбакеш нахлестывал камчой, а когда в проулок сворачивал, чуть забор на углу не снес. Ну, я кинулся месить глину за ним. Через тот проулок выскочил на большую улицу. Мост перемахнул и, надо же, не удержался, упал. Прямо в грязь. Глаза залепило, ничего не вижу. А та арба совсем уже тихо тарыхтит где-то. Далеко уже уехала, не догнать...

Ругаю себя: крепче кричать надо было — «Вор!» Пусть бы люди вышли. А теперь, сообразил все-таки, лучше ноги уносить, а то прицепится к подолу беда, не отвертишься. Так оно и вышло... Следователь Гизатуллин, он вел дело, криком брал: «Басмач!» Я ему: «В басмачах не ходил». А Гизатуллин свое: «А стены проламывать, государственный магазин грабить? Басмач ты и есть!» И пришли обвинение: проломил стену амбара в магазине торгсина. Вывез три с половиной тонны муки! У меня глаза на лоб полезли от такой несправедливости. А следователь тычет мне в нос гипсовым слепком: «Твой след?»

«Мой», — говорю.

«Лучше не запирайся. Давай начистоту. Для тебя же полезнее, суд снисходительнее будет».

Хочу сказать: «Я же и так все начистоту говорю: не ломал я стены, не грабил магазина...» Но язык к гор-тани присох, и душит меня что-то. А Гизатуллин стоит себе, посмеивается: «Вижу твое истинное лицо! Басмач!» И что же ты думаешь? Расстрела для меня, никак не меньше, требовал. И обоснование нашел: закон какой-то есть, от седьмого августа тридцать второго года. Суд присудил мне — десять лет лишения свободы. И просидел

бы все десять. На мое счастье настоящие воры случайно выдали себя. А то бы до сего времени кукарекал за решеткой.

— Ну, а ему, этому Гизатуллину, всыпали хоть как следует?

— Где уж! — Джалалхан весь трясся от старой обиды. — Гизатуллин на прежнем месте до сих пор сидит. Собаки и то его сторонятся. Как из тюрьмы вернулся — прямым ходом к нему. Поздоровался как положено и говорю:

«Как же это вы, товарищ Гизатуллин, безвинному расстрела требовали? А если бы меня расстреляли?» — и уставился прямо в его пустые глаза.

«Ошибки могут и у нас быть, говорит. Истина требует жертв. А если ее не искать, не копать как следует, так и не найдешь!»

Вот какой фрукт! Человек по его вине мог жизни лишиться, а ему — ничего! А что копал, этого у него не отнимешь. Под многих безвинных ямы выкопал. Руки у меня сами к горлу его потянулись. На счастье, Наркузи-милиционер вошел. Успел схватить меня за локти.

Так-то вот... До сих пор камень на сердце, вздохнуть как следует мешает. А вот служу же. Воюю. За кого? За дом свой, за семью.

Джалалхан соскочил с повозки, пошел рядом.

— А ты, парень, поразмысли. Если уж умирать, то так, как джигиту положено. А побежишь, как трусливая баба, можешь и пулю в зад заработать. И будет тебе позор. Тебе и всему твоему роду. Об этом подумал?

Марди не сбежал. Наравне со всеми однополчанами делил все тяготы отступления. Стиснув зубы, терпел. Джалалхан не раз видел: вокруг мины рвутся, пули свистят, а Марди, будто глухой, тащит на себе ящик со снарядами. Только высох весь, лицо сморщилось, как кора урючного дерева. А лошадой от пуль бережет. Поставит в какое-нибудь укрытие, а сам тащит тяжеленные ящики через открытое место.

Джалалхан увидел однажды, не выдержал:

— Ты хоть пригибайся, приятель!

Марди ничего не ответил. Только посмотрел, да так тяжело. А как шел обратно мимо его орудия, замедлил шаг.

— Спасибо... — сказал.

За что спасибо? Что посоветовал пригнуться? Или... Может, боялся, что Джалалхан донесет на него за те

слова? Чудак. Если б не верил ему, тогда же взял бы за шворот и прямым ходом в особый отдел.

Отступая, их часть дошла до тихой реки — Нижний Оскол называлась. На восточном берегу полк укреплял новую линию обороны. Батарея должна была перебраться на другой берег. А мост деревянный, старый. Часть орудий переправилась, и тут немецкие самолеты налетели. Спикировали и начали поливать пулеметным огнем переправу. Пушку Джалалхана еще не подвезли к мосту. Что-то случилось впереди, лошади остановились. Сержант Медвидь бегал вокруг, никак не мог найти решения. Вдруг прямо перед их лошадьми появился офицер с поднятой плеткой.

— Назад! Поворачивай живее! — закричал отчаянно и властно.

Сам весь в грязи, даже лицо залеплено глиной. Видно, прыгнул в воронку от бомбы, когда налетели «юнкеры». Его сразу узнали по плетке. Командир батареи старший лейтенант Бодров. Еще в начале войны потерял своего любимца — туркменского коня, а с плетью не расстается.

— Гоните в церковь! — махнул плеткой в сторону белевшей на холме колокольни. И сам схватился за колесо орудия, помогая развернуть.

Пушку втащили в церковь. Разбили сводчатое окно, положили доски, все дружно налегли и закатили орудие.

Только лишь установили, как вдали на дороге появился мотоцикл. Джалалхан тут же показал рукой правильно: «Доворачивай». Подвел было ствол под мотоцикл. Смахнул бы его как муху. Однако сообразил: скорее всего, это разведчик. Стрелять — значит обнаружить засаду.

Мотоцикл исчез в лощине. Через минуту взлетел на пригорок. Приближается. Уже слышен стук мотора, а самого опять не видно — по глубокой канаве едет. Все смотрят на Бодрова, ждут команды. Ведь если с мотоцикла заметят их след, сразу сообщат своим и — пропала засада. Бодров — он стоял у чуть приоткрытой двери — бросился наружу, за ним Медвидь. Джалалхан и весь расчет — замерли. Сейчас должно что-то случиться. Ждать не пришлось: возле церкви взорвалась граната, а через минуту в дверях появился Медвидь. Он часто моргал от волнения. В руках кроме своего карабина держал еще два автомата — немецкие! Трофейные автоматы — без привычного деревянного приклада — переходили

ли из рук в руки. Радость успеха ворвалась в церковь вместе с сержантом. Бойцы расспрашивали:

— А хозяева автоматов?

— Отправили?

— На тот свет! — улыбался Медвидь.

— А старший лейтенант где? — спросил кто-то.

— За реку пошел, на батарею.

— Вот бы... Пока есть время... — слышались голоса.

Но Медвидь осек взглядом говоривших и принялся осматривать «свое хозяйство». Прошелся по церкви, потом спустился в подвал, где стояли лошади. Распорядился перетаскать снаряды в церковь с двухколесного передка.

Сержант Медвидь с первого взгляда, пожалуй, мог и не понравиться: непомерно длинный, лицо тоже вытянутое — «лошадиное». И голос грубый. Но бойцы его расчета знали — их сержант парень надежный, сердечный, зря на подчиненных не кидается. Такой не подведет.

Медвидь полез было по винтовой каменной лестнице — осмотреть колокольню. В это время наблюдатель крикнул сверху:

— Около леса что-то движется! Танк!

Медвидь сбежал вниз. Сунулся к окну и назад:

— К бою!

Расчет занял свои места. Глаза всех прикованы к лесу. Рука Джалалхана на барабанах пушки, глаз прильнул к оптическому прицелу.

Далеко в голубеющей мгле окуляра двигались чуть заметные приземистые коробки. Двигались сюда.

— Один, два, три, четыре... — шепчут губы.

Нет конца танкам. Идут и идут.

Что будет? Орудие у них ведь одно. Такая же мысль беспокоит и сержанта. Медвидь смотрит в приоткрытую дверь.

— Хлопцы, не кручинься! — сказал совсем не уставшим голосом. — Есть люди, которые помнят о нас.

И как бы в ответ на его слова затарахтела телега, и вот уже в дверях показался командир батареи. Полноватое его лицо пылает, а глаза спокойны и серьезны. Следом за ним в церковь вошел связист с катушкой на спине. Протащил в глубь помещения черный провод.

— Сержант! — голос у командира батареи неподходящий — нежный, почти девичий. — Снаряды перетаскайте в церковь, а возчика сейчас же назад. Поскорей.

Будто не приказывает, а просит. Но никто и не подумает послушаться. Бодрова в батарее уважают. Культурный человек. С бойцами справедливый, заботится, совсем не похож на тех, кто берет грубостью. К тому же еще и дело знает, умеет быстро оценить обстановку. За год войны показал себя — мастер вести огонь с закрытых позиций. О нем по всей дивизии знают и в армейских газетах писали. И сегодня: одно орудие здесь, в церкви, поставил, а всю батарею укрыл за рекой. Оттуда она поведет огонь из всех орудий, а Бодров будет направлять их через связиста. Вот он уже пошел наверх, на колокольню — наблюдать за танками. Джалалхан проводил его взглядом: «Удачи тебе, старший лейтенант!»

Сквозь визирную трубку он стал смотреть за движением танков. Они то появлялись, то исчезали за буграми дороги — шли вдоль низкого берега реки.

— Джура, как поживаешь? — знакомый самаркандский говор у самого уха. Марди!

— Сам-то как? Жив-здоров?

После того разговора они еще ни разу не говорили.

— Спасибо, пока живой хожу.

Тяжелый ящик врезался углом в шею Марди. Джалалхан поскорей принял от него ящик, положил в ряд с другими. Что-то бледным показался ему сегодня земляк. Медлил, взялся за колесо орудия — вроде как не хотел уходить, хоть и приказано было торопиться. У Джалалхана полегчало на душе — не копит на него злости приятель. Да и родную речь послушать приятно... Но Марди чуть заметно махнул рукой и пошел к выходу. У двери обернулся:

— Джура, мой адрес: Самаркандская область, кишлак Анжаб. Запомни!

Джалалхан ничего не успел сказать. Колеса телеги Марди уже застучали по дороге.

— Хлопцы! — раскатился предупреждающий голос сержанта.

Все подобрались, ждут приказа. С колокольни доносится мягкий голос Бодрова. Старший лейтенант передает по телефону данные на батарею. А вот и сам он показался на лестнице.

— Наводчик! — к Джалалхану. — В каком месте отчетливее будут видны танки?

— Около дерева, — Джалалхан как бы прорубил ладонью направление на дуб у изгиба дороги.

От церкви до этого дерева самое большое — полкилометра. Удобно бить прямой наводкой. А ближе их уже не увидишь. Начинаются высокие холмы, под их прикрытием танки пройдут берегом к мосту, и путь к отходу будет отрезан.

Старший лейтенант, пригнувшись к плечу Джалалхана, посмотрел в окуляр прицела.

— Первый же танк, как подойдет к твоему дубу... Не жди команды.

— Есть, товарищ старший лейтенант! — отчеканил Джалалхан. Но Бодров уже поднимался на колокольню.

Ближе и ближе колонна вражеских танков. Ныряют в лошину и снова на виду. Теперь видно — идут к мосту. Джалалхан подвел перекрестье прицела к повороту дороги, к основанию дуба. Подвел и ждет появления первого танка в голубоватом поле окуляра. Осталось не больше ста метров.

— Девяносто, восемьдесят... — шепчет он.

Первый танк вдруг остановился. Вспышка выстрела. Снаряд взорвался в стороне. Нет, не в них палит, значит, не обнаружены.

— Слава богу... — сказал кто-то из бойцов.

Однако кто же этот смельчак, что подставляет грудь под снаряды, отвлекает танкистов? И тут все услышали удаляющееся бречание пустой телеги. Марди?..

Танк снова выстрелил. Снаряд взорвался в стороне от переправы. Сразу за взрывом Джалалхан услышал звонкий и даже удамой голос своего «джуры»:

— Но-о, айда, пошли, мои вороны!

Головной танк, меченный белым крестом, медленно наползал. Каракурт! — обозвал его мысленно Джалалхан. Он не видел Марди, но уже знал, что его друг затеял смертельно опасную игру. Танк несколько раз останавливался и стрелял. Видно, фашисты решили повеселиться. А Марди словно издевался над ними. После каждого нового выстрела слышался — уже около моста — его звонкий голос. Слов уже нельзя было разобрать, но это кричал Марди, кричал по-узбекски. С каждым выстрелом падало сердце у Джалалхана. Вот опять танк повел стволом. Бабахнуло и отозвалось повторно на мосту.

— Э-э-эх! — разом вздохнул почти весь расчет. Они все столпились около полуоткрытой двери.

— Достал! На мосту достал он твоего земляка, —

простонал сквозь зубы заряжающий Бойко и сжался весь от ужаса.

«Были мы двое из Узбекистана, — успел подумать Джалалхан. — Прощай, джура!»

— Почему не стреляете?! — крикнул с колокольни Бодров.

— Огонь! — прогремел Медвидь.

Джалалхан, на миг забывший о прицеле, сразу же поймал в перекрестье головной танк, его бок, меченный белым крестом. Рванул на себя шнур курка. Орудие грохнуло и подскочило, и сразу же над танком сверкнула молния.

— Марди! — закричал Джалалхан. Он не хотел верить, что друг его утонул. Может, успел проскочить мост, скрылся с лошадьми в лесу?

Снова приняв к оптическому прицелу. Головной танк горел. Следующий объезжал его по краю дороги. Одним выстрелом Джалалхан остановил и этот. На танке открылся верхний люк, и вместе с дымом оттуда стали вылезать черные фигурки фашистов.

— Марди! — закричал Джалалхан, посылая туда третий снаряд.

Тут и за рекой прокатился залп. Над церковью прошелестели снаряды и с грохотом разорвались в гуще колонны.

— Беглый! — донеслась сверху команда старшего лейтенанта. Он управлял огнем всей батареи.

На дороге, где только что стоял раскидистый дуб, будто кипел огромный казан. Дуб был разбит огнем в щепки. В гуще дыма и пыли, как огромные жуки, ворочались танки. Одни ошалело вертелись на месте, другие, подбитые, водили орудиями, стреляли куда придется. Еще один танк выбрался из лощины на холм, увидел, что творится впереди, стал разворачиваться назад. Медвидь скомандовал:

— Наводчик! По танку на горке, прицел двадцать, заряд полный, огонь!

И на колокольне слышалась команда старшего лейтенанта. Он кричал в трубку:

— Огонь!

Вот загорелся крайний танк, тот, что на холме. Заряжающий Бойко подкинул вверх каску:

— Ур-ра!!

Да, видно, рано обрадовался. В тот же миг стены за-

дрожали. Посыпалась штукатурка. «Засекли», — понял Джалалхан.

Наверху со звоном и грохотом что-то тяжело упало. И будто молотом бухнуло по церкви.

— Колокол! — сказал кто-то.

По винтовой лестнице связист осторожно спускал старшего лейтенанта. Нога Бодрова скользила и срывалась по камням ступеней.

— Колокол упал старшему лейтенанту на ногу, — объяснил связист. Он ждал приказа от Медвидя. Тот теперь за командира.

— Бери старшего лейтенанта на спину и давай потихоньку к переправе. На связи буду сам...

Медвидь, перескакивая ступени, поднялся на колокольню.

Вражеские снаряды все чаще ударяли в стены церкви. Уши бойцов орудийного расчета давно уже заложило. Действовали, как автоматы, будто даже не чувствуя ничего. Джалалхан откидывался назад, рывком дергал шнур курка.

— Откат нормально! — тонко выкрикивал заряжающий Бойко. Острый кадык его при этом подпрыгивал, все жилы на шее вздувались.

Штукатурка с потолка кусками обваливалась на каски солдат. Передняя стена церкви уже как решето — вся в дырах. Джалалхан не прерывал своего дела. Что-то стянуло кожу на щеке. Провел рукой по лицу — кровь. Осколок снаряда или кусочек кирпича задел. Не до того. Боли нет. Он слился со своей пушкой, кажется, сам стал машиной: припал к прицелу, поймал цель, откинулся назад, рывок шнура... И снова — к прицелу.

Вдруг вся эта налаженность пропала. Колесо орудия крутнулось в сторону, одновременно перед глазами вспыхнул огонь. Будто кулаком ударило в грудь, наводчика навзничь бросило на каменный пол. Лежал недолго. Открыл глаза. Стены покачались и остановились. Шевельнул ногой, рукой — целы. Живой. Поднялся и — к пушке. А ее нет на месте — лежит на боку без колеса. Бойцы расчета смотрят на своего наводчика — ждут команды.

— Товарищ сержант! — крикнул он в сторону колокольни.

Ответа нет. Джалалхан перешагнул станину пушки, держась за стену колокольни, стал подниматься по лестнице вверх.

Сержант недвижимо сидел на полу верхней площадки.
— Товарищ сержант... — Джалалхан еле слышал свой голос сквозь шум в ушах.

Медвидь молчал. Каска соскользнула на серое, еще теплое лицо. Поправив ее, подержав остывающую руку сержанта, Джалалхан поднял с пола трубку. В ней ни звука — связь порвана.

Сильный взрыв потряхнул колокольню.

— Младший сержант! — тревожно крикнул снизу Бойко.

С нижних ступеней сквозь дым в последний раз увидел свою пушку. Без колеса, она лежала на боку, как раненый солдат, опершийся на одну руку. Посмотрел на нее и будто услышал упрек: «Иди, иди...»

Бойко отчаянно махал рукой. Звал к окну:

— Младший сержант, немцы... Смотри сколько...

— Все ясно. Идите к переправе. Через заднюю дверь. Я догоню.

Оставшись один, Джалалхан вынул из пушки затвор — как учил его когда-то Медвидь. Снял с себя ремень и, обвязав затвор, перекинул через плечо. Пробежав церковный двор, остановился за сараем. Впереди было открытое выпуклое место, а дальше — дорога, по которой Марди гнал к мосту своих лошадей. Вдоль нее — канава. Хорошая, глубокая. Артиллеристы все уже были там, махали ему руками.

Канавы манила, ее надо было достичь, и Джалалхан побежал. Не слыша пения пуль, с небывалой прытью несясь он по открытому месту и наконец свалился в канаву, прямо на своего заряжающего Бойко.

VII

Сайлихан вышла за ворота. Утренний туман еще лежал на улице, не успел истаять. И все же она, как всегда, прежде всего разглядела верхушку чинары, и, как всегда, это могучее дерево как бы сказало ей: «Не вешай голову, все будет в порядке». Оно надежно держится толстыми переплетенными корнями за землю — за ее родную землю, и от дерева передавались ей покой и уверенность. Фашистские захватчики будут разбиты, и ее Джалалхан вернется домой...

А жизнь идет своим чередом. Над крышами поднимаются струйки дыма, скрипит под ногами людей снег. Заскулила собака за глинобитным дувалом. С большой

дороги доносится цокот копыт, стучат обитые железом колеса. Навстречу Сайли и перегоняя ее спешат ранние пешеходы. Одни — на работу, другие — на базар. . . С жалобным пением открылась чья-то калитка. Сайли ускорила шаг.

— Эй, дочка, — окликнул ее из ворот аксакал. — У вас в плетенке не лепешки?

— Нет, ата, веретена, — ответила вежливо.

Корзинка увесистая. Сайлихан меняет руки — то в левой несет, то в правой. Свободной рукой потрет деревенеющие от мороза щеки и сует ее под мышку. Холод лютый. Прошла мимо мечети Мехтар. «Дом дехкан» — это имя прочно прилипло к мечети за годы Советской власти. Здесь обосновалось учреждение по делам дехкан. И колхозники шли сюда со своими жалобами и заявлениями.

На углу Сайлихан остановилась передохнуть. Поставила плетенку на снег. В корзине веретена, что успела намотать за ночь. Не первую ночь она так — уложит детей, а сама скручивает шелковые нити на прялке, а потом мотает на камышину — до вторых петухов. Принесет готовые веретена в цех и целый день, согнувшись над старинным станком, готовит основу для атласа. Теперь многие работницы так: забирают на ночь катушки домой. А что делать? Рабочих рук не хватает — война.

Туман рассеялся. Посмотрела вправо. Величая чинара распростерла над замерзшим прудом голые ветви. Под нею — широкий деревянный топчан — сурн. Занесен снегом. Пустует. А до войны даже в самые холодные дни собирались здесь джигиты всех возрастов. Отсюда однажды тенью скользнул за нею Джалалхан. У белого тополя окликнул ее по имени. На всю жизнь остался этот зов в ее ушах.

Сайлихан вздохнула. Белого тополя больше нет. Задох вдруг летом, в самую жару. Плохой знак. В последнее время она все принимает близко к сердцу. Хотя при чем тут дерево? Оно свой век живет. Подъест корень жучок, налетит ураган. . .

Сегодня она вышла из дома со светлой душой. Вчера пришло письмо от Джалалхана. Пишет, что воевал под Сталинградом. Это он вместе с другими бойцами зажал в железное кольцо немецких и итальянских фашистов. Правда, он написал скромнее — участвовал. . . В самом конце письма, между прочим, упомянул, что командование наградило его орденом Отечественной войны I сте-

пени. Она расплакалась. А дети от радости так разбушевались — все перевернули вверх дном. На ее взгляд — никакой награды не нужно, лишь бы живой остался, вернулся здоровым домой. Сердце ее дрожит, как тополиный лист. Ведь каждый день где-нибудь слышится плач жены или матери, то в одной махалле, то в другой.

Перешла на противоположную сторону. Подруги-работницы начали догонять ее. Кто с торбой, кто с корзиной или ведром. Все они тоже мотали ночью веретена. А вот и мастерица Карамат — наволочку, набитую веретенами, она несет на голове. Узел тяжеленный, а она ступает как в танце. И рот — до ушей.

— От сынов письма пришли, — сообщила, едва увидела Сайлихан. — От обоих в один день!

Женщины окружили ее. Всем радостно. Смеются, шутят, загородили всю дорогу.

— Пошт-пошт! — предупредая, крикнул им дед-дехканин. Везет на базар в старой телеге саман. А сзади — другой возок, нагруженный гузапаей¹. Едут, а больше идут старики дехкане. С хурджинами на плечах, с мешками за спиной. Кто в шапке, кто в чалме. На базар спешат. Всех гонит нужда.

А вот и «Ривожия». Сайлихан всегда с радостью подходит к этим воротам. Работу, конечно, легкой не назовешь. Но вместе с грохотом станков здесь всегда слышен смех работниц. Правда, с войной их цех все же притих. Но молодость берет свое. А молодых у них полно. И работницы постарше заражаются их весельем, бывает, до слез смеются шуткам, отводят душу. Девушки, едва войдут во двор, начинают обниматься, соскучились за ночь. Ох уж эта молодежь!

А вообще-то все они крепче сдружились за войну. Ведь у всех теперь на сердце одна и та же печаль. У одной отец на фронте, у другой — муж, у третьей — любимый. Встретятся — хоть посмотреть друг на дружку — и то на душе легче.

Сайлихан высматривает сестру. Что-то ее нет. Не заболел ли отец? Человек старый, со здоровьем не очень... А вдруг?.. Какие только мысли не приходят в голову! Даже не расслышала, что сказала приемщица, когда высыпала ей свои веретена. Спешит в цех, как будто там кто-нибудь ее ждет. А ведь ждал когда-то. Было, было

¹ Гузапая — сухие стебли хлопчатника.

время, ждал. Стоило поднять от станка глаза — тут же встретится с миндалевидными глазами помощника начальника мастерской по технике. Щеголеватый парень Джалалхан сначала смотрел на нее исподтишка, а потом осмелел. Кажется, вообще только и делал, что глядел на нее. Эти горящие глаза преследовали ее и на улице, и дома. Однажды она шла домой после работы и заметила — помощник начальника идет за нею следом. Возмутилась, решила проучить. Спряталась на повороте за деревом. Когда он поравнялся с нею, сказала, вроде с издевкой:

— Поздравляю с новой должностью!

Знала, что он из трактористов перешел в «Ривожию», как казалось ей, на более легкую работу.

Джалалхан покраснел, даже шея стала красной. И молчит, как будто язык отнялся. А сам не уходит, стоит около нее.

— Нехорошо поступаете. Хотите, чтоб про меня сплетни пошли? Бросьте эти привычки! — отчитала его.

— Вы правы, Сайлихан, в последнее время на улицах стало больше плохих людей.

— Конечно. Много таких, что больше любят не ногами ходить, а языком прохаживаться насчет других.

— Вот я и хожу, чтоб таких по губам! — Джалалхан сжал свой огромный кулак.

— Деверь, не стоит лезть в чужие дела.

— Были вы мне невесткой, когда жив был Джурапалван. И сейчас не чужая. . .

Так сказал он, и она в первый раз вдруг призналась себе — да, он не был чужим ей. И тогда, да и сейчас. . . Ей стало даже зябко от такой мысли. При жизни ее первого мужа Джалалхан бывал у них в доме частым гостем. Нередко и после работы приходили вместе — оба тогда были трактористами. Впереди идет Джурапалван, могучий, будто ореховый кряж. В тени его Джалалхан казался подростком — тоненький такой и голос ласковый, мягкий. Скажет, бывало, запросто: «Невестка, найдется у вас что поесть? А то живот совсем тонким стал, как кожура лука». Кажется, что особенного сказал? — а кругом сразу стало светлее. Ближе по возрасту был он к ней, оттого, может быть, они не стеснялись.

А вот Джурапалвана, с которым клала голову на одну подушку, все же немного побаивалась. Хоть и добрый был к ней, и руку на нее ни разу не поднял, никогда такого не бывало. Рука такая — сразу бы убил. . . Не знает, как уцелела в ту ночь, когда скрутил по ногам, по

рукам. Чуть не задохнулась. Перекинул, как овцу, через хребтину лошади и умчал в горы. Так до конца и смотрела с опаской, когда приближался к ней. Шагал так, что земля тряслась. И все больше молчал. Как бы ни был голоден — не скажет, не попросит. И не требовалось. Она сама спешила навстречу с полотенцем на руке и с кумганом, полным воды.

А потом, как не стало его, горевала очень...

Все это вмиг пронеслось тогда в голове Сайлихан. А Джалалхан говорил тем временем:

— Очень я уважал вас. И, по правде, завидовал Джуре-палвану. Ну и радовался, конечно, за него. Друг же был он мне и человек, каких мало. Век его оказался коротким, пусть земля будет ему пухом! — И тут Джалалхан посуровел и сказал с угрозой: — Только больше не будет, чтобы этот франт-порум снова в вас запустил когти. Уж я ему устрою... Или себе... — он резко провел ребром ладони поперек горла. — Один раз дал маху и крепко поплатился за это, скажу вам...

Такой уж он был, Джалалхан. Сайлихан задумчиво смотрела на стальные пружины, которые удерживали валики с основой в нужном положении. Это он, Джалалхан, постарался облегчить труд ей и, конечно, всем ткачихам. Раньше, чтобы основа оставалась натянутой, приходилось навешивать огромный камень.

Когда Джалалхан поступил к ним в артель, она работала на ручном станке расправки. Ошди-кушди — так называли этот станок. Помощник по технике повадился подходить к ней. Стоит и молчит подолгу. Однажды она выбрала момент, когда около них никого не было, и отчитала его: «Не стыдно вам? Что могут подумать люди?» Джалалхан хоть и решительный парень, а смутить его легко. Покраснел. «Не думайте, я ведь смотрю, как вы работаете, и голову ломаю. Все думаю, как бы механизировать этот станок». Она решила тогда — отговорка. А оказалось, правду говорил. Поняла это в первое же утро, как стала его женой. Вел он ее через двор. Заметила — дверь сарая была открыта. А там — огромная металлическая прялка и много каких-то штукovní, тоже из железа. Вспомнила сразу тот разговор, и все ясно стало. Не успел Джалалхан довести до конца свой замысел... Во вчерашнем письме интересовался: целы ли его детали? Все на месте. Она свято хранит их. Вернется с фронта, сделает свой механический станок.

Иной раз, когда Сайли хлопчет по дому, ей кажется, что Джалалхан там, в сарае, постукивает и думает над своим станком.

Сайлихан погладила стальную пружину. Руки ее мужа поставили пружину сюда. Хоть бы, на ее счастье, живым-здоровым вернулся...

Жужжат, мерно щелкают станки. Руки работниц снуют беспрерывно, все на своих местах. А Саттихан до сих пор нет! Нелюдимая какая-то стала она. Слово из нее клещами не вытащишь. Придет и сразу к станку. Кончит работу — глядь, а ее уже нет, исчезла. Почему сегодня опаздывает? Сайлихан пропускает шелковую нить через гребень станка, подгоняет узор на ткани, а сама то и дело тревожно поглядывает в окно. Соединяет обрывы. Сбрызгивая водой изо рта, наматывает готовую основу на валик. Потом обернет куском картона и откладывает валик в сторону, к уже готовым. Руки привыкли, знают свое дело. А мысли все — о сестре. Работа между тем трудная. Раньше весь этот процесс делили между шестью работниками, и все были мужчины. Расправка в шелкоткачестве вообще считалась мужским делом. Теперь работу шестерых мужчин выполняют две женщины. А сегодня у станка она одна...

В обеденный перерыв поняла, почему не пришла на работу сестра. Стояла в очереди за похлебкой, которую черпали из большого казана и разливали по мискам. Сзади Сайлихан стояли два аврбандшика — художники по атласу. Их разговор сразу насторожил ее.

— Вы ходили к уста Ташпулату на молитву? — спросил один.

— Что-нибудь случилось у мастера?

— Ничего не слышали?

Сайлихан напряглась, прислушиваясь. Ташпулат-ака — друг их отца, очень близкий к их семье человек.

— ...На сына пришла похоронка...

Сайлихан так и замерла. Сын! Миралим!

— О аллах!.. — стоящий сзади нее мастер зашептал слова молитвы.

Бедный Миралим! Такой нежный, стеснительный, совсем как девушка...

Похлебка сегодня не шла ей в горло. До самого вечера только и думала о Миралиме да об его отце Ташпулате-ака. Как несчастный перенесет такое горе? За последнее время и без того сильно сдал.

Она знала: уста Умар и уста Ташпулат мало того что дружили — мечтали, как бы им еще и породниться. И когда родилась Саттихан, очень оба обрадовались — начинает сбываться их мечта! Заставили маленького Миралима прикусить ушко новорожденной. Обычай древний — мальчик, став в будущем взрослым, обязан был жениться на этой девочке. Дети подросли. И очень сдружились, особенно когда оба стали работать в «Ривожии». Возможно, и созвездия их подходили друг к другу. Не зря так горько плакала сестричка, когда ушел ее дружок на фронт. Потом этот появился... «Султан среди джигитов»... Закружил ей голову...

Сайлихан шла домой, в одной руке кастрюля с хлебкой, в другой — плетенка с катушками и веретенами-камышинками. Всю дорогу только и думала о Миралиме и Саттихан, о несчастном уста Ташпулате.

Кто-то окликнул ее. Она вздрогнула. И было отчего — дорогу преградил Махамадшер. Одет, как и десять лет назад. Кожаная фуражка, на плечах кожанка, а под нею видна военного покроя гимнастерка. Галифе приспустил на сапоги, ноги широко расставил. Словно говорил: «Вот он, я. Каким был, таким и остался».

Сайлихан хотела пройти мимо — до дома было уже недалеко.

— Не изволите даже обернуться! — Он резко схватил ее за руку. Похлебка выплеснулась из кастрюли прямо на начищенные сапоги Махамад-порума.

— Это твой ответ? — прищурил глаза. — Смотри, пожалеешь! Еще хуже будешь жить, чем сейчас.

— Живу, как все.

Пальцы без ногтей, словно клещи, стиснули ее запястье. Стащил с ее головы платок, потянул за мочку уха.

— Где?! — хрипел, посинев от ярости.

Не могла шевельнуться, онемела от страха.

— О чем вы? — прошептала.

— О чем? О том, что надел тебе на шею, на пальцы, чем украсил твои руки, уши, когда сидели с тобой за свадебным пологом. Жемчуг, золотые кольца, браслеты! Разве не приказал тебе хранить? Или, может, когда, забыв честь, ушла к другому, продала все? Отвечай! — шипел, приблизив к ее глазам свои вытарашенные, как у суца, все в точках, в пестринах, глаза.

Корзинка упала на землю, но кастрюлю с остатками

похлебки она крепко держала в руке. Сайлихан громко, как смогла, закричала:

— Помогите! Люди!

Неподалеку скрипнула створка ворот. Через мгновение кто-то маленький прилип к ее ногам.

— Тетя Соня! — это Настя первой подросла на помощь.

В тот же миг снежный ком сбил кожаную фуражку с головы злого человека, — вступился за мать Ганишер. Увидел, что маму обижает какой-то незнакомый чужак, и решил хорошенько его проучить. Запустил в голову обидчика еще ком. Пока Махамадшер поднимал свою фуражку, Сайлихан с Настей вбежали в ворота, а Ганишер набросил крючок.

— Гляди-ка, ведь это порум! — сказал кто-то из соседей.

Махамадшер поскорей отступил в темноту. Там оставился, изучал ворота. Думал — как бы половчей вломиться. Но люди выходили на улицу — еще и еще. Упустил момент, соседи узнали его. Поднимут шум, не оберешься неприятностей. Но не пустяк ведь — потерять такую добычу. Драгоценных украшений этих ведь хватит наполнить целиком всю чашку весов. В тюрьме еще мечтал: «На свободу выйду, с их помощью поднимусь снова во весь рост!» И надо же, эта неверная с длинными волосами и коротким умом, которая язык свой тогда выпустила, из-за которой столько лет промучился, — взяла и вышла за собаку! Только ради этих драгоценностей и к отцу ее ходил, кланялся. Только из-за них и ее готов был взять обратно. А уж язык ее длинный сумел бы укоротить. В нынешнее время что такое бумажные деньги? Никакой у них нет цены. Очень важно — вернуть себе то золото. И Давлатов готов взять в компаньоны. Да такой разве примет с пустыми руками. Кругленькая нужна сумма. Без золота застрять можно надолго в собственном навозе...

VIII

А Сайлихан как вошла в дом, так у порога и села на корточках. Дети мотыльками носятся вокруг. Ганишер подает ковш с водой, Настя вытирает ей влажным платочком глаза, щеки и лоб.

— Черная Борода напугал вас? — заглядывает тете Соне в лицо.

Напряженно свела белесые бровки, синие глаза серьезные. Черной Бородой пугают детей, и им кажется, что страшнее нет ничего во всем Маргелане. Но, между прочим, это не выдуманное пугало — есть такой человек в городе. Чаще всего он слоняется по базару. Густые волосы переходят в бороду, закрывают все лицо. Сквозь их заросли поблескивают внимательные глаза. Черный-пречерный этот тип пускает сквозь свою шерсть вонючий дым — подмешивает в махорку анашу или еще что-нибудь такое. На плечах болтается солдатская шинель. Хлястик ее словно хвост висит на латунной пуговице. А сам — как дышло. Ноги в армейских обмотках, ботинки развалились. В чем вернулся из армии, в том и ходит. Про него говорят: «С ума сошел на войне». Но не все в это верят. До войны был он аптекарем. И сейчас, говорят, этот сумасшедший промышляет лекарством с большим барышом. Продает на черном рынке венерическим больным стрептоцид и прочие дефицитные средства. А с виду — настоящий безумец. Стоит себе на базаре, стоит и вдруг ни с того ни с сего как заорет в уши мимо проходящему человеку: «Хо-ой!» Тот так и подпрыгнет от неожиданности.

— Черная Борода напугал? — беспокоится Настя. — Ну скажите, Черная Борода?

Сайлихан покачала головой, притянула к себе маленьких защитников. Нет, напугал ее другой. Этот будет пострашней Черной Бороды.

Проснулся Яша. Встал, потягиваясь, на своей постельке возле сандала и зашагал вперевалочку к Сайлихан. Взобрался на колени, сунул руку ей за воротник. Хоть и не сосал давно грудь, а удивительно — не забыл! Природой положено.

Сайлихан тихонько отстранила детей, поднялась. Бросила взгляд через окно на ворота.

— Никто не войдет, не бойтесь! — уверенно сказал маленький хозяин.

Мать погладила сына по голове. Какое счастье, что есть у нее они, эта детвора. Еще раз посмотрела на них, и душа успокоилась.

Пошла к очагу. Настя забежала вперед:

— Я сама! А вы, тетя Соня, отдохните.

Вот какая большая стала. Она и в самом деле почти всю домашнюю работу взяла на себя.

Дети есть дети. Опасная встреча на улице вмиг забыта. Поужинали. Горячая еда разморила. И вот уже

раскинулись у сандала и спят. Сайлихан потушила свет, легла. Но глаза открыты, вся напряжена. Чуть где стукнет, прошелестит что-то, она уже вскидывает голову, вглядывается в окно. Успокаивает себя — соседи кругом, не посмеет. И опять настороженно прислушивается, поглядывает на дверь, на окно.

«Провались они, эти украшения!» Сайлихан покосилась в сторону ниши. Там стоит большой сундук. На дне его, в углу, шкатулка. Когда открывала в последний раз? Теперь не до колец, не до жемчугов. Как проводила Джалалхана, сразу же сняла и кольца, и серьги, и браслеты. Вот тогда и открывала в последний раз шкатулку.

С этими драгоценностями одна только мука. Заботы, попреки, тяжелые воспоминания.

«Невестка, это ваши?» — до сих пор звучит в ушах голос милиционера Эсанбаева. Он сопровождал следователя Гизатуллина, когда пришли делать обыск в доме Махамадшера.

А началось все с двух лепешек, которые она купила на базаре.

Тогда родился Ганишер, как сейчас помнит. Первый и последний сын Махамадшера. Малыш кричал, беспокоился, метался — люлька ходуном ходила. Распеленала — все тельце в красной сыпи. Страшно смотреть — сопрело! Растерялась, не знала, что делать. И тут вошла Карамат-ая, соседка. Невысокий плетень разделял их дворы.

— Ай, невестка! Замучила бедняжку. Надо было, как только родился наш богатырь Ганишер, искупать в подсоленной воде. Но и теперь не поздно.

Сайлихан поскорей набрала горячей воды из самовара, разбавила холодной, захватила из кухни соль. Карамат-ая засучила рукава, взяла младенца на руки и, ласково пропев: «Бисмилла», — опустила его в подсоленную воду. Ну и визг поднял «богатырь» Ганишер! «Кричи, кричи, легкие крепче будут», — приговаривала соседка, еще и еще окуная его.

Пока Сайлихан, обернув белой простыней, осторожно промокала тельце ребенка, мастерица Карамат достала из очага ком красной глины, мелко растолкла, растерла в пальцах и этим порошком присыпала младенцу сопревшие места.

— Раза два еще так сделаете, и станет ваш Ганишер беленьким.

Замечательная женщина Карамат-ая! Сайлихан запеленала сына и стала кормить грудью. Вот тогда-то и спросила ее соседка:

— Муж видел вас на базаре. Что там делали, дорогая?

— А разве нельзя? — удивилась такому вопросу.

— Конечно, конечно. Просто он увидел, вы держали в руках две белые лепешки. И удивился. Ведь пшеницу еще даже не обмолотили. Так что на мельницу рано еще везти. Самое малое — месяц еще ждать нового хлеба.

Сайлихан поразилась. От Наркузи-ака не скроешься. Он, этот Эсамбаев, обо всем догадается. А она-то ничего не подумала. Ведь и правда, лепешки были не ячменные — белоснежные, пышные, из лучшей пшеничной муки. Однако что тут особенного?

— Чему удивляться? На базаре все что угодно есть, кроме человеческой души, — улыбнулась в ответ на слова соседки. — Отцу нездоровится, собралась навестить. Вот и завернула на базар. Не пойдешь же с пустыми руками. А там, ая, чего только нет. Базар — он и есть базар. И кишмиш, и орехи, джида, урюк. Сухие фрукты на своих рядах, а свежие отдельно, на своих. Слава богу, кончился голод. Лето радости началось. Вай, что я стою! У нас же шелковица поспела, ая! — она вскочила, собираясь набрать ягод для соседки.

Мастерица Карамат потянула за подол:

— Не стоит, голубушка. И у нас поспела. Вся-то разница, что у вас белые ягоды, а у нас черные. — Залюбовалась ветками, поникшими под тяжестью желтоватых сочных ягод. — Аллах дал, дожили, теперь не умрем. Пусть никогда не повторится нынешняя зима!

Сайлихан все же решила набрать белых ягод для гостыи. С тарелкой в руках сошла с айвана и услышала голос мужа. С кем-то прощался возле ворот.

Мастерица Карамат перевернула пиалу, быстро прочитала молитву. Она знала — порум не одобряет ее визитов к своей жене.

— Уберусь-ка с глаз, чтоб не быть колючкой между вами, — вроде пошутила на ходу.

Махамадшер поставил ногу на супу, обтирал тряпкой сапоги. Через плечо бросил жене:

— Зачастила сюда твоя соседка. С чего бы это?

— Ганишер плакал, пришла помочь. Она все умеет — и лечить ребенка может. Ая много добра делает людям. И что вы все против нее?

Говорила, идя за мужем. Подала полотенце.

— Не понимаешь ты многого. Люди еще не оправились от голода, запомни, — наставлял, вытирая руки. Поднялись на айван. — Время такое, никому не доверяй, даже родичам — и то не все выкладывай. Правильно говорю, Ганишер? — наклонился над люлькой, где, успокоившись, спал младенец. — Вот хотя бы твоя добрая соседка. Улыбается, а сама ведь так и зыркает глазами. Вот, мол, как у них. Всего вдоволь, одеты, сыты. Не то что у нас, хоть муж и милиционер. Не заметишь, как змея вползет в твою душу и запишет, что ей нужно, в черную тетрадь.

— Вай, что говорит этот человек! Ая же неграмотная!

— Зато муж ее Эсанбаев слишком даже грамотный. Запомни, в нашей махалле один кляузник — Эсанбаев. Поняла?

Нет, ничего не поняла Сайлихан. И что это муж не любит соседей? А для нее наоборот: стоит мастерице Карамат переступить ее порог — и кажется, солнце вместе с нею в дом входит. Открытая она душа, добрая. Вот ушла — и пасмурно стало. Вместо веселого голоса в доме унылая тишина.

В пятницу с разрешения мужа Сайлихан ходила навестить отца. Свекор одобрил, благословил на дорогу.

— Угодное аллаху дело, невестка. Идите, передайте свату мое благословение.

Отец, к радости дочерей, уже встал с постели. Она положила на середину дастархана подарки. Сели пить чай. Отец, как святыню, поднял в руке лепешку.

— Это ты испекла, дочка?

Она объяснила, что лепешки с базара.

— Смотри-ка, лепешки из крупчатки! Она же на вес золота ценится. Это, дочка, знак сытой жизни! — изнуренное болезнью лицо лучисто сморщилось в улыбке.

Сайлихан очень обрадовала улыбка отца. После смерти матери он редко улыбался. Однако что значит «на вес золота»?

За несколько дней до того она зашла на базар. Перед ней ясно встало то утро: вот она стоит у фруктового ряда, набирает всего понемногу. Еще подумала: какие умельцы — до сего времени сохранили яблоки, гранаты. В это время сзади кто-то тихо сказал: «Хлеба не нужно,

янга¹?» Обернулась. У обвалившегося базарного дувала стоял подросток. Он оглянулся по сторонам, вытащил из припрятанного за дувалом мешочка две лепешки. Когда собралась к отцу, по дороге зашла на базар и уже прямо направилась к тому самому месту. Тот же подросток стоял, навалившись на угол дувала, караулил подходящего покупателя. На этот раз он, взглянув на Сайли, скрылся в первой двери дома, что стоял за дувалом. Оттуда и вынес ей хлеб.

Она даже и не подумала тогда, из какой муки тот хлеб. Только теперь обратила внимание, сами вспомнились слова отца: «из крупчатки», «на вес золота». И Карамат-ая спрашивает. Неспроста Наркузи-ага углядел эти лепешки. Что тут кроется?

Когда муж ушел, решила на всякий случай зайти к соседке. Взяла на руки Ганишера и пошла с мальчиком, вроде как к «знахарке». Мастерница Карамат опять присыпала подопревшие места глиняным порошком и успокоила:

— Все хорошо зажило. Садитесь, соседка, посидите. Они разговаривали на айване.

— Я и сегодня была на базаре. Ваш муж случайно не видел меня? — спросила вроде бы невзначай.

— Нет, нет, наверняка не видел, — ответил голос из внутренней комнаты.

Сайлихан прикусила губу.

— Сам, — прошептала хозяйка. — Он после ночного дежурства лег поспать.

— Невестка! — опять окликнул Сайли Эсанбаев из соседней комнаты. — А вы, случайно, того продавца лепешек не знаете?

— Арестовать хотите?

— Ну зачем же! Просто узнали ту похищенную крупчатку, вот и думаем: может, тракторист...

Сайлихан быстро взглянула на застекленную дверь, из-за которой расспрашивал ее Наркузи-ака.

— Какой тракторист?

— Джалалхан. Его же арестовали по этому самому делу.

— Джалалхан? Живой?..

— Пока живой.

— А могут за такое и расстрелять?

¹ Янга — жена старшего брата. Уважительное обращение к женщине, старшей по возрасту.

— Как посмотрит суд. . .

Сайлихан оцепенела на миг. Значит, это правда. Джалалхана посадили. Она слышала — Махамадшер рассказывал домулле о проломе в стене торгсиновского амбара, что муки сколько-то мешков украли и что во всем обвинили тракториста. Значит, это Джалалхан, друг Джуры-палвана? Нет, не может он быть вором. Такой добрый, правдивый. А поет как. Затянет, бывало, негромко и тоненько так. . . Будто по секрету говорит кому-то, чтоб понял его печаль.

— Бедняжка. . .

Кому посочувствовала мастерица Карамат? То ли Джалалхану, то ли ей, Сайли?

— Нет, он не крал, — сказала Сайлихан.

— А вы почему знаете? — из окна, выходящего на айван, выглянуло лицо с лошадиными скулами. Вид у Эсанбаева грозный: брови сведены, морщины пучками собраны на лбу — такой он всегда. Наставил острые глаза на гостью.

Она потупилась. Хоть и заикаясь, но повторила:

— Не вор. Честный человек. Знала его, был другом покойного Джуры-палвана.

Эсанбаев усмехнулся.

— Я-то, может, вас и пойму. Однако, — он еще тверже свел густые брови, — друг он или нет Джуры-палвана, для суда это не доказательство. Факты нужны, факты!

Сайлихан сникла. Смотрит на сынишку, как он дрыгает ножками. А видит что-то другое. Вдруг подняла глаза:

— Вы считаете, те лепешки из ворованной муки?

Эсанбаев поощрительно взглянул на молодую женщину, будто говоря: «Браво вашему уму!»

— Так почему-то подумалось. Пока это предположение. Вот если найдем муку, проверим. . .

— И тогда его отпустят? — Сайлихан так и подалась вся к окну, где стоял Эсанбаев.

— Э, невестка, — милиционер усмехнулся. — Не то сейчас время, чтобы невинного за решеткой держать. Кто тот продавец?

— Откуда мне знать? Но узнать — узнаю, если увижу. Да, вспомнила. Там за углом дувала узкая улочка. Первая дверь — оттуда он вынес. Дом почти весь обвит виноградом.

Лицо с длинными скулами пропало в окне. Немного погодя Эсанбаев вышел на айван в своей синей милицейской форме. Высокий, ростом с мечеть. Зашагал со двора. В воротах обернулся:

— Невестка, пусть наш разговор останется между нами. Домашним своим не передавайте, так будет лучше. Сайлихан кивнула послушно.

IX

Дома уложила сына в люльку, занялась домашними делами. На душе почему-то было беспокойно. Руки опускались, дела стояли. Не давала покоя мысль: так ли она поступила? И что бы ни делала: готовила ли обед свекру, пеленки ли стирала — все поглядывала на ворота, будто чего-то ждала.

Скрипнули ворота. Шаги. . . Неслышные, только скрип хромовых сапог выдает. Это муж. Вышел из крытого прохода во двор. Сайлихан опустила лицо к работе, а глаза — на мужа, не сводит. Вид у него важный, как всегда. Остановился посреди двора, левой рукой уперся в бок. Расстегнул верхнюю пуговицу коломьянкового кителя. Достал из кармана отутюженный ею платок, вытер лоб, шею. Сайлихан подошла к нему. Приняла белую, по сезону, фуражку. Папку тоже отдал. Все как обычно. Сайлихан успокоилась.

Все началось со следующего вечера. Махамадшер долго не приходил с работы. Явился ночью. Домулла сидел в гостиной, ждал. Сын, не раздеваясь, сразу же пошел туда. Все движения были как не его. И шаг не уверенный, не вчерашний. И в кресло не сел — повалился. В окна с айвана она видела все. Он сидел напротив отца, и лицо было белое, как стена.

Отец и сын долго о чем-то шептались. Ужин она подала туда. . .

Так и задремала у люльки. Разбудил кашель свекра. Муж уже лежал в постели. Выглянула во двор — светает. Хотела было прилечь рядом — душа не позволила. Умылась и принялась хлопотать. Подмела, полила двор. Поставила самовар. Приготовила завтрак. Работать — только начни, в доме всегда дело найдется. Крутишься, бегаешь, а конца — не видать. Все, кажется, переделала, а тут Ганишер обмарался. . .

Около полудня забежала мастерица Карамат. Удивительная женщина. Хоть и вырастила, считай, пятерых

детей, а посмотреть — молодуха. Маленькая, стройная и всегда веселая, быстрая. . .

Не успели женщины расположиться на курпаче, гостья нетерпеливо спросила:

— Слышали?

— О чем? — забеспокоилась Сайлихан.

— Ничего не знаете еще?

Сайлихан развела руки.

— Черного Уврайима захватили с поличным! — зашептала в ухо старшая.

— Вот как! — спокойно отреагировала младшая. Видно было, что имя ничего ей не сказало. И слова такого она не знала — «поличное». . .

— Вай, посмотрите на эту невестку! — засмеялась Карамат-ая. — Не знает, кто такой Черный Уврайим! Он же на весь Маргелан прославился, картежник! К вам, между прочим, частенько заезжает на своей арбе.

Сайлихан мгновенно вспомнила — заросший весь, черный-пречерный мужик. . . Он еще таскал перед свадьбой в дом мешки с мукой.

— Тот арбакеш? . .

— А кто же еще? Говорят, коня с арбой выиграл в Асакинской чайхане в карты.

— Правда?

— Он такой! То в арбе куда-нибудь едет, а назавтра, глядишь, он уже пешком. Когда выигрывает — душа нарасташку. А уж если проигрывает — берегись! Несчастливая жена у этого Черного Уврайима. Слух был, что проиграл он ее в карты.

— Аллах! И правда, лучше пусть в тюрьме сидит. Чтоб он сгинул, такой! . .

— Спасибо вам, очень вы помогли.

— Чем же это? — растерялась Сайлихан.

— Ох уж эти мне простушки! — похлопала ее по колену гостья. — А дверь, которую вы указали? Эсанбаев как открыл ее, а там хлебопек как раз вынимает из тандыра горячие лепешки. Засуетился — садитесь, отведайте. Только Эсанбаев не из таких, и не притронулся даже. Погнал его с сыном в кладовую. А там два мешка муки! Один наполовину пустой, а другой — доверху. Взвалил на спину хлебопеку с сыном мешки, себе под руку корзинку с лепешками и погнал их обоих перед собой в отделение. Хлебопек перетрусил, тут же выложил, у кого муку покупал.

— У кого же? — быстро спросила Сайлихан.

— У арбакеша вашего мужа.

Только что задыхалась от жары, а тут в озноб бросило. Спросила:

— Значит, торгснновский амбар обокрал Черный Ув-райим?

— А кто же еще? Задержали голубчика под Палосаном. Услышал, что хлебопека схватили, и наутек. Эсанбаев говорит, еще целую компанию раскрыли. . .

Вот какие новости преподнесла ей соседка. Сайлихан еле в себя пришла.

— Чуяло мое сердце!

— О чем вы, голубушка? — поинтересовалась мастерица Карамат.

— Говорила же вашему мужу — Джалалхан не вор. Очень жалко было его. Теперь отпустят?

— Эсанбаев не терпит несправедливости. Как бы трудно ни было, всегда докопается. Говорит, волосы у него дыбом становятся, когда несправедливость. — Карамат сказала это с гордостью. — Так что будь уверена, разберется. Только парня отослали уже по этапу. . .

— По этапу? — прошептала Сайлихан непонятное и потому особенно страшное слово.

— Ничего. Вынесут приговор настоящим жуликам, а дело того парня пересмотрят. Муж говорит, вернется он.

Дома Сайлихан помолилась за Эсанбаева. Ей он представлялся чуть ли не главным судьей.

Махамадшер вернулся домой, как и вчера, поздно. Очень был бледный, настроение подавленное. Сайфитдинмахсум в это время творил молитву-заклинание над внуком. Уже подул на него, но еще не встал.

— И вам нездоровится, сынок? — заботливо спросил у вошедшего сына.

Махамадшер рассеянно посмотрел на отца, потер рукой лоб.

— Что вы сказали, отец? — Он все так же, словно не видя, посмотрел по сторонам и остановил вдруг взгляд на шкатулке с драгоценностями. Она стояла на лепной полочке, сделанной в нише, где была уложена пестрая стопа курпачей.

— Нездоровится вам, говорю?

— Не-ет. . . — Махамадшер повернулся к отцу: — Все те же заботы. Роят. . . Проверяют. . . Следовательно к себе приглашал. Когда схватили того Джалала, он быстро провернул следствие. А теперь размяк. Сказал мне: «Не

можем действовать по принципу — у волка всегда морда в крови, съел он или не съел овцу». Это тот Гизатуллин, который переводчиком служил в татарской бригаде. Когда воевали против басмачей. Мне этот парень пока ничего не открыл. Ну я ему сумел сказать приятное. Говорю: «Командир, который наводил страх на басмачей, и чтоб не заставил виноватого признать вину? Такого быть не может!»

— Правильно, сынок, хвалить всегда надо. Похвала и богу приятна.

Они прошли в домик свекра и долго еще там беседовали. Поздно ли муж вернулся оттуда, когда вошел в комнату и лег, Сайлихан не слышала. Устала — с утра до вечера не разгибала спины. К тому же и Ганишер разбаловался — грудь без конца требовал. За день так набегаются, не успеет приклонить голову, как уже спит.

Но сон у нее чуткий. Сразу услышала: кто-то настойчиво стучал в ворота. Она протянула руку к лампе в нише, прибавила огня. И замерла от страха: муж стоял над нею, на себя не похожий. Его тень, отброшенная на стену, протянулась до потолка.

— Открою? — шепнула она.

Махамадшер, кажется, не услышал, все внимание его приковали ворота.

Она накинула на голову платок. Муж остановил. Снял с крючка китель, набросил на плечи.

— Сам открою.

Во двор ввалились несколько человек. Луна еще не взошла, но соседа — Наркузи-ака — Сайли сразу узнала. Во всем городе не найдешь другого такого высокого человека. На голову выше остальных, хоть и горбится.

— Не вините нас, невестка. Служба, — сказал он, входя в комнату.

Сайлихан пошла было к нише, где сложена постель, хотела расстелить курпачи для ночных гостей. Эсанбаев остановил:

— Не хлопчите, невестка.

— Обыск. По санкции прокурора, — официально объявил незнакомый мужчина в кителе. Был он хоть и не маленький, но Эсанбаеву лишь по плечо.

Обыск? До нее не сразу дошло значение грозного слова. Услышав ночной стук, она от страха вся ослабела, обмякла. Когда же увидела среди пришедших соседа, немного успокоилась. А теперь этот в кителе. . . Никогда раньше не видела его, но сразу поняла: тот самый сле-

дователь Гизатуллин, про которого говорили ночью муж со свекром. Она сидела, обняв люльку, прикрыв лицо платком, а в ушах гремело: «Обыск!»

Голова склонена к люльке, а слух напряжен. Упали из ниши подушки и курпачи. Со звоном откинута крышка сундука.

— Эти украшения ваши?

До Сайлихан не сразу дошел смысл вопроса.

— Ваши, говорю, украшения?

Подняла голову. Эсанбаев держал перед нею раскрытую шкатулку. Конечно, это ее вещи. Золотые сережки в форме полумесяца, кольца с изумрудом и сапфирами, жемчуг. . .

— Вы же сами знаете, товарищ Эсанбаев, видели на ней, — предупредил ее ответ Махамадшер. — Все эти украшения принесла к нашей свадьбе из дома отца, правильно я говорю, Сайли? Язык у тебя есть? Ответ же товарищу наконец!

Злая усмешка в словах мужа окончательно лишила ее языка. Смогла лишь испуганно кивнуть.

Эсанбаев и тот, в военном кителе, Гизатуллин, а за ними еще три милиционера вышли на айван. Прошли на кухню, обстучали стены и пол железными остроконечными палками. То же проделали в сарае. Раскопали пол, где было можно.

Кажется, ничего не нашли. Под предводительством следователя Гизатуллина направились к воротам. В это время в своем домике закашлялся свекор. Следователь остановился.

— Мой отец, больной он, товарищ Гизатуллин, — поспешил с объяснениями Махамадшер. — Старый человек. Очень старый.

— Хоть и старый, придется побеспокоить, — развел руками Гизатуллин. — Такая у нас служба.

И все повернули в другой конец двора.

Сайлихан била мелкая дрожь. Она сунула ноги в калоши, спустилась с айвана. Прислонилась к шелковице. В комнате свекра зажгли свет. В освещенное окно ей видно было все, что там происходит. Подняли все-таки старика и отодвинули постель в сторону. Он стоит в белых до полу исподних штанах и длинной рубаше. Снимают доски на сандале и ломают. . . Ломают сандал!

— Товарищи, — донесся голос Махамадшера. — Зачем же рушить? Старинный сандал, стоит с моего детства.

Все равно ломают. Один милиционер острием желез-

ной палки выковыривает кирпичи, другой складывает их в стороне.

— Товарищ Гизатуллин, на вашей ответственности, если с моим больным отцом что произойдет. Он же еле стоит!

— Ложитесь, дед, — заботливо отозвался следователь. — Постелите ему курпачу.

Сайлихан не видно: лег свекор или не нет.

— Копайте, копайте! — приказал Гизатуллин приостановившимся милиционерам.

Дошли до очага. Принялись и его рúшить. Сайлихан услышала стон свекра.

— Я же предупреждал вас! Добились своего. . . — Махамадшер гневно взглянул на Гизатуллина.

Сайлихан стало жалко свекра. Животом мучается старик. Схватило, видно.

Махамадшер, Гизатуллин и Наркузи-ака склонились над стариком. И в это время обрушился очаг. Милиционер — тот, что копал, свалился к яму. Первым подоспел на помощь Махамадшер.

— Ий-е! Ушиблись? Говорил же, еще при моих предках складывали. Давайте руку.

Однако руку подавать милиционер не спешил. Вот показались его фуражка, и он передал наклонившемуся над ямой Эсанбаеву кувшин. Наркузи-ака подошел к хантахте и опрокинул кувшин над этим низеньким столиком. Будто молния сверкнула в комнате. Желтые кругляши монет, связка жемчуга, амулеты, играющие драгоценными камнями, подвески и много других таких же вещей — словно блестящая река полилась на столик. . . И в ней, поворачиваясь и сверкая, проплыли два больших полых шарика из золота, осыпанные разноцветными камнями. . .

— Да это целый клад! — сделал удивленные глаза Махамадшер. — Наверно, наш дед заложил. Много торговал старик — и в Кашгар, и в Варшаву ездил.

Гизатуллин, занятый подсчетом сокровищ, кивнул:

— Разберемся. Проверим все — дедушка ваш это прятал или, может, какая-нибудь крыса. . . двуногая из торгсина перетаскала. Между прочим, Черный Уврайим заявил, что взял всего двенадцать мешков муки, а вы говорите, в амбаре сорок хранилось. Уж не вы ли сумели засунуть те мешки в кувшин, а? Ай-яй, фокусник!

Сайлихан сначала жалела Махамадшера. Зачем начальник обижает ни за что? Но когда было сказано о

крысе и о сорока мешках, вдруг вспомнила одну вещь. Как живого увидела старика Ташпулата, который сидел у арыка и плакал. Это же он принес в торгсин старинные «дутые» серьги, блещущие драгоценными камнями. Память о жене. . .

Сайлихан ухватилась за шелковицу, припала к окну. Они! Серьги старика. . .

К воротам пошли как положено: хозяин впереди всех. Но вот ворота стукнули. Последний раз мигнул фонарь. Замерли шаги. Замерли — и Махамадшер не вернулся. Сайлихан поняла: забрали. . .

И все-таки прислушалась. Нет — тишина. Пугающая тишина нависла и над домиком, стоящим отдельно в конце двора.

В черном погасшем проеме окна закачалась длинная белая тень. Свекор. Сайфитдин-махсум. Рвущий сердце, похожий на вой, стон старика проник в душу. Сайлихан осторожно, прячась за шелковицей, пробралась в большой дом, к сыну.

Этой ночью она не сомкнула глаз. Как будет жить дальше, одна с ребенком? Приходилось теперь самой думать о завтрашнем дне. До сих пор — и еду, и одежду — получала из рук мужа. Взамен исполняла его волю. Следила за одеждой, приводила в порядок постель, стирала, гладила, готовила. С утра до вечера руки ее шуровали, как кочерга в топке, волосы подметали, как венник. Смыть грязь с обуви, начищать мужнины сапоги — тоже было ее заботой. А как погаснет свет, должна была умыться, причесаться и в постели угождать мужу. Ее долг был — рожать детей хозяину, воспитывать их. И вот не стало у нее больше хозяина. Чует сердце — не вернется муж.

Громко заплакал в люльке Ганишер — оторвал мать от ее дум. Занимался новый день. Успокоила малыша, наскоро прибрала разбросанные вещи. Спихватилась: что-то не слышно привычного бормотания домуллы над Кораном. Уж не слег ли? Оказалось — на ногах. Когда принесла ему завтрак, ее поразило — ни следа от ночного обыска, успел прикрыть даже место, где стоял сандал. Все следы схоронил.

В тот день свекор так и не взялся за Коран. Оба глаза — на воротах. Жалко было смотреть на него. На старости лет, да к тому же больной, остался теперь один, без опоры. За одну ночь постарел вдвое. А дальше? Как будет жить без Махамадшера?

Она и сама, чуть стукнет на улице, бросается к воротам. Ближе к заходу солнца подала свекру узелок, в нем плов и лепешки. И на завтра то же, и на третий, четвертый день. Каждый вечер старик отправлялся с передачей. Махамадшера держали под следствием. На пятый день утром Сайфитдин-махсум вдруг сказал:

— Сходили бы сами к начальнику. Скажете, что отец Махамадшера — старик, совсем больной. Да с внуком моим идите. Может, примут во внимание, смягчатся.

Тут же и собралась. Принял ее Гизатуллин, он вел следствие. Поклонилась.

— Живите до окончания века. Отпустите, ради аллаха, моего мужа! — она упала на колени и молила, приоткрыв черную сетку чачвана. Плакалась: и свекор-то совсем старый, немощный, и ребенок малый на руках. Махамадшер — единственный кормилец, опора семьи.

— Эх, бедная женщина! — улыбнулся Гизатуллин. — Опора, говорите? Он у государства крал! Муж ваш, поймите, хуже басмача!

Сайлихан испугалась. Прикрыла рукой голову сына, точно спасаясь от удара.

— Нет, нет, муж мой не вор... Свекор совсем больной... Пожалейте нас, освободите!..

— Эй, кой киби! — в досаде по-татарски выругался Гизатуллин. — Хуже барана! Да поднимитесь же наконец! — взял ее за локоть. Со стуком придвинул стул. — Садитесь!

Опасливо села на самый краешек.

— Будьте справедливы! Не заставьте страдать за чужую вину, — упрямо молила Сайлихан.

— Хотите справедливости? Давайте. От вас зависит.

Сайлихан удивленно посмотрела на него.

— От ваших честных ответов. Вы знаете, например, что арбакеш торгсина Черный Уврайим просил у вашего мужа взаймы, приходил к вам в дом...

— Да, он оставил в залог телегу. Проиграл, оказывается, тысячу рублей.

— Значит, муж дал?

Сайлихан кивнула.

— Муж ваш человек рассудительный, не оставил, наверно, Уврайима без совета?

— Да, советовали...

— Хош, хош! — ободрил ее Гизатуллин.

— Сказал, что богатства джигита у него под ногами, но поднять его может только умный человек. А такие,

вроде вас, — он имел в виду арбакеша, — такие умеют только сорить деньгами.

— Та-ак... А еще что сказал?

Сайлихан не помнила.

— Может, поручил дело какое? Говорите, для вашей же будет пользы.

— Да, дело одно поручил.

— Какое же?

— Сторож торгсина в то время лежал с тифом в больнице. Вот муж и говорит: «Приглядывайте мимоходом. За складом ведь поле широкое. Не дай бог, кто подкрадется, стукнет раза два кетменем и проломит стену». Очень он беспокоился об этом, даже когда дома сидел.

— Значит, ударит раза два кетменем — и стена проломится? Так и сказал?

Гизатуллин закурил папиросу и зашагал по комнате. Докурив, присел к столу, стал писать. Зачитал готовую бумагу, спросил:

— Все правильно?

Сайлихан кивнула. Как же не кивнешь — он слово в слово записал все, что она сказала.

— Подпишите.

Сайлихан поежилась.

— Вы же сами подтвердили — все правильно.

— Не умею я расписываться, — от стыда плотно прикрылась паранджой.

— Ничего. Приложите палец, и баста.

Свободным движением взял ее за большой палец, намазал его чернилами. Рука Сайли совсем ослабела, и следовательно приложил намазанный палец внизу листа.

— Теперь выпустите? — снова стала молить. — Отпустите его скорей, отец совсем больной. И ребенок...

И Ганишер как раз вовремя заплакал. То ли проголодался, то ли задыхаться стал под паранджой.

— Эй, кой киби, бедняжка. Совсем как баран... — пробормотал себе под нос Гизатуллин. Сайлихан не поняла, к чему. Но слова начальника запали в душу.

Что-то написав на листке бумаги, следовательно подал его Сайли:

— Это вам пропуск. На свидание с Сайфитдиновым. Можете сегодня увидеться.

К назначенному времени пришла в городскую тюрьму. Махамадшер вышел в своей обычной одежде. Оброс, правда, за это время. Тяжело взглянул на нее и сразу за

плов. Видно, проголодался. Поел и словно только что заметил жену.

— Распустила длинный свой язык на мою голову, — буркнул, вытирая губы.

— Вай, что сделал такого мой язык? — удивилась Сайлихан.

— Собака верна, с женой — беда. Это уж точно. Подохла бы вместе со своим родом, если бы не я, — возвысил голос.

Сайлихан оглянулась на соседей, ведь не одни они были тут, услышать могут. Укорила:

— Разве это слова джигита?

— Из моих рук, неблагодарная, брала хлеб-соль...

Сайлихан согнулась, как от удара камчой.

— За что? Что плохого я сделала вам?

Махамадшер покосился на часового. Понизил голос:

— Что плохого, говоришь? А кто указал Эсамбаеву на дом хлебопека? Говори, что еще наболтала следователю.

Она наболтала! Изо всех сил старалась помочь мужу, просила, чтобы с ним обошлись по справедливости. А что дом хлебопека назвала, так при чем тут Махамадшер? Ответить не успела. Дежурный объявил, что время свидания истекло.

Уже шагая перед милиционером, Махамадшер метнул в нее такой взгляд, будто обдал желчью.

Ни разу даже не взглянул на сына, не взял на руки! Лучше бы и не ходила. С тяжелым сердцем, прижимая ребенка к груди, возвращалась домой Сайлихан. Невеселые мысли бродили в голове. Непонятно: в чем винят ее мужа? И вдруг опять вспомнила тот случай — тогда еще не была женой Махамадшера. Понесла свои украшения в торгсин. Перед нею стоял друг отца мастер Ташпулат. Когда очередь подошла, он положил на стол заведующего и золотые серьги-шарики. Потом, возвращаясь домой, Сайли опять увидела старика. Уста Ташпулат сидел на берегу арыка на корточках и плакал, глядя на свою сумку, всего лишь до половины наполненную мукой. Маловато отсыпал ему Махамадшер за дороге — вдвойне дорогие вещи: ведь это была память о его старухе. Как же они попали в кувшин?

Дома никак не могла прийти в себя. Ведь совсем еще была молодая. Что делать? С кем посоветоваться? С портрета в нише на нее смотрел Махамадшер: «Ты, ты указала Эсамбаеву на дом хлебопека!»

О аллах! Махамадшер, заведующий торгсином, оказывается, не рад, что напали на след воров! Тех самых, что проломил стену! Как от внезапного удара, у Сайлихан подкосились ноги — и она села на пол, обхватив голову руками. Что же получается? Ее муж и мулла-свекор, дни и ночи отбивающий поклоны богу, сами замешаны в ограблении! Сообщники! А может, даже главари? Они, Махамадшер и этот посредник аллаха, старик, пользуются бедой людей. . . Голод, тиф — все им на руку. Богатеют на несчастье других!

Искорка, которая давно уже нет-нет да и начинала тлеть в ней, разгорелась ярким пламенем. Теперь Сайли ненавидела весь дом. Махамадшер так и следил за ней с портрета. Бежать, бежать от этих глаз! Если оставалась до сих пор здесь, то только из жалости к старику свекру и к мужу, попавшему в беду. А теперь нет этой жалости. Вспомнились слова Махамадшера, брошенные ей в лицо, когда пришла в дом со своим сиротой-первенцем на руках: «Меня друзья засмеют! Скажут, привел невесту с чужим приплодом!» А свекор! Ведь тот взащей прогнал сестру ее Саттихан, когда та принесла сюда маленького Уктамджана. До сих пор рвет душу отчаянный крик малыша. Как он тянулся худенькими ручонками к матери! . . . И раньше, бывало, как вспомнит все это, так чешутся руки налить старику в кумган грязной воды для его святых омовений. А теперь весь открылся — ни сердца, ни души.

Через два дня собрала свои пожитки и перебралась с сыном к отцу. Старик принял молча, видно, не одобрял ее поступка. А тетушка Анзират, та громко возмущалась. Устроила племянницу за такого человека — и вот какой бывает человеческая неблагодарность! В хорошие дни плов его ела, а в несчастье рада голову человека проглотить! «Жди мужа!» — требовала. Из соседей некоторые одобряли уход Сайли от Махамадшера, другие осуждали. Но что ей до чужих пересудов? Решила уйти и ушла. И больше не вернется.

За окном нетронутая пелена белого снега. У ворот тихо, никто не ломится. Сайлихан, приподняв голову, прислушивается. Взволновали ее воспоминания и эта встреча с бывшим мужем. Опершись на локоть, все смотрит и смотрит в окно.

«Убрался, слава аллаху!» Однако тюрьма и ссылка не изменили этого человека. Правда, когда увидела в будке с газированной водой, показался жалким, несчаст-

ным. А теперь снова — матерый волк. Зверем налетел на нее. Как схватил ее за руки! Где серьги? Отдай ему украшения. А зубы, зубы! Ощерился — прямо волк.

Сайлихан завернулась в ватное одеяло.

«Бросить ему в морду эти украшения, пусть подавится...»

Х

Часы Джалалхана громко тикают на стене между двух ниш. Сайлихан сняла их с гвоздя, приложила к уху. Это у них в семье как обряд. Каждое утро она прикладывает часы мужа к уху, и каждое утро Ганишер спрашивает:

— Идут?

— Идут, — отвечает мать.

— И мне, — просит сын.

Сайлихан наклоняется, прикладывает часы отца к его ушку. Ганишер, выпучив глаза, долго слушает. Потом сразу вскакивает с постели, быстро одевается.

Мерное, громкое тиканье успокаивает и бодрит и Сайли, и всю ее детвору. Вроде сам хозяин здесь, среди них. Завел часы, повесил на место, и вот они идут...

Так начинается каждое утро. А сейчас вечер. Ребята сидят за ужином. Сайлихан говорит:

— Хочу навестить вашего дедушку. Не будете бояться одни?

Ребята с полными ртами качают головами и смотрят на стену. Там висят часы, они тикают громко, на всю комнату. С ними не страшно.

До махалли Ходжагай, где дом ее отца, не так уж близко. Когда добралась, все кругом окутала холодная мгла. Улица опустела. Ворота, как обычно, не заперты. Тишина. При матери было не так. Работа кипела и во дворе, и в доме. Даже ночью в очаге не гас огонь. Отец во дворе кипятил коконы. В горячих углях клокотал черный кумган, бурлил, шипел, разбрызгивая воду. Отец захватывал мотовилом конец шелковой нити и сматывал ее в мотки. Из дома доносились скрежет и лязг. Там мать наматывала приготовленную пряжу на катушку прялки. Сайли челноком носилась между отцом и матерью. Подбрасывала дрова в очаг, заваривала чай, приносила отцу его тыквенную табакерку с насваем, матери — готовые мотки, меняла веретена. Не останавливалась, бывало, ни на секунду, пока совсем не одолеет сон. В их семье толь-

ко крошка Саттихан не работала. Играла, гонялась за полосатой кошкой. Эта кошка в тридцать третьем голодном году убежала из дому.

Бурлила в доме жизнь. А ушла мать в мир иной — и замер дом.

Никто не вышел навстречу. Двор темный, совсем запущенный. Сайлихан встревожилась. Слишком уж тихо. Не случилось бы чего... Быстро поднялась на айван, распахнула дверь в комнату. «Слава богу!» — вздохнула. В нише мерцал свет. Окно во двор плотно завешено двойной занавеской — от холода. На краю сандала спала Саттихан. Сайли скинула кавуши в передней, подошла к спящей. Как сестра осунулась за последние дни. Не больна ли? Веки покраснели, черные-пречерные ресницы слиплись. Плакала. На щеке — ручейки от слез. В руках скомкан отрез атласа. Тот самый атлас, из нового образца. Миралим подарил ей на прощание, когда уходил в армию. Его последнее творение. На ткани — аист, стремительно летящий к небу. Черное крыло рассекает серебристую волну облаков. Длинный клюв похож на шило, ноги откинута назад, горят красным огнем.

Ведь берегла его сестричка, к свадьбе берегла. Сайлихан задумчиво глядит на лицо спящей. Жила, оказывается, в этой молодой головке мечта и вот погасла. А с тем певцом, с «султаном», слава аллаху, все обошлось. Но там влекло Сатти другое, не сам «султан». Великое слово «артистка» — вот что притягивало глупенькую. Оказывается, Миралим и не уходил из ее сердца.

Сайлихан вздохнула, и Сатти, как настороженная пчуга, сейчас же проснулась. Выпустила из рук атлас, и в полутемной комнате заиграл поток света и красок. Обе замерли на мгновение. Сайлихан первая справилась с волнением, подняла упавшую материю, сложила.

— Пусть будет тебе на счастье... — подала атлас сестре.

Та молча спрятала отрез в сундук, что стоял в нише. Сайлихан прибавила огня в лампе.

— Где отец?

— Не вернулся еще.

Сайлихан не узнала голоса сестры. Слабый, надтреснутый, да и вся она как будто сломалась. Однако почему отец не вернулся? Да, конечно, делит горе с несчастным своим другом. У Ташпулата-ака траур по сыну. Вот и встречаются они бок о бок — отец погибшего и его друг —

всех, кто приходит почтить память Миралима. Но как же уста Умар доберется домой в такую темень? Да и земля обледенела, скользко. . .

— Он не говорил, что останется на ночь?

Саттихан развела руками — ничего не сказал ей отец. Но не успели сестры выпить и по пиале чаю, как закрипели ворота. Сайлихан поднялась навстречу отцу. Вот он кашлянул, стукнул посохом о порог.

— Доченька моя! По запаху родному узнал, что ты пришла. Родной человек особенно дорог в такие дни. Вот и Ташпулат ушел. . . Обманул меня, — уста Умар коротко всхлипнул, будто икнул. Приложил кончик бельбага к глазам. — А ведь моложе меня был. . .

Снял черный ластиковый халат, надетый поверх камзола со стоячим воротником, передал Саттихан. Прошел на свое обычное место в переднем углу.

— Очень уж любил он своего младшего, — уста Умар сокрушенно покачал головой.

У Саттихан задрожали губы. Отвернула лицо, быстро поднялась. Пошла заваривать чай, хотя только что ведь заварила.

Совестно бедняжке перед сестрой. Да что уж там, разве сестра не поймет. . . Такой джигит любил ее! Осмелился ли сказать ей? Сошло с его уст хоть одно слово любви? Решился ли? Сайли этого не знает. Но видела, как смотрел Миралим на сестренку. Любовь так и светила в нежных, как у лани, глазах. Места не находил себе, встречаясь с ней. А она? Может, просто подчинилась обычаю, ведь помолвлены были с младенчества. Конечно, уважать его — уважала, ничего не скажешь. Такой замечательный был мастер, художник. Но любила ли? Когда заговаривали при ней о джигите, только смеялась. В отличие от молчаливого Миралима, она была веселой, бойкой. Хохотать бы все. . . Однако, когда взяли в армию, как она горевала. Долго ходила с потемневшим лицом, слезы не высохали на глазах. А что до «султана» Мурадова, у того с уст так и лились слова любви, перебирал их, как зернышки четок. О том только и пел. Как не закружиться голове?.. Манил: артисткой станешь. Поняла, кажется, в конце концов, на что он ее звал. Горько ей было, конечно. А теперь вот похоронка на Миралима. Пусть поплачет, слезы очищают душу.

Отец, согрешившись у сандала, снова заговорил. Медленно, с усилием, точно поднимал тяжелый груз:

— Договорились ведь: сначала он предаст меня земле, потом уж и сам последует за мной. . .

Сайлихан внимательно посмотрела в помутневшие глаза отца. Выходит, может наступить в жизни человека пора, когда он полностью мирится с судьбой. Ведь вот как спокойно говорит о своем конце. Нет, ей не знаком этот покой. Вот и сейчас невольно вспомнилась больница, железная кровать и под простыней вытянувшееся, неподвижное тело Ольги.

— Покойный Ташпулат. . . — продолжал отец.

— Что? Ташпулат-ата? Умер?

Уста Умар кивнул:

— Унесла его похоронка.

Сайлихан слов не могла найти. Так в молчании выпили по пиале свежезаваренного Саттихан чаю.

— Руки у покойника были золотые, а душа словно весна, — заговорил опять уста Умар. — Какой мастер был! Ты видела его знаменитый атлас «Хасаятхан»?

Сайлихан с тревогой смотрела на отца. Как изменилось его лицо — всего лишь за один день. Судорогой свело буроватые брови, глаза остановились, ноздри прямого носа сжаты. Коротко подстриженная борода едва приметно дрожит. «На холоде долго простоял, как бы не заболел. Ноги, правда, в ичигах с калошами. Но вот скрученный жгутом платок, повязанный вокруг тубетейки, разве он заменит шапку? . . .»

— . . . Не знаешь. А ведь твоя тетушка Анзират первая его надела.

Тетушка Анзират? Что надела? Не сразу дошли слова отца до Сайлихан. Ах, этот атлас, о котором говорит отец. Тетушка Анзират — сестра ее матери, а будто из другого теста сделана. Выше ростом, видная, она и под старость не отказывается от пудры, кармина и сурьмы. Да и душой совсем не то, что была мама. Для нее человек хорош, если хорошо одет, живет в достатке. Ничего удивительного в том, что первой надела дорогой атлас именно она. Муж ее доводится дядей Махамадшеру. В старое время служил агентом у крупного торговца. Снабжал шелком маргеланских кустарей и скупал у них готовую ткань. И теперь служит в торговле. Тетушка Анзират никогда не знала нужды.

Перед холодами она зашла в дом к Сайлихан. А вернее сказать, заглянула. Брезгливо обошла Настю и Яшу, подобрала подол и села на край курпачи. Боялась, что ли, насекомых набраться. Повела речь о Махамадшере.

«Раб божий везде в цене. . . И в ссылке не пропал, устроился хлеборезом. А вернулся — опять в торговлю взяли. Аллах, по всему видно, хорошо постарался, когда раскатывал тесто, чтобы вылепить этого человека. Вот ведь: все голодали, а у него и тогда дом был — полная чаша. . .»

Что толку оспаривать тетушку! Сайли покрепче стиснула зубы — и все. А та гнула свое: у нее, у Сайлихан, — сын да еще приبلудных двое. Не отталкивай, мол, руку, пока протянута к тебе. Помиритесь. Тут уж Сайлихан не утерпела:

— Скажи: если плюнешь, можно втянуть плевков обратно в рот? Был такой случай?

Тетушку Анзират так и подбросило, как будто на иглу села. Молча сорвала с крючка бенаресскую паранджу. Презрительно оглядела комнату, сморщила короткий нос:

— Много же ты приобрела, племянница, за своим Джалал-чапаном. Этот старый таз, что ли, да палас в дырках?

— Ошибаетесь, приобрела самое драгоценное, — Сайли посмотрела ей прямо в глаза.

— Где же оно? — недоверчиво, но с интересом спросила тетушка. — Или ты зарыла свою драгоценность?

— Зачем зарывать? Ношу здесь, — приложила ладонь к груди.

— Что же это? — глаза женщины заиграли, подведенные сурьмой брови взметнулись вверх. — Амулет золотой?

— Подороже будет.

— Жемчужина? Камень драгоценный?

— Напрасно утруждаетесь, все равно не угадать.

— Ну скажи, скажи, тебя не убудет, — тетушке не терпелось утолить свое любопытство.

— Ну что же, скажу. Его любовь. Хоть и не было у моего мужа пшеничных хлебов, зато слово его пшеничное.

— С пшеничного слова сыт не будешь, от него только живот пухнет.

— Вам не понять. Нет слаще хлеба, добытого собственными руками.

Тетушка Анзират оскорбленно вскинула голову и вышла, гневно хлопнув дверью.

— Сгорбишься от своего труда, а я пальцем теперь не шевельну, — слышался с айвана ее голос. А у во-

рот, опуская паранджу, еще раз уколола провожавшую ее Сайлихан: — Для такого джигита, как Махамадшер, род женский в Маргелане еще не перевелся. Много возомнила о себе. Возьмет за себя девушку, которую даже мать родная не целовала еще. Ребенка своего жалел, он стоит между вами. Подумай все-таки, это последний раз, племянница. Я к тебе с открытой душой, за тебя переживаю.

— Не переживайте! — Сайлихан распахнула ворота настежь.

Очнувшись от своих воспоминаний, посмотрела на отца: как он? Уста Умар согрелся — ноги в сандале, дочь подоткнула ему под бока две подушки. То молчал, погруженный в свои мысли, то принимался вспоминать вслух:

— С Ташпулатом выросли на одной курпаче. В дувале между нашими домами проход был. Свадьба ли, другой какой праздник — сразу в двух домах гуляли. Если у них строят во дворе очаг для казана, то мы делаем таванхану, где хранить угощение, когда подойдет той. Если женщины собирались у них, мужчины — у нас. Все вместе делили: и радость, и горе. . .

Сайлихан с удивлением и беспокойством глядела на отца. Что-то он путает. Дом Ташпулата-ака ведь на самом краю города, по дороге к Ташлаку, очень далеко от них.

— Разве мы были соседями?

— А ты и не знала? Наш старый дом в Коваккайрагаче, рядом с их домом. Да, конечно, ты ведь тогда совсем малышка была. В смутное время перебрались сюда, в дом твоей бабушки. Каждый день стрельба, резня. . . Бабушка настояла. Хоть вместе будем. Вот и перебрались в Ходжагай. Однако дружба наша с Ташпулатом осталась крепкой. И об артели весть принес нам он. «Что это за артель?» — не понимал я. А он: «Которые объединяются — опережают. Те, кто врозь, они вразнобой действуют, само собой — отстают». Он собрал аврбандшиков, ткачей, лоцильщиков, тех, кто кипятит, как я, коконы, и еще — красильщиков. Получили от городского управления под наши цехи мечеть с куполом, что возле базара. И все мы — кипятильщики, красильщики со своими казанами, давракеша с огромными колесами — прялками, все собрались в артель. Расходы и прибыль — на всех. Зарабатывали семьями на хлеб. Однако, чтобы вступить в артель, надо внести свой пай. А что я мог

внести? После дедушки предали земле и бабушку. Недешево обходится мусульманину похоронить близкого. Ну и остались без всего. Купить коконов на один казан — и то не мог. Ташпулат и тут нашел выход. Нас ведь в артели много. Говорят, если все стукнут одного по разу — убьют. Ну, а если дадут по куску — насытят. Смотри ведь — насытили. В артели я не на последнем счету был. Днем, бывало, коконы кипячу, вечером кручу пряжу. Всякую работу давали — со всем справлялся. Четыре года даже давракешем был. Давра тогда была, что колесо от огромной арбы, тяжеленная. Силу надо иметь большую, чтобы повернуть такое колесо. А я еще не по две, как все, а по пять нитей ставил. Все побыстрее хотелось сделать. Да, видно, перетрудился, чуть не остался слепым, — уста Умар опустил голову. — Свет глаз моих унесла шелковая нить. В темном, сыром помещении много сидел. И Ташпулат в темноте работал не меньше меня. А вот свет очей его до конца не гас. . .

Сайлихан знает: если речь зашла о свете очей, отец запечалится, замолчит надолго. Вот и сейчас прилег на бок. Чтобы отвлечь, спросила:

— Тот атлас, вы говорили, что Ташпулат-ата приду- мал, был очень красивый?

— Красивый? Не то слово. Один взгляд на него отнимал покой у женщин, приводил в восторг джигитов, — уста Умар в волнении сел, видимо, вспоминалась молодость. — Красивый, как наша Хасиятхан!

— Хасиятхан? Кто она?

Уста Умар неуверенно протянул:

— Да-а. . . Та самая. . .

— Ну, скажите же кто? Или, может, между вами что-нибудь было? — улыбнулась дочка. Рада, что отец оживился.

— Э, не говори, чего не знаешь, — шутливо погрозила ей уста Умар. — Дочь такого же ремесленника, как и мы. Бедного лошильщика дочь. Беззащитная, бедняжка, была. В год змеи променял ее отец на два пуда джугары. Да ты знаешь ее мужа. Старый бакалейщик, дернешь за нос — и свалится. Спасла бедняжку та активистка, которая с Лениным встречалась. Она заставила, конечно, сбросить паранджу. Это перво-наперво. Потом устроила Хасиятхан в нашу артель. Ну а из артели ее отправили учиться. Говорят, сейчас в Ташкенте работает.

Сайлихан подавила вздох. Вот и ее ведь тоже так. За полмешка муки. . . Куда позднее, чем Хасият, стала

полноправным человеком. Однако не время о себе думать. . .

— Ну, а про атлас расскажите. . .

Пусть, пусть отец говорит, лишь бы со своим горем не сидел один.

— Про какой атлас?

— Тот, от которого женщины со всей улицы теряли покой.

— Ах, тот! Покойный Ташпулат разрисовал, а брат его выткал. Ну и принесли тюк в контору артели. Что вам сказать? . . . Если сравнивать, так разве что с атласом Шатикана. . . По красоте. Однако совсем другой. Черный цвет в нем перебивают желтые и голубые пятна, а над всем — красный, его вроде чуточку больше, чем обычно дают. И получился очень веселый атлас, яркий. Особенно расцвел после хорошего лощения. «Братья уста! — говорит наш председатель коммунист Дадабай. — Атлас хорош. Какое ему имя дадим?» А мы глаз от новинки не можем оторвать. Среди нас и Хасиятхан была. Она и говорит: «Чудо какой атлас вы создали! Постарайтесь, братья уста, дать ему достойное имя. Кто наденет его, на небо поднимется, а кому не судьба — всю жизнь будет мечтать». Я посмотрел на нее, и осенило: это же сама Хасиятхан! Ее застенчивость — голубые тона. Черный цвет — ее прекрасные глаза. А просвечивающий то тут, то там красный — это же ее пунцовые щеки! И будто улыбка перешла на атлас с лица нашей скромной Хасиятхан. Видать, и остальные подумали то же. И в один голос: «Хасиятхан-атлас! Пускай так и называется». Коммунисту Дадабаю понравилось наше предложение. А сама Хасиятхан убежала — засмушалась. А дней через десять в новом платье из хасиятхан-атласа появилась на улице твоя тетя Анзират. О воля божья! . . . Та, чьим именем назвали атлас, не смогла надеть его. А бездельница, жена торговца, не задумываясь напялила на себя. Да, как говорится, «кого аллах избрал, у того всякое дело на мази».

«Что же выходит — кто, не трудясь, богатеет, тому и бог помогает?» — изумилась про себя Сайлихан. И показалось ей, что она сидит дома, с детьми. . . И что вот-вот стукнет дверь и войдет к ним комнату тетушка Анзират в бесценной бенаресской парандже, а под паранджой — этот атлас. А за нею Махамадшер, этот «порум», влезший в комиссарскую кожанку для обмана людей.

Тревога подбросила Сайли. Вскочила, потемнев лицом, заторопилась.

— Уходишь? Темно ведь, осталась бы, — попросил отец. Стареет. Совсем забыл, что у нее дети.

Саттихан проводила ее до ворот. Сестры обнялись. Сайли про себя благословила младшую: «Дай тебе бог терпения. . .»

XI

Сайлихан очень беспокоила сестра. Ведь какая была хохотунья, всегда тянуло ее туда, где песни и танцы. А теперь ходит словно мертвая. Похоронка на Миралима, неожиданная смерть его отца уста Ташпулата словно обожгли лицо молодой девушки. Посуровела, на работе весь день головы не поднимет, не может смотреть в лицо другому человеку. Чтобы как-нибудь отвлечь сестру от тяжелых переживаний, в один из летних дней повела после работы на митинг.

На городской площади полно народу, люди держат на древках большие кумачовые полотнища. «Смерть немецко-фашистским извергам!» — кричат белые буквы. «Приблизим победу самоотверженным трудом!» Высоко подняты портреты героев Великой Отечественной войны.

— Земляки! — торжественно крикнул на всю площадь председатель исполкома. Открывая митинг, он начал с прекрасных новостей. Наши войска одержали новые победы. Под Курском и Орлом они не просто отбили атаки врага, но даже перешли в наступление и нанесли фашистам огромный урон! — От захватчиков освобождены десятки городов и сел! — в голосе Исполкома-ата дрожало радостное, гордое волнение.

А после него на трибуне появился старый мастер с шелкоткацкого комбината.

— Пятерых сынов, пять джигитов, во! — он показал пятерню. — Всех послал, всех своих молодцов! — борода его затряслась, голос дрогнул. — Поручил Сталину и аллаху! . . . А вчера пришел треугольник от младшего. Пишет, участвовал в воздушном десанте. В кольцо зажали фашиста. Благодарит за крепкий шелк, парашюты и: очень нужны. Оказывается, и наш шелк помогает. Ну, раз такое дело, готов ночи напролет не уходить из комбината.

«Шелк — понятно, а вот атлас, который мы ткем, разве он нужен для защиты Родины? — в который раз заду-

малась Сайлихан.— Хан-атлас, он для счастливых людей, а кто теперь счастливый? Разве что такие, как тетушка Анзират, чтоб ей пропасть...»

Сайлихан плюнула украдкой. Ей-то все видно: все четыре сына тетки и две дочери сидят у мамы под крылом. Двоих успела женить, дочерей замуж выдала. У старших сыновей броня. Самый старший — важная птица. Директор какой-то. Второй в институте, броня и у него. Опять же важной птицей будет. Третьего недавно призвали. Устроили при военном комиссариате — повестки да похоронок разносить. А младшенький при отце, счетовод. Так Анзират можно и покрасоваться в хан-атласе.

Не заметила, а на трибуне уже мастерица Карамат.

— ...И море из капель образуется. Наша продукция, хан-атлас, капля, которая падает в сокровищницу государства...

Вот и ответ на вопрос Сайлихан.

Карамат-ая, как угадала, встретила глазами с Сайли.

— ...Мы, ткачихи «Ривожии», благословили своих сыновей, мужей и всех близких на борьбу с врагом. А теперь вместе со всем народом радуемся их победам. Разгром врага под Курском — это же значит: победа приблизилась! Приблизился тот день, когда обнимем детей, братьев, мужей своих, тех, кто сейчас на фронте!

— Вот это мать дает! — сказал кто-то рядом.

Сайлихан — вся как натянутая струна — не пропускает ни слова. Победа стала ближе! Ее Джалалхан... Ее муж, душа у него широкая, как и рука. Для Ганишера он как родной отец, в сто раз лучше, чем родной. И Уктамджана как хотел найти... И найдет еще! Любит очень детей. Она, конечно, заметила тень на его лице, когда прощались. Горюет, что не оставил своего собственного сынишку на земле.

— Не горюй! — прошептала Сайлихан. — Только вернись. Мы ведь еще молодые...

Народ громко хлопает Карамат-ая. И Сайлихан захлопала. Впереди поднялась рука — кто-то просит слова. Эта рука с тупыми пальцами без ногтей. Рука Махамадшера!.. А вот и он сам. В чесучовом, по сезону, кителе, в чесучовой фуражке. Лезет на трибуну. Ненавистная фигура с вдавленной грудью.

Рядом вздохнула старая женщина:

— Бедняжка...

Сайлихан усмехнулась: и из увечья выгоду извлекает. Прикидывается инвалидом войны.

— Товарищи! Наша родная Советская Армия... — начал, выставляя напоказ изуродованные руки.

— О аллах! — Сайлихан схватилась за плечо сестры. — Зачем дали ему слово?

Женщина, стоящая впереди, оглянулась:

— И вам дадут, если захотите.

Сайлихан промолчала. А на трибуне Махамадшер, ударяя изуродованным кулаком по вдавленной внутрь груди, громко заявлял о своей преданности Родине. Во весь голос кричал о том, как он гордится нашей Советской Армией. Сердце его переполнено — такие героические победы! Не говорил, а прямо песню слагал. Под конец, так же показывая свою изуродованную руку, поднял увесистый на вид бязевый мешочек.

— Возьми, пожалуйста, дорогой Исполком-ата. Берем их на свадьбу сына. Лишь бы вернулся жив-здоров, деньги найдем.

— А мониста возьмете? Монеты на них серебряные, — выступила вперед старая женщина. Та самая, что стояла около Сайлихан и пожалела Махамадшера, когда тот вышел на трибуну.

— Конечно! Ценим вашу щедрость!

Тут же председателя исполкома окружили женщины. Кто протягивал браслет, кто кольцо, кто серьги. Сайлихан тронула себя за мочку уха. Нет, она сняла с себя и серьги, и все украшения, что надевала ради Джалалхана. Зачем носить, когда его с нею нет.

Махамадшер победно оглядывал народ. Он все еще стоял на трибуне. Сам Исполком-ата задержал его там. Пусть народ видит и запомнит зачинателя большого патриотического дела.

Сайлихан задохнулась от возмущения. И как земля под ним не треснет? Не верьте ему!.. Обманщик!.. Сердце ее кричало. Передал сейчас Исполкому-ата «чисто-сердечный» дар. А что у него на сердце? Не эти ли самые скрюченные пальцы вчера на темной улице схватили ее за плечо, — отдай ему драгоценности!

— Чтоб ты пропал, двуличный! — вырвалось у Сайлихан, когда вместе с Карамат пошли с митинга домой.

— И кого же вы так? — удивилась Карамат-ая.

Сайлихан сгоряча выложила, что думала об этом «дарителе». И про встречу на темной улице рассказала.

— В самом деле? — в глазах у Карамат-ая блеснул недобрый огонек.

Не поверила ей Карамат-ая — так поняла Сайлихан. Она собиралась еще что-то добавить, а тут только рукой махнула. Конечно, кто ей поверит? Да и мало ли кем он был раньше. Перевоспитался, осознал. А теперь на деле доказал — все свои сбережения отдал на оборону Родины. Как же он не патриот? Так, верно, все на митинге решили.

Слова старшей, уважаемой подруги больно задели Сайлихан. И этот недобрый огонек, мелькнувший в ее глазах. . . Недоверие близкого человека особенно ранит душу. Ведь она же вывела ее из темноты на светлый путь — такую тогда беспомощную, бесправную. Она и паранджу скинуть заставила.

Мимо прошли две работницы, смуглые лица открыты, приветливо улыбнулись. А восемь-девять лет назад и здесь, в «Ривожи», многие женщины носили паранджу. Сайлихан даже подумать о таком не смела — чтобы выйти на улицу с открытым лицом.

Жизнь не щадила, кидала Сайлихан то в одно место, то в другое. Есть поговорка: «Куда ни кинь девушку, везде стелет паляк¹». Нет, она не пустила корни, не постелила паляк в доме Махамадшера.

Вернулась к отцу со всем скарбом своим и с грудным ребенком на руках. Родители не одобрили — нарушила старинный закон. Только Саттихан обрадовалась сестре. Вот кто заплетет ей наконец волосы в сорок косичек. К тому же забава появилась — маленький Ганишер. Утром девочка убегала в школу. А вечерами подсаживалась к сестре, помогала вышивать тесьму цветным шелком, узоры для бельбагов. . . Бывало, мастера по тюбетейкам заваливали их заказами. Если выдавалась свободная минута, Сайли играла сестре на дутаре. За зиму и ее выучила играть.

Голодный год остался позади. Однако опыт подсказывал — «на кончике иглы не проживешь». Сайлихан стала приглядываться к жизни, что окружала ее. Отец любил повторять: «Перевал осилит тот, кто движется». Она двигалась, днем и ночью не знала покоя. Но это слабо помогало улучшить ее жизнь. Подумывала: не встать ли ей за станок отца, стоящий без дела в сарае? Как-никак дочь ремесленника, труд знакомый. Но сырье?

¹ П а л я к — мягкая подстилка.

Чтобы купить шелк, нужны деньги... От всех этих мыслей голова пухла.

Однажды работала на айване. Весеннее солнце пригревало голову. И вдруг на дворе появилась искусница Карамат с двумя женщинами. Все три — молодые. Как всегда без паранджи, брови подведены усьмой¹.

— Как ни прячьтесь, все равно найду вас!

Они обнялись. Сайлихан и сама соскучилась по старшей подруге и наставнице и теперь радостно хлопотала.

— Сатти! Чайник неси!

— Нет, нет, мы по делу, — запротестовала гостя и даже курпачу не дала расстелить. — Пришли пригласить вас в «Ривожию».

— Ой, разве можно?.. — испугалась Сайлихан.

Оказалось, можно. Карамат-ая объяснила, что в «Ривожи» уже много женщин работает.

— Подумайте как следует и приходите. Я жду, — сказала на прощанье.

Отец противился:

— Против мусульманского обычая. Женщины должны сидеть дома.

Но разве дома высидишь что-нибудь дельное? Отец не работает, Саттихан еще маленькая. А тут Ганишера от груди отняла, питание требуется. Бог не бросит им манны с неба. На ней одной забота о семье. Через несколько дней ее навестили те две женщины, что приходили с мастерицей Карамат.

От дома до «Ривожи» близко, от силы две версты. Артель помещалась в мечети, где читали раньше хайит намаз. В бывшей молельне, во дворе, мастерская аврбандщиков. В старинной келье — красильщики. Большой айван заняли заготовители.

Работать начала на станке расправки вместе с мастерицей Карамат. Рядом у станков почти все знакомые — из одной с ней махалли. Быстро втянулись в работу.

На алом кумаче над воротами написано «Ривожи» — «Рассвет». И в самом деле для нее это был рассвет. Испуганная, плотно укутавшись в паранджу, чтобы не узнали, прошла она в эти ворота. И здесь нашла свободу, правду. Грамоте тоже здесь выучили. В ту же весну Восьмого марта Карамат-ая заставила ее сбросить па-

¹ Усьма — трава, от сока которой якобы густеют и темнеют брови.

ранджу. И счастье тоже здесь ее ожидало — встретила Джалалхана.

Да, хорошие были дни. Рассвет — лучше не скажешь. Восемь лет уже прошло.

Весь следующий день Карамат-ая на работе не было видно. Наверно, ходит по общественным делам. Она ведь их выборная: и в партбюро, и в месткоме. Вечером, выходя из мастерской, Сайли заметила ее в дверях конторы. Скорее опустила глаза и заторопилась мимо — будто и не видит. Остановил голос:

— За молодыми не уgonишься! Годы, годы сказываются.

Что делать — остановилась, заставила себя. Она почитала Карамат-ая за старшую сестру, а теперь, когда старшая больше не верит ей. . .

Мастерица Карамат поздоровалась.

— Пришлось из-за вас попотеть сейчас на бюро, критиковали меня.

— Вай, в чем же я виновата?

— Да в том, что в партию до сих пор не вступили. Так прямо на партбюро и указали. Передовая работница! Наравне с коммунистами несет тяжесть военных лет! И до сих пор не в рядах партии. Как это понимать?

Сайлихан растерялась. Все обиды на старшую вмиг улетучились. Не понять: шутит ли, всерьез ли говорит мастерица? Но раздумывать некогда, дома ведь малыши ждут. Сразу за воротами поспешила проститься.

— Матушка моя! — задержала ее Карамат-ая. — Мы с вами в работе заменили мужчин. Вот и в рядах партии должны заменить тех, кто ушел на фронт. Это задание бюро райкома. Подумайте!

Сайлихан кивнула, соглашаясь. Однако слова мастерицы привели ее в смятение. Торопясь домой, не сводя глаз с дороги, все думала. Ей в партию! С каким лицом? Она же обманула народ. Тогда, давно, во время обыска подтвердила, что украшения принадлежат ей. . . Конечно, эти серьги, кольца, браслеты — подарки первого мужа и его родных. Часть из них она сама отнесла в торгсин, получила за них муку. А потом Махамадшер ими же одарил ее. Значит, они взяты у государства! . .

Уложив детей спать, открыла сундук. На самом дне, под сложенным аккуратно приданым, рядом с голубым платьем, тем, что носила в первые дни после свадьбы с Джалалханом, лежала шкатулка. Скорее вытащить ее. Вот они, драгоценности. Усладой души были. Радовалась

в дни веселья. А теперь, после встречи с Махамадшером, тяжкий груз на сердце. Сунула шкатулку в черный кленчатый мешочек для продуктов, положила под подушку и заснула.

Утром направилась прямо в парткабинет. Там о чем-то Шадманова беседовала с мастерицей. Сайлихан положила на стол перед ними шкатулку с драгоценностями:

— Хочу отдать эти вещи их владельцу.

Женщины не поняли, переглянулись. Сайлихан волновалась, с трудом выговаривала слова. Но, кажется, в конце концов все-таки объяснила, какое у нее дело. Шадманова распорядилась, чтобы Карамат-ая проводила дарительницу до банка.

Когда сдала драгоценности, когда вышла из дверей банка, тут только почувствовала: на душе стало легко, будто гору свалила с плеч. И она ясно, отчетливо увидела вдруг лицо Джалалхана — он светло посмотрел на жену. Конечно же одобрил ее.

В эту ночь Сайлихан впервые за много дней спала спокойно и крепко. Она не услышала даже, как под окнами ее дома процокал конный патруль.

Во главе отделения ехал Эсанбаев. Он время от времени приостанавливал скакуна, зорко вглядывался в темноту. Ночь выдалась — ни зги не видать. Но ему знакомо тут каждое деревце, каждая дверь. Вон там у двери чернеет сури — Джалалхана сури. Сиживали тут с Джалалханом, было время. Сколько пиал чаю принял из его рук. А потом «отблагодарил» хорошего человека... Наркузи Эсанбаев сморщился, приложил руку к сердцу — каждый раз больно, как вспомнит. После, как понял свою ошибку, готов был землю носом копать. И копал, докопался-таки, выволоч на свет настоящих взломщиков, искупил свою вину. Джалалхан не держал на него злобы. Настоящий оказался джигит. А то такие тут есть. Бьет себя в грудь, кричит: «Родина!» — а сам за пазухой камень прячет. Эсанбаев привстал на стременах — впереди замаячила тень.

— Стой! — крикнул грозно.

Неизвестный рванулся в густую темень возле дувала и кинулся наутек. Эсанбаев пустил коня вскачь. Но тут неизвестный сиганул через дувал и исчез.

Невесело возвращался Эсанбаев с ночного дежурства. Когда подходил к гузару, его окликнул самоварщик:

— Не уставать вам никогда! Что-то вас не видно.

— Служба.

— Не обидьте, примите из наших рук пиалу, чай хо-
рош.

— Спасибо. Не горек ли твой чай?

— Как сказать... Стараемся, рады угодить хороше-
му клиенту.

— Ну, а как насчет бакиджана?

— Э-э, не водится больше этот кашляющий прибор.

В отставку подал.

— Жаль.

— А что, поговорить с ним захотели? Для вас разы-
шем. Вообще-то спроса на чилим-калян не стало.

— Да ладно, не надо. Так, душа потянула.

Эсанбаев с ночного дежурства обычно заходил в чай-
хану на гузаре. Пожимал руку двум-трем старикам, со-
биравшимся на перекрестке еще до рассвета. Выпивал
чайник особо заваренного для него чая и, подкреплен-
ный, уходил домой. Сегодня от чая отказался. А «баки-
джан», как называют чилим-калян курильщики, попро-
сил, чтобы отвести душу. Расстроила неудачная ночная
погоня, а тут еще начальник при докладе о ночном про-
исшествии больно задел: «Стареете, видать, старшина».

Наркузи-милиционер привык высоко носить голову,
а от таких слов начальника согнулся. Ему, чекисту, ве-
рой и правдой служившему Советской власти, бросить в
глаза: мол, никуда уже не годишься! Да он и в облаве
на Курширмата отличился, и кровожадного Холходжу
преследовал вплоть до того места, где бандит погиб под
оползнем, и еще... Но тут Наркузи-ака пресек воспоми-
нания. Сегодня ночью он действительно сплоховал. Гне-
дой вздыбился, напуганный взметнувшейся тенью. Пока,
натянув поводья, осадил коня, неизвестный успел скрыть-
ся. Теперь гадай: вор ли, грабитель ли вышел на ночную
охоту, а может, дезертир под покровом ночи вылез из
гнезда.

Эсанбаев невольно сжал кулак. Он пересек гузар, со-
бирался уже свернуть в боковую улицу. Однако что за
шум в магазине на другой стороне? Равнодушным никто
не назовет Наркузи-ака. Хоть и очень устал, заглянул
через приоткрытую дверь в магазин. За прилавком стоял
заведующий Махамадшер и грубо кричал на маленькую
старушку, стоявшую по другую сторону прилавка. Серд-
це Эсанбаева запрыгало, как скаковая лошадь. Прислу-
шался.

— Кто еще может отрезать, только вы!.. — пыталась что-то доказать старушка, стараясь глядеть прямо в лицо завмагу, куда бы тот ни повернулся. — Аллаха побойтесь, сирот обираете!

— Вон! Убирайтесь! Заморочили совсем. У себя под циновками пошарьте. Ваши внуки небось и отрезали! — кричал завмаг, вытянув шею.

«Внуки отрезали... Хвостом виляешь!» — поморщился Эсанбаев. Он уже понял, о чем речь. Старушка эта, мать фронтовика, получала на трех внуков кроме хлеба еще ежемесячно сахар, масло и другие продукты. Сегодня пришла отоварить очередные талоны, и оказалось, они уже отрезаны.

«Сирот обирать! Чтоб сгорел ты со своей алчностью!» — вспыхнул Эсанбаев.

А в это время Махамадшер вытолкнул старушку из двери. Тут уж Наркузи-ака не выдержал.

— А-а, кривая твоя душа! — влетел в магазин, хлопнул по пустой кобуре, приказал: — Топай!

Махамадшер от неожиданности подался назад, судорожно сглотнул слюну. Наркузи-милиционер! Всем в городе известен его нрав, а уж Махамадшер на опыте познал, на что тот способен. «И сам не возьмет, и другому мешает, тьфу!» — выругался про себя, но на лице изобразил сладкую улыбку:

— Будьте гостем...

— А ну, быстро!.. — прилавок затрещал под увесистым кулаком.

Мощный кулак стройного не по годам милиционера не на шутку испугал завмага. Вот-вот обрушится ему на голову, как палица. Поспешил навесить на дверь замок. Эсанбаев посмотрел направо, налево — надо бы позаботиться о старушке. Но ее как ветром сдуло.

Быстренько пригнал арестованного в отделение. Запер в подвале и — с докладом к начальнику. Рассказал о старушке, о нападении этого типа на Сайлихан, упомянул о его старых темных делишках.

Капитан, плотный молодой человек с густой шевелюрой «под ежик», стоял напротив. Ростом он и до плеча не доставал Эсанбаеву. Вперив немигающий взгляд в подчиненного, выслушал его и тихим голосом спросил:

— У вас все?

— Так точно, товарищ капитан! — Эсанбаев прищелкнул каблуками.

— Немедленно освободите задержанного! Его место займете сами!

— Слушаюсь! — старый солдат отдал честь и, печатая шаг, развернулся — «кругом!».

— На митинге были? — задержал капитан.

— Так точно, товарищ. . .

Начальник перебил:

— Кто же поверит вашей сказке? Человек на глазах у народа сдал в фонд обороны сумку, полную облигаций государственного займа, и деньги. Все слышали его пламенные слова. Настоящий патриот!

— На словах одно, а на сердце — другое, — попробовал возразить Эсанбаев.

— Доказательства? Они у вас имеются?

— Моя жена не соврет. Ей рассказала сама Сайлихан. . .

— «Сама»! — губы капитана скривились. — Это еще не доказательства. Идите! Извинитесь перед товарищем и займите его место.

Приказ начальника обсуждению не подлежит. Военная дисциплина. Эсанбаев выполнил приказ. Но прошения у вора просить! Такого этот «элемент» не дожидется. Пусть хоть голову снимут. Наоборот, провожая, поговорил с ним по-мужски.

— Эй, трус! — задержал на пороге. — Заруби себе на носу: Сайлихан — жена фронтовика. Если хоть волос на голове ее тронешь, свою голову потеряешь, понял? За нее есть кому заступиться, запомни!

Проводил завмага, а сам вернулся, обиженно ворча:

— Тавба! Хорошенькое дело! У этого вредителя прощения просить?! . . Да он вреднее жучка корни подтачивает. Рвач несчастный! На стариках и сиротах наживается!

Скверно на душе у старого милиционера-служаки, весь мир сделался темным, как погреб. Сколько времени просидел — не знает. Дверь открылась и закрылась. Наркузи поднял голову. Качнулась чья-то тень.

— Ха-ха! — вошедший присел на корточки и нахально уставился в глаза милиционера. — Вот это компания! Первый раз такое вижу. Не иначе, упустил, голубчик, птичку вольную, вроде меня?

Эсанбаев глянул исподлобья на насмешника. Хороша птичка. . . Скорее, бегемот. Отвернулся брезгливо.

— Прилетел вот к вам из Сибири, думал: перекантую зиму в теплых краях. Прямо скажу тебе, старичок,

не в восторге я от гостеприимства узбеков. Надо же, схватили и бросили сюда.

— Видно, за дело схватили?

— Хе-хе-хе! Если вещь без присмотра, почему не взять?

— В старые времена за такое руку рубили.

— Вспомнил тоже, дикость азиатская была. Теперь другое дело — перевоспитывают человека, вот как!

Отвратительный тип! Эсанбаев оторвался от своих горьких дум. Взглянул еще раз на наглуую рожу соседа по камере и усмехнулся.

— Чего скалишься?

— Историю одну вспомнил. Тут у нас в Ярмазаре колхоз есть. Председателя призвали в армию. На его место прислали одного грамотея из города. Вот новый обходит, значит, поля, подошел к рисовому полю, которое в тугаях. Видит: жнецы удобно так расположились под пологом и плов кушают. «Товарищи, пошевеливайтесь, не ровен час завтра начнутся дожди. Так и урожай может погибнуть», — увещевает их. Ушел председатель. Жнецы посмотрели друг на друга: не отругал ведь, значит, не к спеху. И спокойно заснули. Колхоз уже через неделю из передовых в отстающие перешел. Наверху всполошились. Государству нужна продукция. Вернули из армии прежнего председателя, выхлопотали броню. Идет старый председатель, обходит поля. Смотрит: что такое? Рис стоит нескошенный, серпы отброшены в сторону, а жнецы полеживают у хирмана. Тут он и завернул в несколько этажей. «Так вас растак и разэтак!» Жнецы сразу за серпы. Председатель ругается, — значит, дело спешное. Скоро колхоз опять в передовые вышел.

— На что намекаешь, начальник? — волчья ненависть, как лезвие кинжала, сверкнула в глазах вора.

Такой же точно взгляд метнул в Эсанбаева на прощание и Махамадшер, когда выходил отсюда. Одного поля ягоды. Только этот залезет в кошелек так, чтобы не заметили. А тот прямо из рук покупателя берет, на глазах обманывает. А потом еще и в героях ходит. Этот пользуется ротозейством. Тот — доверием покупателя. Этот берет только мелочь. А тот половину крадет, играет в крупную. Этот грубый, неотесанный. Тот — дипломат, в щель пролезет. Еще есть отличие: у этого физиономия, что называется, «кулака просит». Кто увидит, сразу за карманы схватится. Поэтому он и в камере. У того же лицо гладкое, одежда нарядная. Одно слово — «порум»,

франтом ходит. Речи бойкие. Сухим из воды выйдет. Жадного — купит, простака — заговорит. А на самом деле оба шайтану служат, оба — воры!

— Что же не отвечаешь, начальничек?

— А ты, оказывается, непонятливый. Я думал, гиря тебя только по лицу шлепнула, видно, и голове досталось.

— Ты, старичок, видел, как у жандарма кровь с плетки стекала? Вот ты и есть жандарм. . .

— Что-о-о-о?!

Эсанбаев, не помня себя, взмахнул рукой, и оскорбитель, точно мяч, отскочил и ударился в дверь.

Эсанбаев — за ним.

— Я, я — жандарм?! За Советскую власть кровь проливал, а ты меня — жандарм! . .

Он угрожающе поднял сапог, словно собрался раздавить извивающегося гада. В эту минуту с треском распахнулась дверь — и яркий фонарь ослепил глаза.

— Эй-эй! — остановил окрик.

Голос родной супруги. Карамат-ая пришла на выручку.

— Старшина Эсанбаев! Не забываетесь! — остерег и человек с фонарем.

Лица не видно, но по голосу — капитан.

— Как он смеет оскорблять! Вы бы и сами. . .

— Довольно! — прервал начальник. — Скажите спасибо Карамат-янге! Идите домой, отдохайте.

XII

Наступила осень, но дни стояли все еще знойные. По улице шел солдат. На голове пилотка, на плечах длинная шинель, за спиной походный вещмешок. Вот он свернул в махаллю Коваккайрагач. Ноги в грубых солдатских ботинках ступали тяжело. Устал, добирался сюда пешком от самого вокзала, взмок от слабости и жары.

У последнего дома по Садовой улице остановился. Увидел огромный замок на воротах и, словно утратив последние силы, медленно опустился на землю. Опираясь о столб ворот, ловил воздух открытым ртом, шептал что-то. Лицо посерело, на лбу выступили капли пота.

Прислушивался: не донесется ли из дома или со двора родной голос, не зашаркают ли знакомые шаги. Но лишь ветер свистел сквозь щели ворот, отнимая надежду.

Вздохнул солдат — поднялся, осторожно ступая, по-

шел вдоль забора. Где-то открыли дверь. Встрепенулся. Нет, никто не вышел на улицу. Сквозь щели в воротах видит — двор зарос сорной травой. Здесь обычно сажали кукурузу. А там, за рядом шелковиц с обрубленными ветками, хлопковые поля. И сейчас отсюда видно: между рядами ходят сборщики. Поставил ладонь козырьком: «Нет ли кого из нашего дома?» Надежда осветила лицо, даже румянец тронул скулы.

Дувал отделял их владение от тутовой аллеи. Солдат как раз дошел до угла. И тут показалось, будто кто-то окликнул: «Миралим!» Огляделся — никого. Но так явно слышал свое имя. Вспомнилось, как ласково звала его покойная мать: «Статненький мой, Миралимджан». Долго ждала она сына. А прожили вместе мало. Тридцать третий голодный год унес ее. Остались вдвоем с отцом. Трудно старому жить одному. Перед войной сам женил отца на незнакомой вдове. Что-то не видно их: ни отца, ни мачехи. Заглянул сквозь пролом в дувале. Двор как пустыня, похоже, давно не ступала нога хозяина. И погасла надежда, погрустнел солдат. Но ведь позвал же кто-то. С громко стучащим сердцем пролез сквозь дыру в дувале. Затрещали под подошвой сухие заросли бурьяна. Волнуясь, искал глазами самого близкого, дорогого человека. Нет, ни души. Дом с айваном посередине фасада глядит пустыми окнами. Одно из двух окон разбито, кое-как заклеено прозрачной бумагой. И вдруг подумалось: а станок, наверное, стоит целый, собранный. Заглянул в окно. Лоб коснулся холодного как лед стекла. Станок и правда стоял готовый к работе. С детства знакомая картина. Как сейчас помнит, было ему лет пять, зашел он сюда. А отец и спросил: «Ну как, сынок, научился уже завязывать лувит?» И подал ему пучок шелковых нитей — лувит. С того дня не разлучались, работали бок о бок. И дома в мастерской, и в артели. Он и научил сына мастерству аврбандщика — художника по атласу.

Отошел от окна, поднялся на айван. Бывало, взлетал сюда одним махом, а тут слабость одолела. Прислонился к балке. На вершок от головы — гвоздь. Обрадовался, как старому другу. На этом гвозде постоянно висел бязевый мешочек с сюзьмой. Мать выливала в мешочек кислое молоко. Кап-кап — капала-стучала сыворотка. Сюзьма в мешочке такая соблазнительная, чуть кислотная. И он не мог устоять. Когда мать, бывало, отлучится, обязательно сунет руку внутрь. Потихоньку

дошел до ниши на веранде. Когда повернул обратно, задел пилоткой что-то. Да это же знакомый крюк! На нем качалась когда-то люлька. . . Тот самый бешик, куда его укладывала мать. Бешик был веселый, весь в пестрых кружочках. Уже и большим мальчиком любил залезать в него, раскачивался. Все как сон. Совсем недавно мать ласкала его. Умерла мать. Стал джигитом. Воевал. И вот вернулся — искалеченный, полуживой. Двадцать один год ему, а уже седой, ковыляет, как старик, да к тому же заикается. . .

Еще раз печально оглядел веранду. Плоский замок на двери покрыт толстым слоем пыли. Давно же к нему не прикасались. Опять, как у ворот, подумалось о самом худшем. Нет, только не это — даже зажал рот рукой. . .

— Миралим! . .

Снова кто-то позвал! Под верандой стоял старик в черном халате. Шавки-лощильщик! Один из приятелей отца.

— Асса-са-лом алай-кум!

— Валайкум ассалом!

Миралим засуетился. Наклонившись над перилами, пожал руку и только тогда спустился с айвана. Шавки-лощильщик стоял, тяжело опираясь на посох.

«Постарел», — отметил про себя Миралим. Отец, бывало, шутил: «Наш Шавки знаменитый мастер, нет ему равного за пловом».

Работа мастеров по шелку тяжелая. Взять хоть ткача, хоть аврбандщика. Первый упирает в живот валик размером в ступицу арбы. Сматывать готовый атлас тоже большая сила требуется. Аврбандщик да расправщик с утра до вечера не разгибают спины у ручного станка. А о лощильщике и говорить нечего. Пяти-десятикилограммовый пресс не выпускает из рук, обрушивает на ткань удар за ударом, будь то атлас или бекасам. Если мастер не набьет хоть два раза в неделю как следует живот, пожалуй, и ноги протянуть может. Вот и вошло в обычай устраивать общий плов по воскресеньям и четвергам. Обязательно находятся спорщики: кто больше съест. Проигравший берет на себя устройство следующего плова. Шавки-лощильщик почти всегда выходил победителем. Уминал за один присест целый лаган плова — и хоть бы ему что. Да, он, вот этот самый худой человек, что опирается сейчас на посох.

— Ты, что ли, это? — спросил Шавки, сведя углом белоснежные брови.

— Не-ет, д-д-ух мой! — усмехнулся Миралим.

— Ишь ты... — старик оглядел его с головы до ног и, смахнув слезу, опустил глаза. — Жена тебя увидела и говорит: смотри-ка, перед воротами Ташпулата стоит солдат. Поискал ключ, выхожу, никого нет...

— Отец г-де?

Шавки-лощильщик вроде как не слышит, говорит о своем:

— Ну я хотел уже уйти. А потом тень твою из щели ворот увидел.

— Д-д-ома у нас к-то есть?

Шавки-лощильщик отвел глаза.

Посмотрел Миралим кругом: сарай в конце двора развалился, хлев и навес над воротами разрушились. И дом и двор — все в запустении. Разве мог отец допустить такое? И упал духом солдат, окаменел.

— Э-э, сынок, все мы в этом мире смертны. У всевышнего хоромы просторные. Бывает, увидит человек похоронку — и отойдет в другой мир. А тот, на кого была похоронка, глядишь, заявляется живой.

Миралим напряженно вслушивался в слова соседа.

— З-з-з-н-ачит, з-з-на-чит...

— Пойдем, дорогой, в наш дом. Там и поговорим, — Шавки-лощильщик засунул за пояс свободный, длинный, похожий на веревку из черной шерсти рукав и пошел к воротам. — Жене не терпится. Мать ведь она, о сыне спросить хочет.

За дастарханом Шавки-лощильщик и жена его поведали сыну все об отце. Мачеха, оказывается, увезла дочь в Ташлак. Не обошлось и без злословия: «Обчистили дом до ниточки!.. И четыре стены продали бы, если б покупатель нашелся...»

Миралим поморщился. Эх, соседи, соседи! Кому же еще владеть оставшимся скарбом, как не ей, она же хозяйка. А он сам: ноги целы, руки шевелятся, голова на плечах — проживет уж как-нибудь и без утвари.

Поднялся Миралим, даже ключ от ворот не спросил. Больно ему. Опоздал, нет больше отца. Потянуло увидеться с друзьями.

Около полудня вошел в ворота «Ривожи». Цеха расположены полукругом — входящий в ворота на виду. Мастерицы мигом заполнили двор, окружили вернувшегося «с того света» джигита. Ведь все знали, что на него пришла похоронка. Знакомые, незнакомые обнимали его. Многие плакали. Сайлихан обняла Миралима, а мысли

унесли к Джалалхану. Может, в этот самый миг он обливается кровью, зовет ее. Нет, не должна судьба без конца только наказывать. Вернется Джалалхан, и его будут встречать, как сегодня Миралима.

Миралим был первым, кто вернулся с фронта из мобилизованных в «Ривожии». Его жадно расспрашивали, каждый надеялся услышать что-нибудь о своем: о сыне, о муже, о брате. Парень еще не вполне оправился после контузии, к тому же и волновался очень, оттого часто отвечал невпопад, занкался больше обычного. Временами брови его как бы в недоумении взметались — и он будто искал кого-то. Сайлихан поняла его тревогу — сестры во дворе не было. Где же она?

Саттихан осталась в мастерской, тайком смотрела из окна на вернувшегося друга. Огромные глаза ее потухли и были совсем сухими. Только на кончиках черных-пречерных ресниц блестели слезы.

Когда услышала: «Миралим вернулся!» — первое ее движение было бежать навстречу, и она бросилась вместе со всеми во двор. Но ноги сами собой замедлили ход. Даже показалось, будто чья-то рука уперлась ей в грудь, и в голове загромыhalo: «Куда? Как смеешь показаться ему на глаза?» И она отстала, ушла в сторону.

Сайлихан так и застала сестру у окна. Ни слова не сказала ей. Да и что скажешь? Потребовать суюнчи за неожиданную весть? Она понимала, что чувствует сейчас сестренка. В цех вошли две молодые мастерицы, иронически посмотрели на Сайлихан, многозначительно переглянулись. Сайлихан тотчас, как наседка крылом укрывает цыплят, закрыла собой сестру и потянула к станку.

Миралим позже всех ушел из аврбандного цеха. Никто не заставлял его работать. Да разве время в инвалиды записываться? Решил сразу проверить себя. Пальцы, правда, дрожат, но карандаш рука держит и пучок шелковых нитей на скате связать еще может. Бездельники и аллаху надоели. Соскучился сильно он по работе аврбанлшика — художника по атласу. Но и другое держало. Дом пуст. Отца нет. Даже мачеха и та покинула их гнездо. Как вспомнит про запущенный, брошенный двор, тоска нападает. А тут и еще один удар пришлось выдержать. Увидел со спины молоденькую мастерицу, когда та выходила из ворот «Ривожии». Правда, только и мелькнуло перед ним много-много косичек, но сердце запрыгало, как пойманная птица в сети. Саттихан! Запешил, спотыкаясь в своих тяжелых солдатских

ботинках, пересек напрямик двор. На улице ее уже не было. Прошел по краю дороги, прячась в тени деревьев вперед, — девушка исчезла. «Ушла!» — прошептал. А чего ему ждать — инвалид, заика. . . Вот и остался в цехе. Рисовал какие-то линии, думал, вспоминал. Вот она играет с ним в прохладе крытого дворика уста Умара в лаббай — кидает плоский камушек. Маленькая пухленькая девочка в ситцевом платьице. В косички вплетен пилик — скрученная из ваты тесемка. А вот, озорница, требует, чтобы он показал свои зубы. «Ты, оказывается, укусил меня за ухо, когда я еще в бешике качалась!» А вот она стоит на берегу пруда возле «Ривожии». Это уже не маленькая девочка. Вытянулась, как стройное деревце, волосы — сорок косичек — прикрыты на макушке вышитой тюбетейкой. Почувствовала его взгляд, улыбнулась и сорвалась с места, побежала в цех. Улыбка тогда ободрила его. Он начал подходить к ней, здоровался, справлялся о делах. . . Потом его призвали в армию. Саттихан провожала до самого вокзала. И как побледнела, когда тронулся поезд. Он увидел слезы, да, она плакала. Сколько раз это ее бледное лицо со слезами на глазах виделось ему и согревало в трудные минуты. Видел он ее глаза и в последний миг, когда упал контуженый в землянке. Это было на берегу речки Мишковой под Сталинградом. С мыслью о ней возвращался и сюда, в Маргелан.

Миралим вышел из ворот «Ривожии» и побрел сам не зная куда. Горестные думы громким стуком отдавались в виске. Казалось, вдалеке стучат колеса поезда. Добрел до гузара. Знакомая чайхана. Зашел туда. Не помнил, с кем говорил, как пил чай. . . Одна и та же дума не оставляла. Саттихан прячется, избегает его. Что у нее на душе? Может, случилось что, пока его не было? Он и сам постарается не попадаться ей на глаза. «Забудь, забудь!» — говорил он себе. Но разве забудешь? Старается вспомнить о другом. Он много месяцев пролежал в госпитале, привезли ведь без сознания. Потом долго еще не мог шевелиться и говорить. Вот тут и пришла, видно, эта злополучная похоронка! Отец, отец! . . И опять — Саттихан. Потом вдруг вспыхнул в памяти салют. Он лежал уже в госпитале под Москвой. Родина славила своих сыновей. Салют в честь победы над немецко-фашистскими ордами на Курско-Орловской дуге. Перед глазами снова и снова взлетали ввысь ракеты, вспыхивали фонтаны искр и рассыпались по небосводу. И на этом свер-

кающем всеми цветами золота и огней небе он увидел все то же родное смуглое ее лицо. И вдруг осенило: перенести это видение на шелк... Новый рисунок атласа... Будет называться — «Салют»!

Волнуясь, поспешно достал из кармана гимнастерки записную книжку и карандаш. Руки дрожали больше обычного, с трудом сжимали карандаш. Линии получались кривыми, насакивали друг на друга. Он стирал их и начинал снова. Сердце радостно билось. Все новыми и новыми оттенками переливалась звездная радуга атласа, созданная его воображением. Уже давно село солнце, сумерки сгущались. На потолке чайханы желтела неяркая электрическая лампочка. Миралим ничего не замечал. Все чертил и чертил.

Когда утром Сайлихан вошла в аврбандный цех, она очень удивилась. Молодые ребята-ученики не стояли, как положено, у своих станков. Они толпились в одном углу. Явно взволнованные, вытягивали шеи, стараясь что-то рассмотреть. Подошла ближе. Миралим, отрешенный, не замечая никого и ничего, склонился над тандой¹. Крепко сжимая в руке карандаш, наносил какие-то узоры на шелковые нити, растянутые на основе. Мастер за работой! Ученики затаив дыхание следят за его рукой. Но видят только едва заметный след черного карандаша. Зато сам мастер, исполненный вдохновения, видит все. Для него каждая линия, нанесенная на шелк, каждая точка окрашена в свой цвет, перед ним струятся, сверкают, рассыпаются золотые фонтаны солнечных лучей.

Она дождалась, пока Миралим поднял голову, сказала:

— Отец как узнал о вашем возвращении, так обрадовался! «Слава аллаху, говорит, не погас свет у Ташпулата-уста». Очень горюет, что не может к вам добраться в Коваккайрагач. Слабый стал. Мечтает поглядеть на вас, поговорить.

Миралим, волнуясь, перебил ее:

— С-сам не д-до-гадался! — хлопнул себя по лбу, покраснел, даже кончики ушей зарделись.

— Уста Умар считает вас за сына.

— О-о-т-т-ец... .

Сайлихан страдала, видя, как он мучается, не может договорить слово до конца.

— Оо-тцом и я н-на-зываю его, — выговорил наконец.

¹ Т а н д а — нити основы, на которые аврбандщик наносит узор.

Сайлихан поразились: так говорил и Джалалхан уста Умару — «Отцом вас называю». А она посмеивалась: «Напрасно вы матери покоя не давали. Вот вам и сын».

Миралим еще пытался что-то сказать. Но Сайлихан не могла больше вынести, поспешила распрощаться.

У Сайлихан сегодня улыбка не сходила с уст. Получила письмо от Джалалхана. А в нем кроме карандашных строк его рукой еще и листок, отпечатанный по-русски. И такие там слова!.. Узбекский народ может гордиться своим сыном-артиллеристом Джалалаевым. Стоит подпись командующего.

Хотелось кричать каждому встречному: «Эй, вы, знаете, кто мой Джалалхан?..» Она и к Миралиму с этим пришла. Но не получилось, ему рассказать не смогла. Зато все остальные в «Ривожи»: чесальщики, мотальщики, довракеша, прядильщики, ткачи — были осведомлены во всех подробностях об этой бумаге.

Домой прибежала веселой. Но дети будто и не заметили ее радости. Были заняты делом. Яша, оказывается, упал в арык и теперь, с ног до головы измазанный глиной, блаженствовал в корыте с водой. Настя отстирывала рубашку и штаны. А Ганишер отмывал малыша.

Яша, держась за края корыта, протянул к ней грязные ручонки, хотел обнять за шею. Она успела ускользнуть и пробежала в дом. Подсела к зеркалу, прошептала: «Не постарела ли?» Нет, слава аллаху, только похудела немножко. Ужаснулась, заметив на виске блеснувший сединой волосок. Она теперь не завивает пряди, что опускаются к уху, — не до того! Улыбнулась своему отражению. «Буду улыбаться! Пусть посмотрят те, кто называл меня несчастливой», — это в адрес сестренки.

Достала из сундука яркий отрез атласа. Бросила через плечо. «Надену, когда вернется. Пусть этот буйный атлас заворочит взор его. — Глубоко вздохнула, губы скорбно сжались, чуть выступили вперед. — Лишь бы на счастье мое вернулся живым».

Джалалхан в каждом письме спрашивал о Ганишере, вспоминал и об Уктамджане. Он всегда любил детей. Про Ганишера писал:

«Угостит ли меня своим насваем? Приеду, уже большой будет».

Улыбка вдруг погасла. Запечалилась. Джалалхан в этом письме рассказывал, да с каким волнением, как он там, на войне, услышал крик новорожденного. «Жена партизана родила. Привезли из леса в село, где мы стоя-

ли. Изю дня в день видим смерть, душа очерствела. А тут вдруг — плачет новорожденный! Это в дни, когда кругом смерть. Представляешь, — пишет, — что должны были мы чувствовать?» А дальше: «Доброе желание — половина дела. Я вознес взор к востоку, раскрыл руки. О аллах, расщедрись, подари нам с Сайлихан таких вот младенцев. Хоть совсем немного. Дюжины с нас хватит. Как считаешь, не мало ли?» Вот так он всегда: то ли шутит, то ли всерьез. Но в конце письма вырвалось наболевшее: «Не говорил я тебе раньше, но сейчас, чувствую, пришло время. Когда отбивали мы атаки фрицев, вцепившись зубами и когтями в высокий западный берег Волги, здесь, в глубоком окопе, я не раз вздохнул, что не оставил после себя потомства. Плохо, когда человек уходит из этого мира, не оставив после себя следа».

Сайлихан перечитывала эти строки и смеялась, и плакала. По правде сказать, пока Джалалхан был с ней, она как-то не задумывалась насчет еще одного ребенка. Слишком мучительна была память об Уктамджане. Да и первая в ее жизни любовь закружила голову. Как ведь у них бывало — наглядеться не могли друг на друга, руки то и дело сплетались то на шее, то на поясе, точно шелковые нити на станке. Минуты, дни и даже недели проходили как миг. Что там недели, все годы, что прожили вместе, был единый счастливый миг.

«Пусть паду я жертвой твоей! — горячо вздохнула Сайлихан. — Только вернись живой-невредимый, порадуя тебя, постараюсь. Постарели мы, что ли? Потеряли надежду? Из наших десяти бутонов едва и раскрылись один-два. Придешь, все бутоны зацветут, как сад».

Губы ее пылали, глаза подернулись дымкой. Она, как всегда, когда думала о Джалалхане, посмотрела на его часы. Что-то насторожило и даже испугало. Атлас, перекинутый через плечо, соскользнул и упал к ногам. Торопливо сняла со стены, приложила к ушам — часы молчали. . .

Эти часы на серебряной цепочке. . . Их же передал ей из рук в руки Джалалхан, когда уходил в армию. Сказал: «Считай, я с вами!» С того часа и висели они на маленьком гвоздике, вбитом в стену. Были для них как живое существо, как равноправный член семьи. Часы ровно и четко стучали, и Сайлихан казалось, что она слышит стук сердца мужа. Она любила, бывало, когда он заснет, положить голову ему на грудь и слушать, как ровно, уверенно стучит его сердце.

Почему остановились? Она же утром, как всегда, завела их! Попробовала еще подкрутить. Нет, заведены до отказа. Качнула, приложила к уху — даже не звякнули. Очень расстроилась. Радости как не бывало. Тревога, сомнения, беспокойство постепенно одолели ее.

В комнату вошли дети.

— Вы трогали часы?

Ганишера испугало лицо матери, он никогда не видел ее такой. Мальчик взглянул на Настю. Настя, вытянувшись, посмотрела на часы. Сайлихан держала их на ладони, серебряная цепочка свисала между пальцами. Подоспевший Яша попытался схватить ее, и Сайлихан отдернула руку, повесила часы на место.

Весь этот вечер она была сама не своя. Если дети спрашивали о чем-нибудь — молчала, не слыша, или отвечала невпопад. «Видно, обиделась на нас», — шепнула Ганишере Настя и за всех попросила прощения:

— Мы больше не будем.

Уходя утром, сняла часы со стены, положила в сумку. После работы зашла на базар. Там у входа часовая мастерская. Горбатый мастер открыл часы, вставил в правый глаз выпуклое стеклышко, посмотрел и вернул обратно:

— Отслужили уже свое.

Сайлихан не хотела верить. Растерянно смотрела то на часы, то на мастера и наконец спросила:

— Совсем нельзя починить?

— Отчего же нельзя, на свете нет ничего невозможного, — ответил, не глядя на нее, горбун. — Камни стерлись, их следует заменить. А чтобы заменить, надо прежде всего найти. Ну, а для этого требуются деньги, и немалые. Часы швейцарские, «Мозер», — мастер склонил непомерно большую, с пышными кудрями голову к плечу.

Сайлихан поняла одно: часы остановились навсегда. Не услышит больше их спокойного, бодрого тиканья, которое так напоминало ей стук сердца Джалалхана. И вдруг испугалась. Стук сердца? Суеверно приложила палец к губам.

Сайлихан вышла на улицу и невольно опустила глаза. Край вытянутого вдоль горизонта вечернего облака светился, как сталь в тигле кузнеца. Так и шла опустив голову, погрузившись в свои думы. Чуть не натолкнулась на трех прохожих — еле плелись, заняли весь и без того узкий тротуар. В досаде подняла голову и тут же смягчилась. Между двух высоких спутников шел низкорос-

лый широкогрудый солдат. Пустой рукав кителя свободно болтался. Она услышала обрывок разговора:

— Армия, где я служил, оказывается, недавно перешла Вислу. Сейчас уже в районе Сандомира.

— Молодцы! — чуть наклонился к солдату худощавый спутник.

— Раз перебрались, выходит, там мелко? — поинтересовался белобородый старец, второй спутник.

Сайлихан как раз обходила их.

— Такая река, уста, и чтобы мелко... — протянул тонким голос худощавый.

«Может, и Джалалхан там? Тоже переправился через эту большую реку», — подумала Сайлихан. Большая река... Такую она видела только в кино. А здесь речки — Маргелан да Шахимардан. Волга! Вот где ширина! Сколько плывет по ней кораблей! И сколько тонет. Джалалхан воевал там. Не пропустил фашистов на другой берег. Волга крепко запала Сайли в память. Пылающий город на обрыве. Под ним широкая-преширокая река, подернутая рябью. Висла-река тоже как Волга? Как же переправились через нее молодцы? «Молодцы!» — она улыбнулась, печально повторив за худощавым прохожим это слово. Улыбка сняла тяжесть, давившую сердце.

«Пусть паду я жертвой за тебя, мой герой!»...

Вспомнила о Миралиме. Вернулся же. Никто уже и не ждал, и вдруг вернулся. В первые дни после возвращения Миралима очень тревожилась о сестре. Видела, что страдает. И сейчас еще беспокоится, не поймет сестренку. Миралим, сразу было заметно, тоскует, мучится непонятным поведением Саттихан. Она все еще избегает встреч с ним. Пойми-разбери ее. Вот на днях присмотрелась Сайлихан к Сатти. Что-то низко склонилась она над станком, долго завязывала порванную нить. Казалось, все внимание на разноцветной танде. Саттихан не замечала ее взгляда. Нет, не танда, явно мучило что-то поважнее, чем эти пестрые нити. Сомнения, надежды? Рассеянная какая-то и в то же время сосредоточенная. Может, решает и не может решить важную для всей жизни задачу? Лицо то загоралось надеждой, то меркло.

В тот же день в полдень шла Сайлихан мимо аврбандного цеха и заглянула в окно. Миралим склонился над тандой станка. В руке карандаш, а нити не тронуты, чистые. Лицо молодого джигита напоминало склоненное к станку лицо Саттихан. Так же быстро сменилось выра-

жение, казалось, что-то жжет его изнутри. Какая-то неведомая болезнь.

Миралим, видно, почувствовал на себе ее взгляд, поднял голову. Она отскочила. Однако он успел посмотреть на нее. Да так робко, стыдливо. Сразу поняла — он любит. Только у влюбленных могут быть такие задумчивые, тоскующие глаза.

К уста Умару Миралим заходит иной раз. Старик всегда радуется, когда видит сына своего старого друга. Он не теряет надежды. На днях сказал, когда Сайлихан пришла к нему: «Ташпулат был близкий нам человек. Лучшего друга у меня не было. Он хотел, чтобы мы породнились...»

И снова мысли перенеслись к Джалалхану — к ее другу, ее любви, ее счастью. И мысли эти были светлыми. «Пусть паду я жертвой твоей, — повторила снова. — Только бы ты был жив».

XIII

Ненадолго успокоилась Сайлихан. Увидит, хоть даже случайно, часы на серебряной цепочке — и сжимается сердце. Молчат... Остановились, не двигаются стрелки. Тревожно ей, места себе не находит, извелась совсем. «Не случилось ли чего?» — дома ли, на улице, на работе — везде преследует эта мысль. Открылась подругам-мастерам. Одна из них, круглотелая молодка Айпашша, посоветовала: «А вы погадайте, полегчает». В Ярмазаре, сказала, мулла живет, «исключительно проницательный». Зовут его — Насибулла. Не один год сиднем сидит, от мира ушел, святой. Тем, кто душой открыт, очень помогает: и от дурного глаза лечит, и на Коране гадает.

Сайлихан вздохнула и так посмотрела на товарку, что та без слов поняла. И сказала: «Хорошо. Вечером забегу к ним. Сначала надо посоветоваться с отин-буви». Отинбуви значит достойная, набожная женщина, какой и должна быть супруга святого муллы.

Прошел день, другой, третий... Айпашша только глазами показывает — все в порядке — и молчит. Сайлихан с трудом дотягивала до рассвета и за час до начала работы бежала в «Ривожню» — ждала. Ведь сама Айпашша тоже ходила к святому. Как в кино показал ей живого мужа — шел по лесу с какими-то боролатыми людьми.

И сегодня пришла раньше всех. Стоит у ворот, ждет. Вот и Айпашша. Шагает быстро. Увидела Сайли, махну-

ла рукой. Подошла вплотную, таинственно прошептала, подняв брови:

— Завтра.

— О боже! — схватила за сердце Сайлихан.

— Потерпите, голубушка. Одна ночь — не тысяча ночей. Домла с душой все делает. Всю ночь будет беседовать с аллахом всемогущим, с хизр Ильясом, со святым Гавсил Агзамамом, со всеми ясновидцами, а как же! — Айпашша поманила Сайлихан пальцем и зашептала в ухо: — Насчет жертвоприношения подумайте. Отин-буви поглядит вам в руки. Возьмет, но если душа ее не ублажена, закроет дверь. Скажет: «Идите. Домла сам посмотрит по книгам».

Сайлихан умоляюще приложила руки к груди:

— Конечно, конечно.

Назавтра после работы отправились в Ярмазар. Волнуется, узелок в руке дрожит, будто от воли «исключительно пронизательного» муллы зависит, вернется Джалалхан или нет. В узелке камзол из бекасама. Надевала, когда была невестой. Лишь бы Джалалхан живым-здоровым вернулся. Бог с ней, с этой одеждой!

По дороге Айпашша что-то говорила, наставляла. Сайлихан хоть и кивала головой, слов не слышала. Повернули в узенькую улочку.

— Пришли, — прошептала спутница, огляделась по сторонам и лишь тогда взялась за кольцо в старой изразцовой калитке.

Тотчас со двора донесся нежный женский голос:

— Кто?

Похоже, их не ждали.

— Мы-ы, — с почтением в голосе ответила Айпашша и шепнула: — Они сами.

Открылась калитка. На пороге стояла женщина в белом до земли платье и в белом же кисейном платке. Она показалась Сайлихан очень высокой. Лица ее в сумерках не разобрала. За ней, чуть в стороне, — пять девушек среднего роста. Послушно склонили головы, приветствуя гостей:

— Ассалам!

По одному только голосу Сайлихан догадалась — дети самой отин-буви.

Боясь отказа, поскорее сунула в ее руки узелок.

— Домулла справлялся о вас. Вы чуточку запоздали, — мягко укорила их.

Тут Сайлихан рассмотрела ее — смуглая, приятной наружности женщина лет сорока. Хозяйка кивнула им и направилась к маленькой двери в конце двора. Сайлихан сделала несколько шагов и остановилась в нерешительности. Айпашша подтолкнула — идите.

Отин-буви открыла маленькую дверь, оттуда пахнуло смрадом. Сайлихан оказалась в полной темноте. Куда попала? Сердце испуганно забилося. Что-то зашуршало в углу. Может, крыса? В тот же миг впереди замерцал свет — и нежный, успокаивающий голос отин-буви позвал:

— Идемте! Чуть пригнитесь, пожалуйста.

Согнувшись вдвое, Сайлихан прошла через дыру, прикрытую рогожей, в хлев.

— Баракалла! — услышала мужской голос. Испуганно оглянулась, но отин-буви исчезла, только рогожная занавеска чуть колебалась. — Садитесь, вот сюда, — приказал тот же голос.

Два больших глаза смотрели на нее. Посередине низкого широкого стола — лампа с прикрученным фитилем. Возле нее книга в кожаном переплете. «Коран», — поняла Сайлихан и немного успокоилась. Приложила руку к груди, опустила на колени.

— Илоха о-омине! — Она молитвенно раскрыла руки.

Рядом за саманной перегородкой жевала корова. У самой стены сложены вязанки кукурузных стеблей. За столом бородатый мужчина сидел, будто переломившись пополам, и читал коран. Одет в черный чапан, на голове чалма. Глаза его были закрыты. Сайлихан осмелилась и исподтишка оглядела его. Лицо этого человека поразило желтизной — как саман!

Он открыл глаза:

— Отин-буви рассказали о вас.

Перед ней сидел сам домулла Насибулла. Как уважительно называет супругу! Это расположило к нему Сайлихан.

— Пусть хоть сорок лет длится война, умирает тот, кому сие уготовано. Все в руках бога-вседержителя! — заговорил домулла. Голос такой же мягкий, как и отин-буви. Сайлихан совсем успокоилась, забыла, что сидит в каком-то хлеву напротив незнакомого мужчины. — Имя вашего мужа? — ласково спросил домулла.

— Джалал... Джалалхан.

— Правильно — Джалалхан. Красивое имя. Сам он тоже, конечно, красивый джигит?

Сайлихан потупилась.

— Так как же, красивый?

Она улыбнулась. Конечно, нет краше для нее человека, чем Джалалхан. Но вслух этого не сказала.

Желтое лицо домоллы на миг сморщилось от смеха.

— По сорок раз в день повторяйте: «Кулхуолло». Молитесь: «Поручаю вашим заботам». Всемилоствивший аллах сам защитит его, — наставлял Насибулла-домулла. — Вот я три года сижу здесь, света белого не вижу. Зачем? Уповаю узреть лик божий. В этой мечте день и ночь провожу в молитве. Потяните глаза, — протянул бельбаг. — О аллах всемогущий, пусть предстанет перед глазами этой женщины Джалалхиддин!

Торжественно провозгласив это заклинание, он быстро-быстро начал читать суру «Кахамулло».

Сайлихан нерешительно взяла бельбаг, взглянула с опаской на домуллу. Глаза его закрыты, губы шепчут молитву, сам тихо, спокойно раскачивается. И она успокоилась, завязала глаза.

— Крепко завязали? Смотрите, чтобы и щелочки не было. Положите правую руку на священный Коран. Хорошо.

Насибулла-домулла произнес: «Бисмиллахи рахмони рахим» — и зашептал новую суру.

Сайлихан в сильном волнении ждала — сейчас появится Джалалхан. Она вся дрожала. Напряженно вглядывалась в черную-пречерную тьму. Из какого угла он выйдет? Почему его все еще нет? Должно же свершиться чудо. Не зря ведь идет молва об «исключительной проницательности» домуллы. Увидела же своего мужа Айпашша.

Почему-то ей вспомнился суд в доме дехканина. Карамат-ая настояла тогда, чтобы она пошла: «Кто узнает вас в толпе?»

Как раз напротив нее стоял стройный джигит в старом халате из бекасама, в сапогах. Он упрямо тряхнул непокрытой головой: «Не брал я ни пригоршни этой муки, не сойти мне с этого места!» Не слушали его судьи. Посадили. Она сердцем чувствовала — приговор несправедливый. Это был Джалалхан. Прошла зима, весна... Сколько воды утекло в арыках. И вот встретились. Во дворе «Ривожин»...

Домулла все читал и читал суру за сурой. Даже дыхание один раз перехватило, уставать, видно, начал. А она все ждала, когда же этот ровный поток волшебных

слов заставит отступить тьму, откроется заколдованный замок и в воротах появится тот джигит — Джалалхан.

Еще одна картина представилась ей. Джалалхан попрощался с ней у ворот и пошел прочь. Она ждала — не обернется ли? И до сих пор ждет. Он там, она здесь. «О аллах! Дай нам свидеться».

Баюкающий голос наконец умолк.

— Невестка, что перед вашим взором предстало?

Сайлихан заколебалась. Что сказать? Айпашша видела, почему же она не смогла? Душу царапнула досада. Развязала глаза. Низко наклонясь над столом, на котором лежал Коран, на нее исподлобья смотрел домулла.

— Вас не кусала в детстве собака? — спросил вдруг.

Сайлихан растерялась.

— Да, кажется.

— Так я и понял. Зубы нечистой прикоснулись к вашему телу. Нет, не получится, — покачал головой. — Столько труда нашего пропало даром.

Сайлихан почувствовала себя виноватой.

— Обычно стоит мне только открыть священный Коран и заглянуть в судьбу, как человек предстает перед очами жаждущего. Пусть будет даже в месяце пути отсюда.

— Извините, уважаемый домулла, беспокоила вас.

— Ничего. Моя обязанность утешать таких, как вы. Многие навещают нашу хижину, из тех, у кого сыны, мужа на фронте. Случалось, и без вести пропавшие показывались. Вас с детства собака сильно напугала. Не печальтесь. Приходите еще. Помойтесь, покаяние чистосердечное поможет, — наставлял домулла. — Полезно пожертвовать немножко в пользу святых. И злым духам тоже неплохо жертву принести. Жертва — она от всех бед хороша. Обитель божия просторная, всемилостивейший аллах согласится принять.

— Благодарю, уважаемый домулла, — поклонилась Сайлихан и приготовилась встать.

Однако домулла все не раскрывал рук для прощальной молитвы.

— Кто бы ни явился в наш дом, никто не уходил без надежды. И вам еще удастся.

— Пусть сбудется, о аллах! — душа Сайлихан переполнилась благодарностью, слезы заволокли глаза.

— Молитвы мои очень действуют. Когда шли бои под Сталинградом, я, сидя здесь, повторял суру «Ясин». Почти тысячу раз прочел. И явился мне во сне мой покойный

отец, достопочтенный. С ног до головы — в белом. «Твоя работа? — сказал. — Продолжай!» Проснулся я весь в холодном поту, сердце стучит. Встал на молитвенный коврик, склонился в намазе. Понял: угодны богу мои дела...

Будто бельма спали с глаз — и она прозрела. Желтое, обросшее черными волосами лицо этого «исключительно пронизательного» домуллы теперь стало ей неприятным, даже противным. Было что-то знакомое в том, как он, говоря последние слова, скривил губы. И голос вовсе не мягкий, а вкрадчивый, притворный. И что она пришла сюда? Ничему, оказывается, не научила ее жизнь рядом с другим домуллой, бесчеловечным, лживым отцом Махамадшера...

Подальше от этого дома! Она быстро шагала впереди Айпашши. А перед глазами все маячило желтое лицо домуллы Насибуллы, преследовал смрадный дух темного хлеба. Зачем он там сидит? Прячется?.. От кого?..

Сайлихан открыла глаза. В комнате сумрак. «Облачно, что ли, сегодня?» Глянула в окно. Нет, просто рано проснулась. Первый солнечный луч уже играл на серебряной цепочке, подобрался к часам. Сайлихан все еще не могла смириться с этой утренней тишиной без привычного веселого тиканья. В который уже раз сняла часы со стены и, зная, что напрасно, все-таки приложила к уху. «Ну и остановились, что особенного? Они же не живые, обыкновенные железные часы...» — сказала себе и почему-то застыдилась, осторожно повесила часы на место.

Вышла во двор. Возвращаясь, замерла — под воротами что-то белеет. Письмо! Подняла поспешно. Почему почтальон не отдал в руки? Видно, бросил, не застав ее. А ночью, когда вернулась, прошла, не заметила. Не трюгольник, обыкновенный конверт. Значит, не от Джалалхана. От кого же? Вошла в комнату, зажгла лампу. Из военного комиссариата? Испугалась, руки дрожали, не слушались, разорвала конверт. Больно сжалось сердце. «Ваш муж...»

«О боже! — Она закрыла глаза, не смогла читать дальше. — О, всемилостивейший! За что? Чем перед тобой виновата?..»

Открыла глаза. Листок бледно-желтой бумаги дрожал в руке. Взгляд перескакивал с одной печатной строчки на другую: «...В бою за социалистическую Родину...»

верный воинской присяге... 19 июля 1944 года героически...»

Бумага выскользнула и упала на пол. Она замахала руками, словно отстраняя от себя что-то. Гнала ужас. «Нет!..» — отталкивала от себя. Не допустить, чтобы ужас проник в нее. И тут словно что-то оборвалось внутри. Ноги подкосились. Керосиновая лампа, карманные часы на стене — все закружилось перед глазами...

XIV

Поредевший в боях за освобождение Белоруссии полк, где служил Джалалхан, был переведен с передовой линии во второй эшелон. Батарея устраивалась на отведенном для нее месте.

«Теперь хоть портянки высохнут!» — рты у артиллеристов до ушей. Что ни говори, около двух месяцев не вылезали из болот! Каждый оружейный расчет должен был в первую очередь приготовить для себя огневую позицию, землянку, обеспечить укрытие для передка, для тяги. Наконец все было сделано. На огневых позициях оставили дежурных. Остальные — кто взялся за стирку, кто бреется, а кто устроился в сторонке, письмо пишет.

Джалалхан доложил командиру батареи — работы выполнены — и пошел к своим. А там два известных в отделении спорщика Белый и Усубали уже сцепились. Товарищи подзуживают, хохочут. Белый — это молодой белорус Петрусь. Весь белобрысый, даже брови и ресницы белые, отсюда и прозвище. Большой заводила. Любит подразнить. Усубали — солдат из Киргизии. Сегодня, когда пушку чистили, Петрусь пристал к нему:

— Ты, Усубали, для артиллерии ростом не вышел, просто удивляюсь, как тебя военная комиссия пропустила? В кавалеристы — это еще куда ни шло.

Усубали сердится, слов не находит. Но и сам при случае не упустит подколоть товарища. Как-то на походе толкали пушку. Петрусь возьми да и застрянь в болотине на обочине дороги. Подложили под колеса ветки, вытянули орудие. Потом Усубали Петрусю протянул палку, помог выбраться. Пока Белый выжимал одежду, Усубали качал головой:

— Такому, как мне, что — прицеплю бересту к подошве и шагай себе по болоту. А Белому, — он оглядел длинную фигуру Петрусю, — тяжело, однако, ой как тяжело! Долго тонуть будет.

Вот и сейчас препирались.

— Не пойму, чем вы живете у себя в горах? — не отставал Петрусь. — На камнях сеете, на камнях строите. Чем зарабатываете? Вот у нас земляца...

— А у нас!.. — мечтательно завел глаза Усубали. — Ручьи журчат. Вода прозрачная, чистая! В ущельях фи-сташки, орехи. Не видел ты нашего айла, значит, и на свете не жил. Мясо, масло, кумыс — животноводством живем. А у тебя что?

— На наших полях много чего растет. Бульба.

— У Белого бульба, — не отстает Усубали, — черная-пречерная, на таком самом болоте, видно, и растет, в каком давеча сам искупался.

— Росточком хоть и мал, а врет, как большой, — признал Петрусь свое поражение.

Усубали пришел в батарею с новой повозкой возле Воронежа после гибели Марди. Очень любил лошадей. Одна из них — рыжая со звездочкой во лбу — в его табуне выросла. Перед великой Курско-Орловской битвой сорок третьего артиллерийские лошади были заменены автомашиннами. Усубали плакал, расставаясь со своей Белой Звездочкой, долго обнимал за шею. Никак не мог забыть ее. По ночам снилась ему. И как шли через Пинские болота, не раз вспоминал лошадь. Особенно когда в последний раз тяжелый «студебеккер», тянувший пушку, по оси увяз в грязи, еле его вытащили. И он снова затосковал по своей рыжей и по ее напарнику — саврасому.

Болота форсированы. Пушки больше толкать не надо. Пришла пора почистить сапоги и одежду. Недалеко от расположения батареи белело на солнце зеркальце воды. Этот пруд вырыла бомба, а может, снаряд тяжелого орудия. Здесь много таких прудов — воронки быстро заполнялись грунтовыми водами.

Джалалхан направился к пруду — заняться стиркой. Лес кругом покалечен: деревья сломанные, обожженные, выдернутые с корнем. В выросшей заново зеленой траве белеют кости, скалятся черепа лошадей. Ржавые снаряды, разбитые машины, пришлось обойти даже полуобгоревший танк. Джалалхан задумчиво огляделся вокруг. На поляне, у края леса, лежала на боку изуродованная пушка без колес. Тяжело пришлось нашим войнам. Накануне войны стояла тут, видно, воинская часть...

Подошел к пруду, разделся. Солнце приятно грело спину. Издалека смутно доносилось частое щелканье зе-

нитных орудий-автоматов, напоминало — война еще не кончена. Достал четвертушку мыла, выданного старшиной, принялся стирать. Когда дошло дело до портянок, улыбнулся. Сайлихан спрашивала в письме: «Кто же стирает на вас?»

— Кому же стирать, Сайли? — сказал вслух и окинул взглядом развешанные на ветках белой березки белье, гимнастерку и брюки.

С брюк на траву стекала струйками вода — плоховато отжал. Он и дома помогал стирать большие вещи — чапан, камзол. Сайлихан противилась: «А вдруг увидит кто? стыдно». Джалалхан снова улыбнулся, прилег на траву. Показалось, слышит нежный голос жены. Как вошла в его дом, уже на второй день принялась стирать в корыте белье. Не успел оглянуться, она и ватник, в котором вернулся из лагеря, туда опустила. Он к ней — помогать. А она — стыдно, увидят! Муж, выходит, должен блаженствовать на айване и смотреть, как жена трудится над двумя полными стирки корытами? Да плевать мне на тех мужчин с червивыми головами, пусть стыдят. Она навела чистоту в его убогой хижине. Расплавила его окаменевшее сердце. Что он за муж, если не станет ей помогать? Джалалхан раскинулся под ласковыми лучами солнца, закрыл глаза, и пошли, побежали воспомина-

ния. Вспомнились первые дни после возвращения из тюрьмы. Открыл ворота — во дворе словно бурелом, так зарос. Подумал: «Сорняк и из камня вырастет на забытом человеком месте». В дом вошел — пусто, жильем даже не пахнет. Мать у него хворающая была, рано состарилась. Умоляла: «Пусть глаза мои увидят хоть свадьбу твою». Пожалел ее, незадолго до ареста женился. Свадьбу она увидела. Но арест сына добил ее. Умерла, не дождалась возвращения. И жена не дождалась. Ушла, оставив дом пустым. Быстренько и замуж по второму разу выскочила. Сестра говорила, будто локти кусает теперь его «бывшая». Кусает или нет, ему было все равно. Чашка разбилась, вновь не скленишь. Другое давило куда больше. Тем, кто его несправедливо осудил, объявлен выговор. Так ему рассказывали. Выговор!.. Хоть голову о стену бей с досады! Вот он и наладился тогда выходить на бойкое место — гузар. А что оставалось? На прежнее место пойти работать не мог. Эмтээсовцы не только не помогли, когда шел суд, еще и подтолкнули: пусть пада-

ет. Выкопали откуда-то, что старший его брат вместе с Мадаминбеком «служил в войске ислама». А о том, что Мадаминбек и верный его джигит — брат Джалалхана — перешли на сторону Советов, — ни слова. И про то, как бандиты курбаши Курширмата заманили этих двоих в ловушку в Вуадиле, как исполосовали ножами, а потом таскали по кишлакам их головы, насадив на пики: «Вот отступники шарията, продавшие веру большевикам», — об этом умолчали.

Душа Джалалхана изнывала, не было друга, которому мог бы поведать о своем горе. На гузаре все больше молчал. Сидел в углу чайханы, а в разговор не вмешивался. Потерял веру в людей. Но однажды...

Насибулла-домулла из Ярмазара, бывший имам мечети в своей махалле, повадился тогда на гузар в чайхану. Бритый — не узнать: ни бороды, ни усов. Однажды беседовал этот имам в чайхане с завсегдатаями. Джалалхан сидел в своем углу и вдруг:

— Видели? — домулла подтолкнул локтем соседа. — Дочь уста Умара из Ходайжайгаза! Отец из-за нее ослеп.

Молодая женщина переходила улицу, прикрыв лицо платком.

— Достопочтенный домулла, не ошиблись ли вы? — вмешался в его речь аксакал, сидевший скрестив ноги напротив. — Известно, что уста Умар ослеп еще до того, как дочь сбросила паранджу. Теперь ему лучше, врачи помогли.

— Ладно, — перебил домулла аксакала. — Оставьте отца. А что она с мужем сделала? Погрязла в грехах эта бесчестная. Сначала с трактористом сбежала, а потом сжила его со света. А когда ее взял замуж сын почтенного Сайфитдина-махсума, красноречивый ученый джигит Махамадшер, и его очаг испепелила. Многим, ох многим еще достанется от нее. Помните тогда мое слово.

«Он сказал — «с трактористом»! Джалалхан отставил пиалу, посмотрел на молодую женщину в белом платье. Она шла по противоположной стороне. Сердце екнуло: очень похожа на Сайлихан — вдову покойного Джурыпалвана.

— ...Хоть бы какой смелый джигит на нее нашелся! — продолжал Насибулла-домулла.

— Ну и что тогда? — не выдержал Джалалхан.

— Голову надо отрезать этой бесстыднице.

Домулла, сидевший скрестив ноги на почетном возвышении, поднимался надо всеми, как Азраил, вещающий о смерти.

— А с джигитом что будет? Артистку Нурхан вот так погубили брат с отцом, а как наказали их, помните? — вмешался тот же белобородый, сидящий в кругу.

Домулла взял с подноса урюк и начал молча перекатывать его во рту. Ободренный молчанием, аксакал распрямился, оперся о перила помоста и пустился в рассуждения:

— А как же его величество Адам и праматерь Хава? Ведь муллы, вроде вас, говорят, будто они совсем голыми спустились на землю. По воле бога! Адам не убил же праматерь Хаву, хоть и были у нее обнажены те части тела, которые по шариату положено закрывать. А, господин?

— Все от бога, — только и сказал домулла, продолжая сосать урюк.

— Достопочтенный... — не выдержал Джалалхан. Он весь кипел от возмущения.

— Да?

— А татары, казахи и наши киргизы тоже ведь мусульмане, а?

— Алхамудилло!¹ Да, они мусульманской веры. Татары особенно. Очень бывают набожны.

— А вот их женщины не носят паранджу. И татарские муллы их не осуждают. Отчего?

— Шариат... — заикнулся Насибулла-домулла.

— Разве шариат не один и для нас, и для них?

— Шариат не трогайте, богохульник! — Насибулла-домулла побледнел.

— А наговаривать на женщину, которая своими руками зарабатывает хлеб для семьи?.. — Джалалхан приподнялся на колени, наклонился к домулле. — Желать ей смерти, подбивать джигитов — это вам шариат предписывает? Вы и есть богохульник!

Джалалхан тряхнул рукой, будто пощечину влепил. Резко встал и вышел из чайханы.

Сначала шел как в тумане, а когда опомнился, оказалось, идет по следу — впереди развевалось на ветру белое шелковое платье. Остановился было — неудобно ведь. Он уже не сомневался — она! Но глаза стремились за Сайлихан. Спешит, по-девичьи тонкая, гибкая, тем-

¹ Алхамудилло — слава богу.

ные длинные косы выбиваются из-под платка. Вот свернет за угол, исчезнет — память чистой поры его юности...

...Нежность переполнила Джалалхана-солдата. Повернулся лицом вниз, обнял поросшую мягким мхом кочку. Все он помнит. Как побежал, забыв все, вслед мелькнувшему за поворотом белому платью. Там стоит большой белый тополь...

У тополя и настиг ее...

— Сайлихан! — тихо позвал.

Сначала она испугалась. А как же иначе — незнакомый мужчина бежит за ней! На счастье, узнала, хоть и темноло уже. Удивилась. Назвала по имени. Даже обрадовалась неожиданной встрече. Она же знала его еще другом Джуры-палвана.

Джалалхан проводил ее до дому. И как вдруг все для него изменилось! Будто простор открылся перед глазами. Вернулся домой. Вошел в ворота и не узнал свой двор. С шумом вобрал в легкие воздух — какой чистый! И место благодатное. Глухие заросли кустов инжира, граната, айвы показались в темноте райским садом. После того как из тюрьмы вернулся, первый раз с радостью вошел в свой дом.

Утром, чуть свет, был уже на гузаре. Опустошил чайник крепкого чая и — к шелкоткацкой артели. Там уселся под огромной чинарой — напротив красных ворот с надписью: «Ривожия». Ждал. Зачем — и сам не мог сказать. Рядом журчал арык. Луч солнца коснулся верхушки чинары. Заворковала горлица в ветвях.

Прохожих на улице прибавилось. В ворота «Ривожии» входят — все больше женщины. Многие без паранджи, но закрываются краешком платков, видны только глаза. Сайлихан все нет. Начал уже волноваться: а вдруг прошла — не заметил? И тут она показалась. Сердце Джалалхана так и устремилось к ней, а сам лишь на ноги поднялся и остался стоять под чинарой.

О чем-то оживленно беседа с подругами, она подошла к воротам. Сегодня на ней ситцевое платье в персиковых цветах. Но и в нем она краше всех. Ничуть не изменилась (не сглазить бы!). Даже веселей смотрит, чем раньше. Рассмеялась от души словам маленькой женщины средних лет — та шла рядом. И он, сам того не замечая, заулыбался. Затаив дух, потихоньку, чтоб не заметила, наблюдал за ней. Она прошла мимо него в ворота «Ривожии». Джалалхан вышел из своего укрытия...

Пришел домой — в дверной щели письмо. Оказалось, из МТС. Дождался — позвали наконец. В сердце снова шевельнулась обида. Да только пойдет ли он теперь к ним?

Назавтра с полудня засел в чайхане. Устроился на крайнем сури в компании знакомых джигитов. Если заговаривали, только поддакивал. Мысли — далеко, глаза — на дороге. Здесь и понял: трактористом — хоть и любит это дело — ему больше не быть. Никуда теперь не уйти от ворот с вывеской «Ривожиа».

Прождал долго. Сайлихан не появлялась. А если и появится — не преградишь же ей дорогу! Злоязыких, вроде вчерашнего домуллы, хватает. Мигом ославят, наплетут всякое. Нет, ему смотреть бы на нее хоть издали.

Зашло солнце. В чайхане загорелась лампочка. Он не вошел внутрь. Все сидел, опершись о перила сури, — ждал.

Так и не пришла. Не случилось ли чего?

Рядом ударил в колотушку ночной сторож. Только тут понял — ждал напрасно.

Встретился с ней во дворе «Ривожиа».

— Вот и я здешним стал, — сказал смущенно.

Подошла вчерашняя небольшого роста женщина.

— Карамат-ая — наша мастерица. Меня сюда она привела, — познакомила Сайлихан. — Милиционера Эсанбаева знаете, наверно? Карамат-ая его жена.

— Мы часто вспоминали о вас с Сайлихан, очень жалели, что все так вышло... Видно, судьба — встретились.

Джалалхан приложил руки к губам, потом к сердцу — поблагодарил.

— Спасибо. У вас, видно, душа добрая, не то что у вашего супруга Эсанбаева.

— Ох, почему так говорите? — забеспокоилась Сайлихан.

— На себе испытал. Рука у жестокосердных тяжелая. До сих пор ношу метку.

— Служба у него такая, братишка, — вступилась за мужа Карамат. — Милиция!.. А человек он прямой.

Она кивнула Сайлихан и, повернувшись, быстро зашагала к воротам. За ней вышли на улицу и они. Но мастерицы и след простыл.

— Обидели нашу Карамат, — укорила Сайлихан.

— Вот гляньте, если не верите...

На левой скуле Джалалхана чернела отметина величиной с монету.

— Он бил вас?

— Если бы только один он!

Тонкие брови Сайлихан сдвинулись. Вспомнилось, как ее пинал Махамадшер. Она сочувственно посмотрела на Джалалхана.

За разговором не заметили, как прошли немалый путь. Потом Сайлихан стала оглядываться, закусив краешек закрывавшего лицо кисейного платка. Опасалась разговоров. Скажут: «С чужим мужчиной гуляет!» А Джалалхану пришла на ум пословица: «Если кусок добыт честным путем, ешь хоть на улице». Тут же и спохватился: как бы не навлечь сплетню на ее голову. Иско-са посмотрел на нее. А Сайлихан поймала его взгляд. Неловко получилось. Заговорил неестественно бойко:

— Прождал вас вчера, а вы и не появились.

— Где? — удивилась она.

— На гузаре.

— И вы присоединились к таким?

— К каким?

Сайлихан сморщила нос:

— К тем, кто сидит днями на сури и, как пройдет женщина без паранджи, давятся от кашля.

— Нет, нет! — запротестовал Джалалхан. — Я как раз собирался как следует прочистить горло тому, кто так кашляет.

— На счастье, обошла я ваш гузар, — она покачала головой. — А то, пожалуй, кто-нибудь кашлянул бы... И повстречались бы еще раз с Эсанбаевым!

Джалалхан весело перевернулся на зеленой траве. Он смеялся. Вот как она с ним говорила!

А потом... Дня не проходило, чтобы не увиделся с Сайлихан — на дворе «Ривожи», на улице. А если вдруг не удавалось, сам заходил в цех — он же в артели механик. Но женщин не проведешь, насквозь все видят. Шуточки, смех — у Сайлихан только щеки горели. Озорные эти мастерицы!

Пришла осень. Однажды прохладился дома на сури под виноградным навесом. Во дворе приятно — полил кругом землю для прохлады. Заварил чайник и только поднес ко рту пилу — как сейчас помнит, — сам Эсанбаев, пригнув голову, вошел в ворота. При всем милицеском параде. На боку пистолет. И высокий — прямо те-

леграфный столб. У Джалалхана волосы на голове зашевелились: что еще уготовила ему судьба?

— Как себя чувствует джигит из джигитов? — поприветствовал милиционер издали.

— Спасибо...

Джалалхан проглотил слюну, но с места не двинулся. Эсанбаев подошел, улыбаясь. «Притворяется!» — решил Джалалхан. Посмотрел невольно на свои ноги — босые, не в сапогах. Под деревянным настилом — сандалии. Не дождался гость приглашения, забрался на сури, уселся, скрестив ноги.

— Шел мимо, дай, думаю, загляну. Не против?

— Милиционер-ака!.. — Джалалхан развернул скатерть, разломил лепешку. Налил в пиалу чаю глоток — выпил. Налил еще и подал — теперь можно и гостю.

— А дворик уютный себе устроил, — похвалил гость, крутя пиалу в руке.

Джалалхан промолчал. И что так двор осматривает? Двор у Джалалхана и правда опрятный, обихоженный. Вдоль дувала журчит арык. Айва на берегу склонилась под тяжестью урожая. Перед ней — плотной стеной кусты граната. Над сури нависли грозди винограда тайфи, горят как яхонт. С другой стороны хусайни — дамские пальчики, сверкают как янтарь.

Джалалхан перехватил взгляд гостя — любитесь виноградной лозой, кинулся рвать спелые грозди.

— Хватит, хватит! Спасибо, — еле остановил его Эсанбаев.

Отрывая от кисти и бросая в рот виноградины, Эсанбаев вдруг заговорил:

— Насчет той муки... Обидел тебя я тогда. Ошибся. Следы подвели, подумал на тебя. Решил, разбогатеть за счет государства хочешь. Прости, племянник, если можешь. А нет — так вот, — подставил щеку. — Влепи. Будем квиты.

Джалалхан ушам своим не поверил. Оказывается, он ошибался. Вовсе и не бесчеловечный милиционер Эсанбаев.

— Наркузи-ака, для меня почет, что вы — милиционер-ака — пришли вот так запросто в мой дом. Хватит и этого, — Джалалхан приложил руку к сердцу.

— Спасибо, племянник, — Эсанбаев все еще оглядывал двор. — Вот смотрю, место у тебя уютное. Есть где отдохнуть после работы. Вот если бы еще сюда молодую. Было бы кому встретить тебя, открыть дверь, а?

— Оказывается, наш милиционер в курсе всех дел: кто женат, а кто нет!..

— А ты как думал? Женатый человек связанный. У него забота — о семье. А холостой джигит болтается туда-сюда. Со скуки на улицу тянет. А там может и выкинуть что. Преступление — оно получается, когда цели нет, — очень серьезно сказал Эсанбаев.

Вот тебе и грубый человек!

— Послушай, племянник! Ты — половина, и Сайлихан — половина. Я человек прямой. Вот и скажу: из двух таких подходящих половин обязательно получится очень хорошее целое. Как смотришь?

Джалалхана в жар бросило. Не иначе мастерица-ая через мужа действует. . .

— Ну как, согласен? Я готов в сваты.

— Сердце старого уста лопнет от страха, когда увидит такого свата.

— Интересный ты! Я же пойду не милиционером, в гражданской одежде, — косматые брови Эсанбаева поднялись и упали.

Похоже, Эсанбаев задумал это всерьез. А вот сам Джалалхан растерялся. При жизни Джуры-палвана дом его был и Джалалхану родным домом. Часто заходил к другу своему и наставнику. И только мечтать мог — вот бы и ему найти такую жену, как Сайлихан. Да нет, не посчастливилось. И неопрятная попалась, и на язык резкая, да и к матери его непочтительна бывала. Оказалось, и мужем не дорожила. Как только его арестовали, шайтан уже тут как тут, завел с ней делишки! А все же обидно. Пришел на пустое место. Один-одинешенек, некому слова сказать. И в эту пору он встретил Сайлихан. Увидит хоть издали — и на душе посветлеет. Но Сайлихан — мечта. Иначе и не смел думать о ней. А что она сама скажет-подумает?

Эсанбаев по-своему понял молчание Джалалхана.

— Тот «порум» тебе не помеха, его приговорили за хищение к десяти годам. О той стороне и не думай. Все знают, почему Сайлихан оставила дом Махамадшера. И по-старому, и по-новому — ничто их больше не связывает. А ты не тяни.

Выходя за ворота, Эсанбаев еще раз сказал:

— Не тяни! Когда решишь, передашь через Карамат-ая. Все остальное беру на себя.

Ушел Эсанбаев, но огонь, зажженный им в сердце джигита, разгорался все ярче. Сайлихан — мечта его

жизни — и вдруг станет хозяйкой в этом доме. И что поразительно, об этом заговорил сам Наркузи-милиционер. А с виду такой грубый, и рука — тяжеленная, прямо полено.

Вот так коренным образом изменилась судьба джигита.

...Джалалхан легко вздохнул и поднялся. На березке трепыхалась высохшая одежда. С удовольствием натянул на себя все чистое. Опять на глаза попало разбитое орудие. Трава по колено, кусты. И не догадаешься, что здесь была огневая точка. Ловкие руки у артиллеристов. Но что же все-таки тут случилось? Передний стальной щит здорово покорежен. Орудие начисто выведено из строя. Как все произошло?.. Танки!..

Остался ли в живых расчет? Носок сапога задел что-то твердое. Казалось, за войну навиделся всего: и раненых, истекающих кровью, и мертвых. А вот дрогнуло сердце. Бруствер зарос травой, но все еще угадывалась его подковообразная насыпь. Спустился с внутренней стороны подковы, опять подошел к «дивизионке» — так ласково зовут артиллеристы свою пушку. Может, тут был и земляк? Маргеланец, наманганец или из Андижана? А может, с Урала? Или сибиряк? Был кому-то дорогим сыном. «Свет моих очей», — называла его мать. Это уж точно. И до сих пор кто-то, наверно, терпеливо ждет, нуждается в нем, невеста или та, что отдала ему душу... Снится им по ночам, тоскуют и — ждут. Может, дочка есть у него. Срывается на каждый стук двери, бежит навстречу почтальону — нет ли письма от него? Может, ошастливила его жена сыном? Продолжатель рода! Ходит сынок, высоко держит голову, гордится перед сверстниками — отец на фронте, бьет фашистов. Кто-нибудь да есть: родичи, друзья. Не может не быть. Должен остаться после тебя кто-то, чтобы вспоминал, повторял твое имя. Есть кто-то! Есть!

Джалалхан сел на лафет орудия. Под ногами истлевшие остатки кирзовых сапог.

Издалека донесся глухой взрыв. Война продолжается, и люди продолжают умирать...

Потом пролетели самолеты. Бомбардировщики возвращались с запада. В начале войны было иначе. Тогда черными стаями летели «юнкерсы» с крестами на крыльях. Теперь положение изменилось. Джалалхан с удовле-

творением смотрел, как летят среди перистых облаков наши самолеты. А с востока уже другая группа — понеслась в сторону заходящего солнца. Теперь так каждый день. Бомбардировщики, истребители. . .

— О чем задумался, сержант?

Из-за бруствера показалась голова Усубали.

— О тех, кто воевал тут три года назад, — ответил, глядя на пушку, Джалалхан. — Из моей Ферганы, или твоего Ала-Тоо, или из Сибири. За нашу землю сражались, значит, земляки.

— Это верно, — согласился Усубали.

Джалалхан нежно погладил лафет пушки. Перемахнул через бруствер. А приятелю не терпелось сообщить:

— Сержант, мы, оказывается, у пограничной линии.

Граница СССР! Вся территория Родины очищена от оккупантов! Волнение товарища передалось и Джалалхану. Три года и два месяца не щадили ни сил, ни самой жизни. Три года! . .

— Где, где она? — Джалалхан должен был увидеть своими глазами границу Родины.

— Говорят, поблизости, — Усубали махнул рукой в сторону поляны на краю леса.

Подошли бойцы.

— Сегодня праздник!

— У самой границы стоим!

— Старшина, не забудь — чтобы и ужин соответствовал!

Усубали смеялся:

— Ладно. Пойду, надо же и мне посмотреть.

Увидеть границу СССР, посмотреть собственными глазами! И Джалалхан загорелся. В сорок первом стояли летним лагерем вблизи границы. Но увидеть так и не пришлось. Какая она — граница такого великого государства? — задавал он тогда себе вопрос. Она представлялась ему в виде длинной-преддлинной цепи железобетонных крепостей, скрытых под землей и неприступных. 22 июня 1941 года такое представление о границе лопнуло. Гитлеровская часть вышла прямо к их палаткам. Горели овсяники, пылал лес. . .

Наконец-то увидит границу! Взобрался на высокое дерево, долго всматривался в сторону запада. Ничего не заметно. По нескошенному лугу дошел до недвижной, с застоявшейся водой речки, а может, длинно вытянувшегося пруда. Попробовал рассмотреть пограничную линию на том берегу. Ничего похожего, только луг и в версте от

речки черный лес. Тихо, ветерок не шелохнет. Черная вода неподвижна. Солнце печет так, словно хочет и тень спалить. Ласточки прочерчивают небо. Над лесом медленно поднимается гора белых облаков. Пожалуй, к полудню будет дождь.

Рядом застрекотало: то тише, то громче. Джалалхан остановился, прислушался.

— Ий-е, кузнечик! — обрадовался как знакомому. — А что, может, ты заблудился, мой земляк, прибыл из самого Узбекистана?

Кузнечик — символ мирной жизни, посланник нивы, склоняющейся под тяжелым урожаем, продолжает стрекотать. И так хорошо стало на душе у Джалалхана, безмятежно. И кругом так сегодня светло. Если бы не голова войны — они время от времени долетали сюда, — то можно бы и правда решить: здесь царит мир.

— Немного осталось, Сайлихан, потерпи... — заговорил Джалалхан. — Вот соберемся с силами, еще раз ударим — и конец.

А кузнечик все стрекотал. То бойко, а то совсем вяло: видно, и его донимала жара.

Но все же — граница где-то поблизости. Чуть нагнувшись, шел, вглядываясь в траву. Из травы торчит покосившийся столбик, то ли деревянный, то ли из бетона, весь порос мохом. Подошел ближе...

— Усубали! — закричал, радуясь, как ребенок.

Прямо перед ним под слоем сухой травы лежал полосатый пограничный столб Союза Советских Социалистических Республик.

«А-а-лии!» — эхом отозвался лес. Дождаться товарища не хватило терпения. Немедленно сам, без чьей-либо помощи водрузит на место государственный пограничный столб.

Сердце билось так, словно готовился совершить величайший подвиг. Ведь он сам — частица Родины.

Джалалхан похлопал ладонью по столбу. Вот бы видела его сейчас Сайлихан! Джалалхан ухватился за торчащий конец и резко поднял. Что-то треснуло, плеснуло в лицо огнем.

Когда пришел в себя, увидел в небе крупную белую птицу. Она махала крыльями в черных разводах. Аист, вытянув длинную шею и ноги, летел в сторону пылающего солнца. «На Самарканд! Марди! Да, так он сказал... На Самарканд...»

— Самарканд... — прошептал Джалалхан. Сердце громко стучало. — Сайлихан! — Он все следил за аистом. Тот удалялся... «На Самарканд»... Но почему белый аист стал вдруг красным? И небо тоже...

Усубали, когда позвал Джалалхан, развешивал на толстом суку постиранную гимнастерку. Вдруг грохнуло. Как был по пояс голый, бросился к месту взрыва. Джалалхан лежал, раскинув руки, а рядом со взрывной воронкой — пограничный полосатый столб. Прибежали еще бойцы. Когда подняли столб, обнаружился обрывок тончайшей проволоки. Джалалхан подорвался на mine.

О взрыве немедленно сообщили в штаб дивизии. Саперные части прощупали освобожденную от врага пограничную полосу. Сотни столбов были разминированы. Так одна жизнь спасла многие сотни других.

Похоронили Джалалхана в воронке, вырытой миной, у пограничного столба СССР. Огневой расчет почтил память товарища пятикратным залпом из автоматов.

Сайлихан о гибели мужа рассказал его боевой друг. Усубали после госпиталя по дороге в родной аил заехал к ней. Он был в январе сорок пятого ранен в правое плечо в боях за Варшаву.

— ...Изюминку пополам делили с моим земляком. Повидать вас, дженгетай¹, — долг мой перед другом, — закончил он свой рассказ. — А еще возьмите вот это, — достал из внутреннего кармана бумажный сверток.

Сайлихан протянула руки. Сердце сильно стучало. Она догадывалась, что там.

— В его вещевом мешке нашел. Был еще шелковый кушак, пришлось подвязать сержанту подбородок.

Волнуясь, разорвала пожелтевшие бумажные листы. Да, она не ошиблась: та самая тубетейка с маргеланским узором, на зеленом поле — миндаль. Да, да... Она сама ее вышивала, сама надела в день свадьбы на голову мужа, сама, провожая, положила на дно его походного мешка. Бережно провела рукой, стряхивая соринки, прижала к груди и замерла.

— Дай вам аллах силы, дженгетай! Земляк, наш сержант, видный джигит был, красивый... — Усубали умолк на миг, представил, как лежал Джалалхан, будто и не умер — спит, а рядом пограничный столб. — Достоянная

¹ Дженгетай — невестка (кирг.).

война смерть. Я так и сказал, стоя у могилы. И могила заметная — у пограничного столба, на самой границе нашего государства.

Что еще говорил Усубали, Сайлихан не слышала. Она была далеко — там, у пограничного столба, где покоятся останки ее мужа. Горестно качала головой, рыдания рвали изнутри, но глаза — ни слезинки, сухие-пресухие. Скользнула взглядом по сидевшему напротив товарищу Джалалхана. Правая рука висит плетью. «Почему, почему? — кричало ее сердце. — Пусть бы ранило, пусть бы инвалид, только бы вернулся. Поводырем, посохом стала бы ему!..»

После письма с извещением о смерти мужа все еще надеялась — а вдруг!.. Вернулся же Миралим. На поле боя, там миллион людей, ошибки вполне могут случаться. Вот и в квартале лошильщиков у старухи Холбу. Восемь месяцев носили траур, и вдруг — письмо от сына. И в Кувейте, она слышала, солдат, на которого пришла похоронка, сам явился в свой дом. И вот, нет больше надежды. Пришел человек, который — как он сказал? — «стоял у могилы». Сам хоронил Джалалхана. Она все противилась отцу, не хотела и думать о трауре по мужу. Теперь, пока Усубали не уехал, объявила траур. Вся махалла побывала у них. Люди хвалили Джалалхана: хороший джигит бы. Но что поделаешь. От всех болезней есть лекарства, от смерти — нет.

Сайлихан как окаменела. Принимала гостей, выслушивала печальные слова, но не плакала. Тетка Анзират — без нее ни одно дело не обходится — шептала на ухо: «Причитай как положено. Не одна ведь в махалле живешь! Что люди скажут!..»

Нет, на люди выносить плач свой не станет. Слишком велика любовь ее к мужу, чтобы ради приличия чтить память его. Он в душе ее, и там вся тяжесть. Давит, сжимает сердце. Места себе Сайлихан не находит. Ночью мечется в постели, сна нет. А забудется, тут же и проснется от собственного стога. И хотела бы, да не может выплакать горя. Тогда, как прочла: «погиб, выполняя воинский долг», — плакала много. И днем, склоняясь к станку, и ночью, сидя у изголовья детей. Видимо, все слезы выплакала — иссякла. Жжет и сердце, и глаза сухой жар.

Аксакалы исполнили все, как обычай требовал. К вечеру Миралим пошел проводить Усубали на джалалабадский поезд. Саттихан осталась помочь. Убрала дом,

спрятала посуду. И к десяти вечера ушли сестра с отцом. Пусто стало во дворе. Пусто и на душе Сайлихан.

В последнее время и в газетах, и по радио все чаще сообщалось о победах наших войск. Враги отброшены на западный берег реки Одера, до Берлина осталось семьдесят километров. К концу идет война. Пришла весна — она принесла людям радость победы. Конечно, и Сайлихан радуется. Счастливы те, к кому вернутся их воины. А ее воин не возвратится. . .

Посмотрела на детей — все трое спят, утомились.

Прошла по двору. Тронула рукой виноградные шпалеры. Как заботился о них Джалалхан, обрезал их, бывало, весной — вот в это время как раз. И опять — почему? Почему? Гремит в голове этот вопрос. Вдруг послышался ей тонкий, вкрадчивый голос: «Хоть сорок лет длится война, умирает тот, кому назначено». Выплыло из темноты желтое, обросшее черными волосами лицо и весь он — домулла. Сидит, прислонившись спиной к высоким, до потолка, вязанкам соломы, у стола керосиновая лампа с прикрученным фитилем еле освещает угол сарая.

Сайлихан застонала от обиды и стыда за себя. Скоро начнут вылезать из своих нор дезертиры. И этот «исключительно пронизательный» домулла Насибулла тоже вылезет на свет. Будут спокойно наслаждаться жизнью, обманывать простаков, утешать вдов, вытряхивать карманы несчастных людей. Пусть сгорит ваша жадность в огне!

Сайлихан схватилась за горло. Сорвалась с места, даже не накинула платка, выбежала из ворот. Она бежала. Куда? Не думала, ноги сами несли ее. Одна и та же мысль подгоняла ее: почему не разоблачила его тогда? Сказала бы Наркузи-милиционеру, он знает, что надо делать. Ведь догадалась же по желтому лицу домуллы, потому, что хоронился от белого света, тогда уже догадалась — обманщик он, дезертир. Чувство вины перед погибшими воинами, перед Джалалханом мучило, жгло ее.

Прикусила до крови губу. Боль привела в чувство. Подняла голову. «Дом дехкан»? Да, вот он стоит под сенью величественной чинары — бывшая мечеть, и окна освещены. Хлопнула дверь. Кто-то вышел. Трое военных. Поравнялись с ней. У двоих на плечах винтовки, у третьего, того, что посередине, — пистолет. «Патруль», — догадалась Сайлихан. Вот уже прошли, удаляются.

— Эй! — позвала Сайлихан. В голове созрел план. Торопливо кинулась за ними: — Эй, командир!

Военные обернулись.

— Дезертир!.. — выдохнула Сайлихан.

Внезапно встала перед глазами высокая фигура в белом — отин-буви и поодаль пять ее дочерей. «Проклянут!» Минутную слабость заглушила волна горечи, поднявшаяся от самого сердца. Пусть проклятие падет на их же головы. Люди проливают кровь свою, сражаются против беды, упавшей на голову народа. А их отец? Затаился, как крыса в щели. Мало того, еще и горе таких, вроде нее, в свою выгоду оборачивают. . .

На обратном пути патруль дошел с ней до начала ее улицы. Осталась Сайлихан одна и почувствовала себя так, будто вытрясли, опустошили ее. Ненависть, которая гнала вперед, придавала храбрости, исчезла. Словно все возмущение, злость остались на воротнике Насибуллы-домуллы, за который схватили его и повели в комендантуру.

Добрела до своего дома. Никто не встретит ее у ворот. Не улыбнется, не упрекнет даже: «Где ты бродила до полуночи?» Нет больше того, кто по глазам угадывал, что у нее на душе. Двумя словами умел прогнать усталость, улыбкой — разогнать печаль. Дети? Дети — другое. Никто не заменит ей потерянного друга. Она и он, их души как будто были созданы, чтобы жить вместе. Самый близкий, родной, чуткий, любящий и любимый человек! Нет его больше. . .

Часть вторая

I

Сквозь сон показалось — к ним стучатся. Проснулась. И правда, кто-то изо всех сил колотит в ворота. Наспех оделась, крикнула:

— Сейчас!

Открыла — Зульфизар! Волосы растрепаны, упали на лицо. Словно с той ночи, как позаботилась о ней Сайлихан, гребенка больше их не касалась. Вытаращив глаза, не переводя духа, выплеснула из себя:

— Война кончилась! — и разревелась.

Сайлихан застыла, ошеломленная. Не вспомнила даже о суюнчи — положенном подарке за радостную весть.

Зульфизар ушла. А Сайлихан все еще стояла у ворот, словно ждала кого-то.

Опомнилась. Час шел ранний. Однако кое-где уже хлопали створки ворот, люди возбужденно перекликались. Ноги Сайлихан подогнулись, присела на корточки, обняла колени. Покачала головой.

— Не вернется, — прошептала дрогнувшим голосом и вдруг отчаянно на всю улицу крикнула: — Не вернется!!!

На гузаре ликующе загромыхал репродуктор, сообщая, что заря нынче особенная.

Когда Сайлихан шла на работу, улицы уже запрудил народ. Волна торжества нарастала. Веселье догоняло и встречало ее. С базарной площади призывно дудел карнай, радостно заливался сурнай, дойра грохотала в экстазе. Сайлихан лишь ускорила шаг. По лицу текли и текли слезы, она не замечала их. Те, кто остался в живых, вернутся. А он не вернется, нет. Всякий раз, как мысль эта сходила с души на язык, Сайли вздрагивала — и новый поток слез застилал глаза.

Прошла неделя, другая. Стали прибывать отвоевавшиеся солдаты. В основном это были инвалиды, тяжело раненные бойцы, выписанные из госпиталей. Кто пришел из-под самого Берлина, кто из Вены, из Праги, Будапешта. То в одной махалле, то в другой затевался праздник. Щелкали крышки сундуков, давно стоявших под замком, хозяйки ворошили добро, стелили курпачи, сложенные с начала войны. Солдат, вчера пришедший в шинели, сегодня красовался в халате из бекасама и новой тубетейке.

Из-под самой Эльбы вернулся старший сын мастерицы Карамат. Сайлихан после работы забежала поздравить. Карамат-ая места себе от радости не находит. У Наркузи-ака щеки раздвинуты до ушей. Еще бы, все трое сынов остались живы-здоровы. Кому же радоваться, как не им? Норбута — первенец — уже дома. На груди сверкают ордена Славы всех трех степеней. Джигит стал хоть куда. Ростом высокий, весь в отца. Остальные двое закончили войну на берегу Желтого моря. Прислали весточку из Порт-Артура.

Спеша домой темными узкими улочками Маргелана, Сайли в отчаянии задавала себе один и тот же вопрос: «Почему?.. Почему я такая невезучая? Вот ведь ни во-

лоска не тронула война ни у одного из сыновей Карамат-ая!» Из переулка донеслись звонкие молодые голоса. Там под перезвон дутара и громыханье дойры пели «Ер-ер», свадебную песню. И опять это бесконечное — «почему?», сжимающее сердце. Какой бы у ее ворот был праздник, если бы вернулся Джалалхан! Все бы трудности сгнули, осталась бы только радость. Вот Карамат-ая, маленькая, быстрая, все бегаёт и смеётся, встречает гостей. Может ли быть человек счастливее? А ее опора, ее птица счастья, Джалалхан единственный!.. Нет его, сложил голову где-то...

И такой маленькой, беззащитной показалась сама себе Сайлихан. «О боже!» — схватилась за кончик воротника, горе душило ее. Нет, она никому не желает беды. Пусть вернуться все, кто ушел на фронт. Пусть будет в семьях счастье, веселье... Только Джалалхан, ее счастье... Где он?..

Сайлихан задыхалась, сердце колотилось — готово было выскочить. Опустила воротник, заметив тревожные взгляды прохожих. Ноги отказывались идти. Прислонилась к стволу черной ивы на обочине, отдышалась немного. За перекрестком близко уже ее махалля. Пошла. Ноги подгибаются, как у больной.

Оглушил громкий веселый смех. Невольно повернула в ту сторону голову. Там, за дувалом, пылала расцветенная лампочками шелковица.

«Одни смеются, а другие — плачут», — сказала себе Сайлихан, и представилась ей Зульфизар, как та бежала и плакала посреди дороги в то утро. Война кончена, но ей, бедняге, уже не дожидаться никого. Погиб муж, ее молодец Хатам, и сын — беспримерный красавец богатырь Джанджигит. Поглотила их прожорливая, ненасытная война. А Зульфизар мечется теперь, появляясь то на одной улице, то на другой.

Сайлихан просунула руку в щель двери, тихонько, чтобы не потревожить детей, сдвинула замок. Опять вздохнула:

— Кто-то плачет, а кто-то смеется. В этом мире всегда так...

Пришла на ум сестра. Просто как подумаешь: шайтан, что ли, опутал Сатти? Птица счастья сама летит в руки, а она упирается. Миралим — что за парень! И голова, и душа — другого такого не сыскать. Вернулся ведь, руки-ноги целы... Да и заикаться стал в последнее время меньше. А какой мастер! Не только в «Ривожии»,

во всей республике, наверно, нет более уважаемого мастера-аврбандщика. То и дело приглашают: то в Самарканд, то в Ленинабад. Вот и сейчас в Наманган уехал, попросили его тамошние аврбандщики поделиться мастерством. Новый образец создал — такой атлас, что у всех девушек и женщин теперь на устах.

Неделю назад в воскресенье пошла навестить отца. Открыла ворота и замерла. Нежно и грустно пел дутар. Неужели Миралим? Только он так умеет. В его руках и дутар, и танбур соловьем заливаются. Но тут вступил голос — жалкий, будто надтреснутый. Пела Саттихан, и на дутаре играла она сама. Сайлихан прислушалась:

Судьба! Обещала мне счастье,
А поступила иначе —
Уводишь куда-то друга...
Так говоря, я плачу.

«Тоже мне, расплакалась! — покачала головой старшая сестра, проходя по двору. — У нее-то горе!»

Однако, шагнув на ступеньку айвана, остановилась. Из дома волнами лилась печальная мелодия:

Если прошел он мимо,
Улицами иными,
К чему мне тогда игрушка,
Мое носившая имя,
Мои проливавшая слезы
Над горькой моей утратой.
Возми, получи обратно...
Так говоря, я плачу.

Голос у нее — заслушаешься. А тут еще боль, страдание — за душу берет.

Саттихан сидела одна на курпаче, облокотясь об узорчатую крышку сундука. Задумчиво перебирала струны дутара. Отца дома не было. С тех пор как настали «хорошие дни», почти каждый день в гостях. То сын старого друга вернулся, то брат или зять. Друзей-товарищей у него хватает. Вечерами, хоть и видит все хуже, обязательно сидит на гузаре в чайхане за беседой.

Саттихан оборвала песню, смутилась.

— Голосочек твой что колокольчик, — старшая обняла сестренку за плечи.

— Если бы не вы, может, артисткой бы стала, — ответила Саттихан, расстилая старшей сестре курпачу на почетном месте.

Сайлихан внимательно посмотрела ей в лицо. Неужели в душе Сатти все еще тот артист? Бог помог тогда,

в ненастную осеннюю ночь, уберечь глупышку от этого «султана среди султанов», от такого позора спаслась! Сайлихан не сомневается — знает, чего тот добивался. Султан Мурадов теперь в зените славы. Ее до сих пор дрожь пробирает, когда услышит, как поет-разливается он по радио о «свидании влюбленных», о «поре весны цветущей», а то еще наладил в последнее время — о неверности любимой. Вот и сейчас вспомнила его — и настроение у нее испортилось. Однако постаралась сказать шутливо:

— А кружок для чего? Если уж так жаждешь петь, запишись.

Саттихан порывисто поднялась:

— И запишусь! И петь буду! Можете обозвать меня последним словом, если не сделаю так.

Она повесила дутар на гвоздь. И тут в комнату вошел отец.

— Издалека учуял тебя, — сказал, как обычно.

Дочь обняла его за плечи, поздоровалась. Прошел на свое обычное место, сел, скрестив ноги, на курпачу. Молитвенно коснулся кончиками пальцев бровей и завел беседу:

— Ты слышала?

— Если об атласе «хасиятхан», то... — Сайлихан думала, что, как обычно, речь пойдет о Ташпулате-ака.

— Нет, нет, о матери того атласа.

— Какой матери? Разве атлас человек, чтобы у него была мать?

— А что? Род человеческий пошел от Хавы с Адамом, и у атласа тоже бывают родители.

— Да-а? — дочери не положено перечить отцу.

Во дворе что-то стукнуло. Уста Умар заглянул в открытое окно. «Миралима ждет-надеется», — поняла Сайлихан.

— Вот и говорю, еще дедушка Ташпулата, пусть земля ему будет пухом, — уста Умар провел ладонями по лицу, — поехал он в Сим-город. Который Фергана теперь зовется. Купить керосину понадобилось. Обрато к Маргелану путь выбрал покороче — тропками. Едет, тихонько прутником коня погоняет. Время подошло к полуденному намазу. Остановился на берегу озера — совершить омовение. Нагнулся к воде, а там полосатая тень. Тигр! Так подумал и упал без памяти.

Саттихан ахнула, испугалась за старого человека.

— Ничего, пришел в себя бува. Кругом тихо-спокой-

но. А на воде полосатая тень от камышей с противоположного берега, покачивается себе. Вот какой тигр оказался,— уста Умар затряс бородой в беззвучном смехе. — А еще, когда падал, опрокинул посудину с керосином. Вернулся домой ни с чем. Да чудной какой-то сделался. То вставал, то ложился, часами сидел, уставясь в потолок мастерской. Домашние за знахарем было собрались: может, помешался уста от дурного глаза. И тут призывает уста-буву к себе городской правитель. Оказывается, сгорел тот правитель от зависти. Приехал к нему градоначальник Андижана на двухколесной арбе, крытой шелковым верхом. А он, значит, градоначальник Маргелана, чем хуже? Словом, привели нашего уста-буву к правителю. Указал тот на свою арбу во дворе и требует:

«Сотки атлас для верха. Да, смотри, такой, чтобы, кто увидел, сгорел бы от зависти, понял?»

Поклонился уста и пошел в свою мастерскую. Опять в потолок смотрит. А на потолке — и этот страшный правитель, и пугающая тень на озере, и расплывающиеся пестрые круги. Настроил станок. Начертил рисунок. Краску, отбелку все приготовил сам. Расправил основу, принялся ткать. Дней через семь или десять выходит из мастерской с куском атласа в руке... А когда тем атласом накрывали арбу правителя, весь город сбежался смотреть.

Уста Умар качнулся. Редкие мохнатые брови вздрогнули. Тусклые глаза засияли.словно блеск замечательного атласа озарил их.

— Желтый цвет от того камыша — как золото. Листики — изумруды, бахрома — радуга. Вот и скажите, что потерял на берегу озера и что нашел старый уста?

Когда отец начнет вспоминать, его не остановишь. Кто на минутку заглянет, обязательно опоздает, если куда спешил. Сайлихан вернулась к себе поздно. Всю дорогу и дома продолжала думать о сестренке. Если уж сама она, Сайлихан, такая невезучая, не улыбнулось ей счастье, пусть хоть одна из сестер его получит. Что там у Сатти на уме — неизвестно. Но явно с возвращением Миралима ходит опечаленная, горюет. А возраст ведь какой — только радуйся да люби. Миралим за два месяца хорошо окреп. Румянец в лице появился. Вот только уж очень стеснительный. Сам первый боится протянуть руку. Может, и нашептали что ему в уши... И все равно любит он ее, глаза выдают. Оттого, может, и в команди-

ровку часто уезжает. Мучительно ему видеть, что Саттихан избегает его.

Нет, не должна упорхнуть птица счастья от сестры, твердо сказала себе Сайлихан.

Сестра сдержала слово, записалась в музыкальный кружок на второй же день после разговора с Сайли. Она с детства мечтала стать артисткой, и желание это не угасло. Прошло немного времени, и сделалась она красивой и гордостью художественной самодеятельности их артели. Но вот беда, не было у них пока опытного руководителя. Кружок, закрытый с начала войны, теперь ожил — по инициативе Карамат-ая. А сейчас Карамат-ая задумала, чтобы был в кружке настоящий учитель, специалист. И о чем она только не мечтает? Однажды в обеденный перерыв старшая мастерица позвала к себе Саттихан.

— Ты любишь музыку, поешь очень приятно, это мы все знаем. А скажи, хотела бы ты по-настоящему учиться пению?

Саттихан порозовела, темные ресницы прикрыли глаза.

— Понятно без слов, — решила по-своему Карамат-ая. — Вот и получай задание. Поедешь в областной театр и от имени парткома и парторганизации «Ривожии» попросишь, чтобы театр взял шефство над нашим кружком, ясно?

Ехать в областной театр, в Фергану? Она пыталась отказаться. Куда ей, она и убедать не умеет, только испортит дело. Какой из нее «дипломат»? Но Карамат-ая стояла на своем:

— Любишь петь, вот и постарайся для себя и для товарищей. А слова сами придут. Кстати, и машина от нас завтра в Фергану идет. Случай удобный, поезжай.

Саттихан долго не могла в тот вечер заснуть. Погасила свет и все лежала с открытыми глазами. Почему Карамат-ая остановила свой выбор на ней? В артели, да и в их кружке, есть девушки очень бойкие на язык, имеют опыт в разных поручениях. Может, думает: у нее в театре знакомые? И тут ей послышалось, будто кто-то шепнул в ухо: «Он там»...

— А где же ему быть? Артист должен быть в театре, — сказала она тихо.

В ответ тот же голос, вроде как из темного угла, ехидно хихикнул. Саттихан наморщила лоб. И в самом деле: сможет ли она взглянуть в лицо ему, если именно с ним придется говорить по поводу кружка? Да забыла она его, давно забыла. Права была сестра. Мимолетное увлечение избалованного вниманием певца. Поспешил тогда унести ноги. И не подумал о том, каково будет ей. То, что она осталась среди женщин, готовых ее съесть от зависти, это его не трогало. Был бы настоящим мужчиной, разве мог бы он так бросить ее?

Саттихан закрыла лицо ладонями. Больше двух лет прошло, а в памяти — свежо, никак не проходит та боль.

Назавтра, в воскресенье, поднялась спозаранку. Умылась, причесалась. Приготовила отцу завтрак. Сама за дастархан не села. Отец звал, но ей сегодня кусок не идет в горло. Перебрала свои платья. Вот самое нарядное, хоть и не новое уже, но из красивого атласа. Надела. Посмотрелась в небольшое зеркало на стенной полке. Провела карандашом по густым, широко раскинутым бровям. Подкрасила губы алой, как горный тюльпан, помадой. Вчера запаслась в парфюмерной лавке. Припудрила лицо. Попробовала вдеть в уши маленькие сережки с рубином — подарок сестры. Посмотрелась в зеркало и сняла: «На артистку похожа». Еще посмотрела и стерла с лица краску, даже умылась. В машине будут свои — бог знает что могут подумать. Карандаш для бровей, помаду и зеркальце положила в сумочку.

И вот она в Фергане. Шагает зелеными улицами, мимо старинных особняков и новых высоких зданий, но ничего не видит вокруг. Вся устремлена вперед, волнуется, чего-то ждет. Чего?

Вот и здание театра — белеет за деревьями сквера. Невольно замедлила шаги. Остановилась перед тяжелыми темно-коричневыми двустворчатыми дверями. Сердце стучало, и спина почему-то взмокла. Двери плотно закрыты.

— Касса открывается в двенадцать часов, — хриловатый голос привел ее в чувство. На нее смотрели из-под круглых очков ласковые глаза. Она и не заметила, как дверь открылась.

Саттихан объяснила, зачем пришла в театр. Мужчина в круглых очках пригласил войти:

— Подождите, скоро придут. Сегодня репетиция.

Войти в театр?.. Ей, одной? Она ощутила на лице, на обнаженных руках ни с чем не сравнимую волшебную

прохладу театра. Священное место! Нет, она лучше пождет на улице.

В сквере безлюдно, только воробьи суетливо перелетают с листа на лист. Тишина и особенно ласковый разговор с тем добрым человеком в круглых очках совсем ее успокоили. Даже заскучала от ожидания. Несколько раз обошла вокруг здания театра. Оказывается, тому, кто привык работать, безделье томительно. Прохожие почему-то оглядываются на нее. Она выбрала безлюдное местечко, присела на лавочку, закрытую полукругом кустов. Достала из сумочки зеркальце, помаду. Только приготовилась навести «красоту» — и вдруг краем глаза увидела: к ней нарочито ленивой походкой движутся двое парней. Саттихан испугалась, захлопнула сумочку и быстрым шагом направилась к главной аллее, там рядом и широкая людная улица. Подошла к центральной аллее, и вдруг откуда ни возьмись появился — он. Султан Мурадов... Сгорая от стыда и страха, искала глазами место, куда бы скрыться. Но он уже заметил ее и, кажется, тоже растерялся. Султан Мурадов шел со стороны главной улицы. Он был не один — пытался загородить собою высокую, тонконогую девочку с огромным бантом в волосах, в платьице выше колен. Девочка трусила с прыском по гравийной дорожке. А за ней появилась из-за кустов нарядно одетая дама. На голове — вышитая тюбетейка, а вокруг уложены короной косы. Все это вмиг схватила Саттихан и глазами, и сердцем. Он обернулся к спутницам, посмотрел на часы, приподняв рукав пиджака, и нетерпеливо сказал:

— Покупки на базаре сделаете без меня, я опаздываю на репетицию.

Женщина на мгновение растерялась, капризно качнула головой, что-то негромко сказала.

— Нет, нет! — тоном, не терпящим возражения, произнес Мурадов. — Я сказал: опаздываю, идите, — и протянул ей деньги.

Явно не удовлетворенная суммой, она взглянула ему в глаза, но ничего не сказала. Девочка продолжала прыгать вокруг. Ждала своей доли. Мурадов засунул пальцы в боковой карман, высыпал ей в ладонь горсть медных монет. Та бросилась вприпрыжку догонять мать.

Саттихан все видела. И все поняла. Не ребенок же она. Коротенькое, до колен, легкое платьице и огромная белая бабочка-бант скрылись из виду. Саттихан проводила девочку зачарованным взглядом, глубоко вздохнула

и повернула обратно. Она почему-то почувствовала себя в чем-то виноватой перед этой девочкой с бантом бабочкой. Даже сердце сжалось. Вдруг над самым ухом услышала вкрадчивый голос:

— Куда же? Мы ведь еще не поздоровались.

Султан Мурадов, улыбаясь, загородил дорогу. Раздался, однако, он за эти два года. И волосы, гладко зачесанные назад, поредели. Зашептал, будто бы с чувством:

— Наконец-то пришел наш день, дорогая! Встретились.

О, теперь она поняла его до конца. Ничего не ответив, посмотрела долгим взглядом и быстро зашагала прочь. Он так и остался стоять с растерянной улыбкой.

Она заставила себя зайти в театр. Пусть певец не думает, что кто-нибудь трепещет перед ним. Договорилась с администрацией — обещали помочь, взять шефство. Но пока они сами еще устраниваются. Их здание, с начала войны занятое военным гарнизоном, возвращено театру лишь недавно. Так что придется потерпеть, помогут обязательно.

Обратно поехала с попутной машиной, не стала дожидаться своих спутников. Всю дорогу ее лихорадило. То давала себе обещание выбросить этого «султана» из головы, навсегда забыть, то начинала строить планы мести. А когда поднялась к себе на айван, сказала сквозь зубы: «Представление окончено».

Вошла в дом, устало опустилась на курпачу у ниши. Тут же быстро поднялась, взяла из ниши толстую тетрадь, сюда она обычно записывала понравившиеся песни. Начала быстро листать страницы. Вырвала чистый лист.

— Пусть все узнает! — решительно тряхнула головой.

Взяла карандаш. Села на курпачу и задумалась.

Сайлихан была в курсе «командировки» ее сестры в театр. У нее был по этому поводу разговор с Карамат-ая. Сама Сайлихан очень надеялась, что эта поездка встряхнет сестренку и развеет «волшебные старые сны».

Вот уже месяц, как Миралим приехал в Наманган, но мысли, душа его остались там — в Маргелане.

Тихонько отворив дверь в комнату, вошел хозяин с чайником в одной руке и с двумя пиалами в другой. Салиджан-ака — потомственный ремесленник. Он заочно познакомился с Миралимом по его работам и сразу про-

никся к нему уважением. Встретив его на вокзале, привел к себе в дом и поместил в лучшую комнату — на все то время, пока гость будет в Намангане.

Салиджан-ака опустился на курпачу, поставил чайник, пиалы на дастархан.

— Что-то запечалились, уста? — глянул с любовью на гостя.

Миралим поднял глаза к еле светящейся электролампочке под потолком. Она висела на проводе как красная созревающая груша на ветке. «Не нравится освещение художнику», — так понял хозяин его взгляд.

— Горит ведь. А то всю войну сидели без света. Потихоньку усиливает напряжение, скоро загорится, как солнце.

— Пусть сбудутся ваши слова, — улыбнулся Миралим, а про себя вздохнул: «В комнате станет светлее, а в душе моей. . .»

Салиджан-ака уже в возрасте, борода с проседью. Мастера относятся к нему с почтением, прислушиваются к его слову. Хороший человек. Про такого говорят: душа нараспашку. Щедрый. Все готов отдать. Дед его был ткачом, отец мотал с кокона шелковую нить, пряд. Сам же он сейчас аврбандщик, бригадир. Пожилой мастер, а на гостя смотрит как на учителя. Каждый вечер переступает порог комнаты, спрашивает: «Если вы не прочь, хотел бы побеседовать с вами». Вот и сегодня, протягивая пиалу, сказал:

— Ваш покорный слуга из тех мастеров, у кого не было учителя, — приложил руку к груди. — Вяжу авр с давних пор. Один домулла, знаток фарси, объяснил мне значение слова: аврбанд. Авр, а точнее, абр, — это на фарси: облако, банд — соединение, связка. Но вот я до сих пор не уразумею: почему наша профессия называется «аврбандщик»? Вы из старого города мастеров. Если сочтете возможным, уста? . . — вежливо улыбнулся Салиджан-ака.

— П-пожалуйста, п-п-попробую, — ответил, слегка покраснев, Миралим, его смутила излишняя почтительность хозяина. — У нас в семье есть п-предание. От п-прадедов, — он помолчал, стараясь побороть свой недуг. Обещать-то обещал, но рассказ длинный. Не замучить бы Салиджана-ака. — Б-была весна, — решился он. — М-м-молния. . . — пальцем прочертил в воздухе зигзаг. — Дед нашего деда высунул голову из мастерской. . . Тут ливень. А там вышло солнце. Об-об-лака плавают. . . Прадед вер-

нулся в мастерскую. Так был создан впервые образец ч-черно-б-белого домотканого атласа. Уста смотрит то на атлас, то на небо. Облака повязал на шелковую нить! — Пиала в руке Миралима мелко дрожала, выдавая его волнение.

— Поэт был ваш предок! — Салиджан-ака покачал головой.

Так беседовали они до полуночи. Прощаясь, Салиджан-ака вознес молитву:

— Да поможет вам дух вашего прадеда.

Наутро, когда Миралим собирался на работу, в дверь осторожно постучали. Салиджан-ака вручил письмо. Миралим вскрыл конверт, сердце колыхнулось в груди. От Саттихан!.. Комната пошла кругом. Миралим прикрыл на минуту глаза.

— Все ли в порядке? — забеспокоился Салиджан-ака. Миралим счастливо улыбнулся.

В этот день мастер словно расцвел. Душа пела за работой, все время чему-то улыбался. От улыбки его словно осветились лица окружавших его аврбандщиков. Тонким, изящным получился узор для черно-белого атласа. Так создал он новый образец, за тонкость линии этот атлас получил позднее название «мелкая расческа».

Вышел Миралим из мастерской — на улице жара, пыльно. Душа запросила прохлады. Вошел в ворота парка и будто в другой мир попал. Озеро под сенью неохватных раскидистых чинар, берега зеленые-презеленые. У воды маленькая, словно игрушечная, чайхана. К ней прямехонько и направился Миралим. Нельзя сказать, чтобы жажда мучила. Нет, просто захотелось посидеть на берегу, подставив грудь прохладному ветерку с озера. Присел на краю большого дощатого настила над водой. Озеро тихое, спокойное. Днем здесь полно ребяти — плеск, крики, смех. А сейчас — никого. Проплыла внизу одиночная лодка, скрылась за островком. И долго еще слышен был стук уключин.

Ветерок, налитый ароматом цветов и прохладой воды, набегаем волнами, поглаживает влажную грудь Миралима. Невольно он расправляет плечи, вбирает в себя свежий воздух.

А ведь Миралим приуныл, утренняя радость исчезла. Голова полна тревожных дум, даже шея от тяжести их согнулась. Прихлебнул чаю, сидит, задумался. Конечно, письмо от Саттихан, сомнения нет. Ее почерк он знает, как свой. Но от чистого ли сердца? Может, близкие на-

доумили? Или из жалости к несчастному инвалиду? Он снова и снова вчитывается в каждую строчку, каждое слово, хочет проникнуть через эти скупые строчки в ее душу.

«...Простите, моя вина. Не зря говорят, волосы длинные, ум короток. Но вы — мужчина, до каких пор собираетесь молчать, будто воды в рот набрали? Уж лучше бы драться да ругаться! Я больше не могу, должна вам кое-что сказать. Приезжайте скорее!

И вот еще что: у нас начинает снова работать музыкальный кружок. Вы не забыли, что до войны вели его? Комитет комсомола постановил снова передать вам это дело, вот так.

Жду вас...»

«Приезжайте быстрее, — шепчет Миралим. — Жду вас...»

Весь день, даже когда руки были заняты работой, и сейчас перед глазами Саттихан. Видит ее то маленькой девочкой, как бросает она в очерченный на земле квадрат плоскую гальку — играет с ним в лаббай. То повзрослевшая, с сорока мелкими косичками — ходили тогда вместе в кружок. Пели, играли на дутаре. А самое яркое воспоминание — как она провожала его. Он стоял на подножке вагона, смотрел в ее поднятое к нему лицо. Глаза ее были полны слез, и он ясно видел в них: «Буду ждать». Поезд тронулся, набирая скорость, а она все бежала. Сорвала с головы красную в пестрых цветах косынку, махала ему. Так и помнил ее все время, пока воевал: глаза, полные слез, и яркая косынка полощется в руке.

А повоевать пришлось. Особенно жарко было в Донской степи. Их часть вышла наперерез мотомеханизированным соединениям врага. Фашисты спешили на подмогу армии Паулюса, окруженной под Сталинградом. Такая тут разгулялась огневая буря — солдат чуть поднимется, сразу же приникает к земле, будто сил от нее набирается. Копали окопы, соединяли их траншеями, чтобы слаженно отбить врага. Этим не ограничивались. Если позволяла обстановка, закапывались как можно глубже в землю. На голом поле земля — единственная защита солдата. И в бой поднимает, и сил придает опять же она — священная земля. А падет на поле боец, земля примет его прах. Вот так всю жизнь свою человек льнет к земле, дружит с нею. За пядь родной земли готов жизнь отдать. И сам, умирая, соединяется с ней, превращается

в прах, в землю. Недаром старики говорят — тело человека состоит из пыли.

Ночь напролет копали траншеи, сооружали землянки. А саперы ползком пробирались вперед, устраивали поля минного заграждения.

На рассвете земля и небо Донской степи содрогнулись. Лавина вражеских танков, катя впереди себя вал огня и металла, двигалась советским частям в лоб. За танками — автоматчики. «По пехоте огонь!» — Миралим и сейчас слышит голос командира роты. А потом. . . От грохота заложило уши. Дым заволакивал глаза, мешал дышать. И все равно, как бы ни слезились глаза, солдат внимательно следил за врагом, палец на спусковом крючке. И тут, среди грохота и пламени, мощная воздушная волна вырвала Миралима из окопа и бросила на землянку. Очнулся — кромешная тьма. Над ним рухнувшие балки и толща земли. Ни рукой, ни ногой не пошевелить. Задышется. Рот шепчет: воздуха, воздуха! . .

Второй раз открыл глаза — светлая палата. Тишина. Не слышно гула войны. В открытое окно заглядывает солнце, тепло. Зима прошла. Началась весна.

Его, заживо погребенного, вырвала из могилы трофейная команда. Хорошо еще, что каска на лицо упала, а то задохнулся бы. В госпитале отремонтировали и поломанные ребра, руки, ноги. Заново обучили говорить. Вернулся в Маргелан. А Саттихан. . . И на фронте, и в госпитале всегда чувствовал ее рядом. А тут, хоть и рядом живет, работает, а на самом деле очень далека.

Не Миралим вернулся с войны — тень человека. И смотреть на него людям тяжело, а говорить с заикой вдвойне тяжело.

Миралим прижал к вискам руки, закрыл глаза. Можно ли такого любить? . . Нет, из жалости к нему написала. Она — что весна! Черты лица безупречны. На что ей инвалид? Вот почему он старается как можно реже попадаться ей на глаза. В самое время пригласили на Наманганский шелкомотальный комбинат. Согласился, не раздумывая.

Уже месяц, как покинул дом. Наманганцы, похоже, ждут от него многого. А он еще ничего оригинального здесь не создал. Сегодняшний атлас, от которого здешние аврбандщики пришли в такой восторг, — это еще не тот новый образец, которым можно гордиться.

Миралим бросил деньги на перевернутую крышку чай-

ника. На вершине чинары, под которой сидел, мерцала звезда.

Берегом озера вышел на центральную аллею. К вечеру здесь стало многолюдно. Юноши, девушки — все в чистой, светлой, красивой одежде. На устах смех, в глазах огонь. Миралим почувствовал себя неловко. Он ведь пришел прямо с работы, в чем был. Поспешил свернуть в боковую аллею, там меньше света. Сделал несколько шагов и понял: приближается к цветнику. Розы! Это их ни с чем не сравнимый тонкий аромат. Знаменитый цветник Намангана. Кто увидел, на всю жизнь в плену, кто услышал об этом цветнике, стремится сюда — такая у него слава. Аллея вывела к обширным клумбам. Освещенные яркими лампами, покрытые росой, они радужно сверкали во всей своей красе. Сколько есть прекрасного в мире, сколько оттенков — все представлены здесь. Цвета эти то плавно переливаются один в другой, то спорят между собою: белый с красным, желтый с голубым — и все это радует глаз. Миралим остановился. Заботы, тревоги вдруг отлетели. Он наклоняется, рассматривает бутоны, разглядывает каждый листок. Ему хочется прикоснуться рукой, почувствовать их. Но бутоны так нежны и изящны, он не решается, боится нарушить эту красоту.

Миралим чувствует себя сейчас беззаботным мальчишкой. Цветы улыбаются ему. Что там улыбаются — они задорно смеются! И он подмигивает им, шутливо хмурится, что-то шепчет.

Вот он выпрямился. Медленно ступая, обходит цветник. Темно-зеленый камзол нараспашку, ворот белой рубахи открыт, обе руки в карманах брюк. Идет и насвистывает что-то веселое, озорное. Редкие здесь пары с опаской поглядывают на него и обходят стороной. Миралиму не до них. Перед глазами лишь цветы: розовые, рубиновые, белые, желтые. Шагает в такт своему свисту. Вдруг останавливается пораженный.

О всемогущий! — наклоняется к цветам.

Перед ним поле нежно-розовых колокольчиков — ночные красавицы раскрыли свои бутоны. Посередине каждого цветочка двойной пестик с золотой пылью, как светящаяся нить электролампочки. Колокольчики трепещут, излучая красно-розовое сияние, словно несчетные маленькие свечки. А вокруг — воздух, чистый, благоуханный воздух. И музыка. Это цветы, он сердцем слышит их тонкий звон.

Глаза Миралима, напоминающие обычно глаза лани, теперь округлились, сверкают пьяным блеском и голова чуть кружится. Он и в самом деле будто опьянел от этого благоухающего воздуха.

В эту ночь Миралиму не до сна. Мечется в постели, как влюбленный юноша. Хмель творчества овладел им.

Утром, когда встал, когда входил в ворота Наманганского шелкомотального комбината, и потом, когда натягивал шелковую основу на ручной станок, его не покидало радостное волнение. Он был счастлив.

II

Сайлихан вошла в ворота. В дальнем углу двора стоял Ганишер. Сейчас мальчик кинется к матери — так всегда встречал ее с работы. Нет, повернул к кладовке.

Она улыбнулась: «Ганишер собрался закончить дело, начатое отцом. Пусть твое благое намерение осуществится!» Сайлихан вытерла глаза кончиком платка.

Посреди кладовки на бревне висит стальная пружина-образец. Первое из рационализаторских предложений Джалалхана. Раньше для расправки ската на том ручном станке, который по старинке называют «рамой», чтоб отрегулировать натяжение, мастера подвешивали тяжелый камень. Джалалхан заменил камень пружиной. Была мечта создать новый станок. Ломал голову, как механизировать тяжелый процесс. Все, бывало, копается в металлоломе на заднем дворе артели. Выискивал подходящие ему железки. Найдет и тащит в кузницу. Накалив докрасна, сгибал, сворачивал, резал. Каких только причудливых фигур, бывало, не наделает! И все это уносил в свою кладовку. Часами, а то и целый день, если свободен, возился — «сочинял» свой станок. Остался станок без хозяина, начал уже ржаветь. Да вот, оказывается, молодой хозяин объявился. Ганишера теперь тоже не вытацишь из кладовки. Мастерит что-то, прилаживает к незаконченному станку. И Яша за ним, не отстает. Головку задирает и спрашивает о чем-то «мастера». Пусть мать будет жертвой за тебя, мой дорогой «уста»!

Поднялась на айван, сбросила туфли. Из комнаты вышла Настя — хмурая — и все отводит глаза в сторону да во двор исподтишка поглядывает.

Сайлихан не придавала значения — поссорились, это у них бывает. Вошла в дом. Ученик «большого мастера» Яша, раскинувшись, спал на курпаче. Весь голенький,

даже рубашонка задралась до самых плеч. Пухленький, беленький.

Сайлихан задумчиво смотрит на Яшу. Выправился мальчик. За этот мирный год весу набрал. Зерно, мясо, масло, правда, пока еще получают по норме. Зато фруктов уродилось богато. Хоть бы пригоршню шелковицы или кисть винограда дали, хватило бы до ее прихода. Сайлихан сложила курпачу, укрыла Яшу. «Только собой и заняты. И в голову им не придет, чтобы накормить малыша», — ворчала на старших ребят Сайлихан.

— Он кушал, — подала голос Настя.

Однако где же Ганишер? Посмотрела в окно. Стенело уже. Чем он там может заниматься в такую пору?

— Вы что, поссорились?

Настя опустила голову. Не хочет говорить, не надо. Все ясно и так. Сайли взглянула на Настино хмурое лицо и невольно вспомнила день, когда привезла детей с вокзала. Вот так, как сейчас, девочка и стояла тогда, хмурая, опустив глаза. Ганишер подошел к ней, хотел взять из ее руки мешочек. Как она завизжала: «Не трогай!» Прижала мешочек к груди. Берегла их общий дорожный паек: три ломтика хлеба, три кусочка сахара. Теперь, конечно, стала другая, прижилась, успокоилась. А нет-нет да прорвется характер — остался с войны. В такую минуту Ганишеру лучше не подходить! И укусить может, и поцарапать. Должно быть, и сегодня досталось Ганишеру, скрывает в кладовке следы ее зубов и ногтей.

Сайлихан вздохнула, спустилась во двор. Пошарила на очаге спички. Погруженная в свои мысли, не помнила, как и для чего взяла их. Нагнувшись, прошла под шпалерами винограда, остановилась перед настезь открытой дверью кладовки. Внутри темным-темно. Вошла, чиркнула спичкой — вот для чего, оказывается, и взяла их. Свет упал на красноватый камень под средней балкой. Там и лежит, куда положил его Джалалхан. Зачем принес сюда этот огромный, тяжеленный камень? Раньше камень висел на передней станине «рамы». А когда заменил его пружиной, притащил такую тяжеленную штуковину сюда. Чудные бывали привычки у мужа. Сколько лет уже лежит тут. Ганишер понимает что-то, глядит часто на тот камень, задумывается.

Спичка вся догорела, даже палец обожгла. Чиркнула новой. Эта, вспыхнув, потухла. За огромным железным колесом будто два горящих уголька сверкнули. Сайлихан поняла — там притаился Ганишер. Шагнула напря-

мик к сыну и ударилась плечом о среднюю балку. «Что еще за прятки!» — разозлилась и тут же сдержала себя. Сказала шутливо:

— Ловко вы схоронились, сынок, не найдешь!

Сайлихан, не оглядываясь, вышла из сарая. По шороху поняла — Ганишер, хоть и нехотя, плетется все же за ней. Облегченно вздохнула.

В последнее время Ганишер заботит ее. То один сосед, то другой требуют, чтобы утихомирила сына. И что такое с ним? Играет себе мирно в прятки и вдруг, кажется ни с того ни с сего, начинает ссориться с товарищами, дерется. Вчера разбил губу соседскому парню. Мать привела сына во двор к Сайлихан, ругалась:

— Кого растите? На прошлой неделе подбил глаз Хафизу, сегодня моего разделал в кровь, вон смотрите, и рот, и нос. Глядите, как бы не вышел из него. . .

Соседка не договорила. На что намекает? Вообще-то крови на том мальчишке вовсе и не было. Но губа правда опухла. А все-таки, наверно, неспроста Ганишер отдал и Хафиза, и этого парня. Отца-защитника в семье нет, вот соседи, те, которые поболтливей, и развязали языки, не иначе, городят дома что попало. А дети потом на улицу выносят. Чувствует она, вывели из себя Ганишера, он и кинулся, может, отстаивает честь своего дома. Зря он не полезет в драку. Она, конечно, не хочет и сына совсем уж оправдать. Наоборот, опечалена, озабочена. Недавно встречал ее, когда возвращалась с работы, на улице, в крайнем случае — у ворот. И сразу начинал выкладывать новости за день. В постель ляжет — и то никак не может угомониться, все расскажи ему да расскажи что-нибудь. Так и засыпал, шепча что-то. А теперь вон отворачивается. Смотрит так, будто камень за пазухой держит. «Большим стал», — успокаивает себя Сайлихан. А все равно тревожно, тоскливо на душе.

Дома поставила Ганишера и Настю лицом к лицу, начала суд:

— А ну-ка, говорите, что не поделили?

— Это она. Уходим, говорит, — Ганишер уперся глазами в пол.

— Не так, неправда! . . — завизжала Настя. — Я сказала, нас отец заберет к себе!

— Потихе, не кричите! Мои уши слышат.

— Да. Вот я и сказал: «А ты у моей матери спросилась?» А она: «Почему это мы должны спрашивать?» — «Никуда не уйдете без разрешения матери!» — я ей так

сказал. А у нее ни стыда ни совести: «Кто она нам?..»

Сайлихан засмеялась, но больно кольнули-таки Настины слова. Осторожно положила ладонь на голову девочки:

— Так ты и сказала?

Настя молчала. И тоже, как Ганишер, смотрела в пол.

— А потом я спросил: «А кто же она вам?» — «Просто тетя Соня!» — голос Ганишера задрожал.

«Просто тетя Соня», — прошептала Сайлихан. Бедный Ганишер! Обидно за мать стало. И за себя, конечно. Привык считать родными. Ничего еще не понимает. И в самом деле, если подумать: кто она Яше и Насте? Тетя Соня, и только. Мать никто не заменит. Спасибо хоть отец жив. Но обидно. Все, что зарабатывала, мучную ли похлебку, лепешку ячменную, все делила поровну между тремя. Все трое в эти трудные годы были ее родными детьми. И волосок с головы их не упал. Выходила, выкормила... Пусть растут дальше на счастье отцу! «Эх, дурачок мой!» — прижала к себе все еще насупленного Ганишера. Мать для него — самодержавный монарх.

Она и сама, когда объявился отец Насти и Яши, странно себя почувствовала. Конечно, обрадовалась, а как же еще? Но и сердце, однако, заныло. Как будто родное отрывают от нее. Столько ведь труда вложено. Теперь успокоилась, так и должно быть. Пусть отцу будет радость. Лишь бы «тетю Соню» не позабыли.

— Как скажет их отец, так и будет. Захотят — уйдут. Захотят — останутся.

Сайлихан подтолкнула Настю и Ганишера друг к другу:

— А ну, миритесь! Дайте друг другу руки! Вот, другое дело!

Дружба была восстановлена.

Старые обиды скоро позабылись. Оба, а с ними и вся ребятня махалли Узунхауз, стали ждать отца Яши и Насти. Дети сбивались в кучки то на одном дворе, то на другом, а чаще всего на берегу пруда, беседовали, расспрашивали Настю об отце и о том, какой долгий путь ему сюда ехать.

Вот и сегодня собрались на берегу. Ганишер сидит под толстой черной ивой, задумчиво кидает камушки в пруд и следит, как вздрагивает спокойная поверхность воды и расходятся кругами волны. Один из мальчиков спрашивает:

— А правда, отец увезет вас, Настя?

В какой уже раз задают ей этот вопрос!

Настя утвердительно встряхивает головой, волосы, сверкнув золотом, падают на лицо. Она отводит их за уши. Ребята смотрят на нее с восхищением. И вообще-то она всегда казалась им особенной, а теперь и вовсе — другая, ни на кого не похожая. Тонкие губы плотно сжаты, лицо худое, синие глаза умеют стать, когда захочет, холодными. Даже ноги, голые по колено, тоже удивительные — гладкие, как рукоять теши¹.

— Да, уедем, — как взрослый, поддерживает сестру Яша.

Тут все головы поворачиваются к Яше. Дети с уважением, отчасти и с завистью, смотрят на мальчика. Теперь ребята считают его своим сверстником.

Ганишер печален, не спускает глаз с воды. Настя нахмурилась, посмотрела на Яшу.

— Мы будем сюда приезжать.

— Да, будем приезжать, — согласился брат.

— А не обманываешь? — встрепнулся Ганишер.

— Пусть разразит меня гром, если обманываю! — клянется Настя.

— Ладно, пусть гром разразит, — Яша повторил Настину клятву и испугался, смотрит на небо.

В просвете между густыми ветвями ивы виднеется голубое-голубое, без облачка, небо. По правде, Яша боится грома. Ох как гремел гром весной. Яша забыть не может. Он убежал тогда в дом, с головой зарылся в курпачу.

— До самой смерти вас не забуду! — Вот какие слова сказала Настя!

У Ганишера даже мурашки побежали по спине. Он резко встал, поискал вокруг глазами. Под дувалом, на солнечной стороне рос янтак. Помчался туда, вернулся с колючкой в руке.

Встал перед Настей. В глазах вспыхнула искра.

— Вот как батыры скрепляли дружбу! — на пальце его выступила алая капля крови.

— Не колючкой кололи — кинжалом, в кино показывали, — усомнился один из мальчиков.

— Раз нет кинжала, можно и колючкой, — вступился другой.

— Ладно, сойдет и так. — Настя взяла колючку. Кольнула палец и позвала брата: — Иди!

¹ Теша — маленький топорик.

Яков, испуганно тарашась на колючку, шагнул назад.
— Да он же маленький, ничего не понимает! — за-
смеялись товарищи.

— Я не ма-аленький, — загундосил Яша.

А Настя тут как тут. Он даже вскрикнуть не успел — на подушечке маленького пальчика повисла капля крови.

И остальные дети протянули пальцы — уколоть. Лица стали строгими. Когда выступила кровь, прижимались пальцами поочередно к Настиному и Яшиному. Ганишер произнес где-то вычитанные слова обета:

— Наша кровь и душа едины!

Ребята торжественно повторили за ним заклинание. И Яша, протянув пальчик, пролепетал: «Наша кровь и душа. . .» — и шмыгнул носом.

Солнце зашло, стемнело, а дети все еще сидели на берегу. Разошлись только, когда матери и сестры отчаялись кликать их.

Удивительные дни настали в махалле Узунхауз. Мир и единство царили в ребячьей семье. И все-то они собирались вместе. Раньше, бывало, тоже сбивались в одну компанию, но почти всегда кончалось спорами, разделялись на два лагеря.

Иной раз и взрослые втягивались в эти споры. Выходило, как в поговорке: «Начнешь игрой, кончишь бедой». А теперь даже самые ярые противники Ганишера забыли о его кулаках. Все сплотились — все теперь друзья. Вечерами обязательно собирались у пруда, играли, беседовали. Если кому потребуется помощь, устраивали хашар. Родители нарадоваться не могли: «За ум дети взялись!»

Ребята часто разговаривали, как будут встречать отца Яши и Насти, мечтали. И взрослым хотелось посмотреть на отца живших у Сайлихан сироток. Активисты советовались даже, как бы организовать встречу на вокзале.

В один из дней дети, едва сделав уроки, собрались на берегу пруда. Ганишер первый увидел, как у их дома остановилась «эмка». Открылась дверца машины, показался военный высокого роста. За ним — человек в белом чесучовом кителе. Настя как раз держала Яшу за подол рубахи — не свалился бы в пруд. А мальчик, забыв все на свете, пускал по воде бумажный кораблик.

Приехавшие стали стучать в ворота. Ганишер крикнул, что матери нет дома.

Тот, что был в чесучовом кителе, оглянулся:

— Вот они! — махнул рукой в сторону пруда.

Ганишер как хозяин дома побежал к машине. А гости смотрели мимо него, на берег пруда. За Ганишером подбежали и окружили машину и остальные. Не поспевая за ребятами, старался не отставать и Яша. Настя держала его за руку.

Военный бросился навстречу, вытянул вперед широко расставленные руки, будто хотел поймать Яшу. Малыш увернулся, спрятался за машину. И что случилось с приезжим? Взрослый человек, да еще военный, и вдруг — заплакал. Смеялся и плакал.

Ганишер по погонам определил — майор! Звание каждого военного может с одного взгляда определить. Если посередине погона одна черта и на ней одна звездочка — это младший лейтенант. А когда две полоски и звезда крупная — то майор.

— Что прячешься? Это же твой папа, не признал? — говорил Яше гость в чесучовом кителе.

Осторожный Яша выглянул из-за машины, с удивлением посмотрел на высокого дядю, который зачем-то плакал. Странные бывают взрослые, никто его не ругает и не бьет, а он плачет. Настя тоже не подбежала к военному, не закричала: «Папа, папа!» — только смотрела своими внимательными глазами.

Майор присел посреди дороги на корточки, раскрыл объятия. Настя, медленно переступая, подошла.

— Ты узнала отца? Узнала, да?

Девочка молча кивнула головой.

— А как меня зовут, не забыла?

— Ипполит Макарыч.

— Умница! — майор прижался лицом к Настиному лицу. А слезы так и катились из его прозрачно-голубых, точь-в-точь как у Яши, глаз. — Не забыла отца! . .

Ганишер тоже шмыгнул носом. Еще бы, разве не обидно было бы человеку: вернулся с войны, а его родные дети не узнают.

Тот, который в чесучовом кителе, улыбался, глядя на майора. Подошел, что-то сказал, долго тряс, не выпускал его руку. Пожал руку и каждому из детей. Машина уехала. Отец Насти Ипполит Макарыч сел на приступке ворот, почему-то в дом войти не решался. Поставил вещмешок между ног, сверху положил скатанную шинель, закурил папиросу.

Хорошо, что их отец нашелся! — размышлял Ганишер, поглядывая на майора из-под еще влажных ресниц. Яша маленький, не понимает ничего. Бегает себе, перева-

ливается. Настя умная. Сколько раз видел, как она забьется куда-нибудь в угол и потихоньку плачет. «Обидели тебя?» — «Нет». — «Тогда зачем плачешь?» — «Мама умерла. А папа пропал без вести...» Очень умная девочка! Вот и пришел ее отец. Из города Порт-Артура приехал, с той стороны, где восходит солнце. Сначала гитлеровцев разбил, а потом воевал против японских самураев на Дальнем Востоке. Хорошо бы все так — возвращались с войны живыми-здоровыми.

Ганишер запечалился. Отчего в их дом не пришла такая радость? Он теперь знает, что Джалалхан был ему не родной отец. Соседи постарались, растолковали. И все равно он ему отец! И до сих пор, если услышит слово «папа», перед ним — Джалалхан. Помнит, как нес Джалалхан на плечах его, маленького. Это было на первомайской демонстрации. Незадолго до отъезда на фронт. Мать шла рядом в платье из желтого атласа, на голову надела белый шелковый платок. А сын и отец были одеты одинаково. На отце брюки из чесучи, и на мальчике такие же брючки. И рубашки одинаковые — шелковые. Оба в новеньких тубетейках. С плеча отца Ганишер видел всю демонстрацию. И тех, кто стоял на трибуне. А какое потом представление началось! Артисты пускались в пляс, играли на дутаре, сурнае. А дойры как грохотали! И еще физкультурники выступали в коротких штанишках и в майках. Никогда не видел такой замечательной демонстрации. А потом пошли все втроем в парк. Там тоже было представление. И все, что он ни попросит, отец покупал. Даже леденцы. Так и таяли во рту. А мороженого съел столько, что на другой день говорить не мог, только хрипел. Вот какой добрый, хороший был у него отец. А еще кто-то говорит — не родной.

Ипполит Макарыч сидит у ворот, не спеша потягивает папироску, и невдомек ему, что разрушил планы активистов. Они ведь специально собирались, обсуждали — готовили встречу. Сидит и улыбается, все смотрит и смотрит на Яшу — сегодня майор самый счастливый человек на свете! А в голубоватых прищуренных глазах нет-нет да блеснет слезинка. Яшу смущает пристальный взгляд военного, он прячется за спины ребят, но любопытство берет свое, пухлая с круглыми глазками рожица выглядывает и тут же снова прячется.

Майор докурил папиросу, встал, придавил окурочок каблуком сапога, одернул назад складки гимнастерки. Солнце осветило его, и на груди сверкнула колодка орде-

нов и медалей. Ганишер заморгал глазами. «Раз, два, три... Ох-хо! И его отец, если бы возвратился с войны...» У мальчика сжалось горло. «Эх, если бы!» Он знает, уверен, у Джалалхана на груди тоже блестили бы ордена и медали, обязательно...

— Мама твоя далеко? — прервал его думы майор.

Ганишер воспринял этот вопрос как приказ к действию и побежал вперед, к «Ривожи». За ним по улице команда со всей махалли. Впереди колобком — Яша. Окруженный мальчишками, рядом с Настей шагает высокий военный. Через плечо — вещмешок и скатанная шинель. Яша босиком, можно сказать, голенький, если не считать трусиков. Желтоватые волосенки развеваются в стороны. Дети полны гордости — сопровождают такого большого человека. Он же герой, побивший фашистов, и так запросто идет рядом с ними. Каждый старается как-нибудь отличиться — чтоб майор увидел. И майор каждому улыбается, гладит по голове.

И снова сердце Ганишера громко стучит. Глаза туманятся. Вот если бы его отец пришел с фронта. Они тоже шли бы по улице — к матери, в артель. И Ганишер уже воображает, что так они и идут сейчас. И это им улыбаются, приветствуют их соседи, из-за дувалов провожают их глазами женщины, за ними бегут дети... Нет, это Настин отец. Ганишер очень рад за Настю, за Яшу. Эх, да что говорить! Если бы и у них... Как была бы рада мама. Уж наверно никогда бы больше не плакала...

А мама все-таки всплакнула. Когда поняла, кто этот военный рядом с Настей, что с ней сделалось! Обрадовалась и испугалась — все вместе. «Значит, заберет!» — сердце ее упало. Из глаз покатались слезы. И тут она вдруг увидела Яшу.

«Босой, нагишом... Вай, несчастная!» — ущипнула себя за щеку. Что подумает их отец? Не могли одеть ребенка. Она с укоризной посмотрела на Ганишера. А Яша уцепился за подол платья тети Сони и возбужденно говорил, говорил, глотая половину слов. Сайлихан все поняла: и что к воротам машина подъехала, и как из нее дяди вышли. Один, большой военный, хочет видеть тетю Соню.

Майор стоял в стороне и смотрел, как его сын, которого он сегодня в первый раз увидел, точная его копия, — этот беленький мальчик бросился навстречу статной молодой женщине, обнял ее ручонками, как самого близкого человека, и звонко защебетал на незнакомом ему, отцу

этого мальчика, языке. А она, эта женщина, взяла малыша на руки, да с какой нежностью! Поцеловала лобик, проверила, как делает любящая мать, нет ли жару, укутала ножки полой широкого камзола. Он смотрел, и опять слезы навертывались на глаза этого много видевшего, много испытывавшего человека. Вот ведь что получается: и кровь не родная, и к народу другому принадлежит, и вера ведь у них особенная — все другое, откуда же такая любовь к чужому ребенку? И он все всматривался в незнакомую женщину, пытаясь понять ее.

Не сразу майор нашел своих детей. Много пришлось писать в разные места. Наконец указали этот адрес. Думал, что приютила детей или одинокая старушка, горящая по погибшему сыну, или, может, бездетная семья. А тут молодая, симпатичная женщина. К тому же и сын у нее, и работа. Мало ей было заботы в годы войны, так она еще взяла под свое крыло его сироток. Удивительно!

Майор не сводил глаз со смуглой женщины. Она, прижав к себе светлоголового, голубоглазого сынишку его, мелкими шажками приблизилась. Губы чуть заметно подрагивали, глаза то радостно вспыхивали, то грустнели. Взгляды их встретились. И закаленный, огрубевший в сражениях военный, видевший страданье и смерть и, казалось бы, не способный уже на тонкие чувства, не сдержался, рванулся к ней. В лице этой женщины он увидел средоточие всего человеческого благородства. Вот она, божественная дева Мария его детства, забытая им давно, спустилась на землю и с младенцем на руках идет к нему навстречу.

Склонил перед нею голову:

— Спасибо, спасибо вам. — Целовал ей руки. — Пальцы ваши мягкие как шелк и сердце ваше как шелк мягкое. Не зря ведь так крепко полюбил вас этот желтоголовый мальчуган. Спасибо за то, что избавили от горькой сиротской доли наших с Ольгой детей. Спасибо, что заменили им мать.

Когда губы этого высокого, как Наркузи-ака, крепко сложенного человека с Настиными прищуренными глазами на скуластом лице, так похожего на маленького светловолосого Яшу, коснулись ее руки, у нее дыхание перехватило. Не все слова поняла в его русской речи, но видела — он благодарит, от всего сердца благодарен ей за своих ребят. Военный все не отпускал ее руки. Она невольно посмотрела на окна артели. Там все бросили свои станки и смотрят на них. Неудобно ведь. А что ей сказать

этому человеку? Воспитывала его детей. Ну и что же? Взяла по велению сердца. И ее первенца взяли ведь на воспитание чужие люди.

— Товарищ командир, — Сайлихан сказала это по-русски и покраснелась, смущенная. — Мне не за что — спасибо. Вам — спасибо. Вы взяли под защиту всех наших детей. Спасли всем нам жизнь, свободу, — говорила медленно, старательно подбирая русские слова. — Не я одна, многие брали детей; в беде — все родные. Вам, вам спасибо! За Настю с Яшей вместе будем радоваться. Горе ваше разделяю. . . Дети мать не забыли, помнят. — Она склонила голову и поднесла костлявые пальцы майора к своим глазам.

III

Яша уже не прячется от отца. Наоборот, чуть продрет с утра глаза и — к нему. Своя кровинушка, сердечко чуёт. И сейчас. . . Вон, возвращаются с кладбища — ходили на могилу матери. Яша у ноги отца. Головку задрал и быстро-быстро лопочет что-то. Так это знакомо Сайлихан. К Насте и даже к Ганишеру отца ревнует. Если Ганишер что спросит у майора, сейчас же старается свой вопрос задать.

Ганишер в последние дни часто ходит с красными глазами. Только теперь дошло до него, что Настя и Яша ему не родные. Привязался к ним, горько потерять сестру и братишку. Своего отца, конечно, тоже вспоминает, видя Настино с Яшей счастье. Горюет — их отец вернулся, а нашего нет в живых. Ох как трудно утешить ей сына!

На днях отметили годовщину смерти Джалалхана. По обычаю, Сайлихан надела на себя белое. А ей хоть бы всю жизнь носить траур по любимому, все равно траур навсегда останется в ее сердце. На годовщину пришла старшая сестра Джалалхана. При жизни брата она не очень-то признавала невестку. А тут принялась наставлять, вроде тетушки Анзират:

— Славлю ваше терпение, невестушка, четыре года ждали нашего племянника. Теперь уж не губите свою молодость. . .

Горьки и обидны «справедливые» слова этой родственницы. Ей что — наставила невестку, выполнила свой долг и удалилась. Сайлихан после этого сколько ночей еще не спала — с новой силой мучила ее боль по Джалалха-

ну. А насчет того, что «не губите свою молодость», — живет же без мужа и всю жизнь проживет.

Вспомнился ей давний сон. В то время она по совету Карамат-ая — дай бог ей долгой жизни! — только-только поступила на работу. Будто идет она в «Ривожию». Вдруг на пути ее вырос старец, благообразный такой, весь — в белом. «Дай, — говорит, — мне руку, дочка!» Она подала. Он погладил ее ладонь и вложил шелковую нить, продев ее в иглу. Она рассказала свой сон Атын-ая, она хорошо знает Коран, была наставницей всех женщин в махалле. Атын-ая и говорит: «Сам пророк Ильяс явился вам. Погладил, — значит, счастье вам придёт. А что иглу с шелковой ниткой вложил — сядет на длань вашу птица счастья».

Она знает, что птицу своего счастья нашла здесь, в артели «Ривожия». Работа ей по сердцу. Сама добывает хлеб свой, никому не надо кланяться. Прекрасное ремесло в руках. Через труд и люди стали уважать. И женское счастье тут же нашла. Очень большое счастье, только короткое. Три раза была она замужем. Два первых не по своей воле, и оказался коротким век тех первых замужеств.

А третий... Это и была та птица, о которой сказал старец в белом. А тетка пусть оставит свои советы при себе. Никто, никогда не заменит ей Джалалхана. Все, что есть на свете прекрасного — счастье, радость, — познала она с Джалалханом. Никто не может сравниться с ним. Навсегда останется он в ее сердце, в ее мыслях. Ради Джалалхана она будет жить, чтобы хранить его любовь в душе.

Недолго погостил у них Ипполит Макарыч. Дня через три, как раз Сайлихан подавала ужин на айване, ворота скрипнули — и, обмахиваясь фуражкой, майор поднялся на айван. Как раз к дастархану.

Сайлихан выходила из кухни — да так и замерла с касой в руке. Ганишер повернул голову к Насте, Настя — к Ганишеру, обоих как удар поразил — что-то почувствовали оба. Только Яша оставался беспечным. Попросил у отца фуражку с красной звездой, нахлобучил на лоб и принялся маршировать туда-сюда по айвану: «Ать-два, ать-два!» До поздней ночи мать шила Насте атласное платье. Майор сидел рядом. Они тихо разговаривали. Нехорошо, конечно, подслушивать. Но что поделаешь, слова сами долетают до Ганишера в открытое окно. Настя тоже притихла, перестала разговаривать с Ганишером: видно,

тоже прислушивается. Взрослых заботит судьба Яши и Насти. Ломают голову, как лучше устроить. Без матери трудно, конечно. Ипполит Макарыч на военной службе. Домой поздно возвращается. К тому же — как у военных: сегодня — здесь, завтра — там. Настя и Ганишер лежат с открытыми глазами. Яша спит, ничего не чувствует. Мать время от времени зовет Настю примерить сметанное платье. Она подпрыгивает, проходит в комнату. Возвращается, ложится в постель и начинает говорить: как у них будет в их новой жизни. Обязательно напишет Ганишеру письмо. Как только приземлится в Хабаровске, так и напишет. Майора, оказывается, направляют в Хабаровск, а там уже станет известно, куда дальше определяют. Она сама будет готовить отцу. Научилась у тети Сони узбекским блюдам. Днем будет ходить в школу, а вечером готовить — вкусные-превкусные узбекские кушанья. Яшу, как подрастет, отец отдаст в суворовское училище. Потому что он мужчина. Должен последовать примеру отца.

Очень умная девочка эта Настя. Ганишер слушал, что говорила Настя, и думал: «А я? Кем буду?» Еще представился станок Джалалхана — так и остался стоять в кладовке, недоделал его отец. Вот кем Ганишер будет — мастером, который создает станки! . . .

На следующий день Сайлихан поднялась очень рано. Майора уже не было, ушел по каким-то своим делам. Посадила детей завтракать намного раньше обычного. Не успели поесть, у ворот остановилась машина. Настя первой выскочила на улицу. За ней Ганишер с Яшей. Военный газик с открытым верхом содрогался от работающего мотора.

Ипполит Макарыч так и не сел за дастархан. Спешил — опаздывают на самолет! Так и остались лежать на скатерти нетронутыми разломанные лепешки, покрылся пленкой остывающий в пиалах чай. Сайлихан вынесла на айван вещмешок и чемодан. Ипполит Макарыч смутился и сам взял вещи из ее рук. Потом сказал:

— Присядем перед дорогой.

Яша при такой команде оставил в руках Ганишера отцовскую шинель, которую жаждал нести сам, и прыгнул на курпачу. Все сели. Сайлихан этот обычай не известен. Она благословила отъезжающих по-мусульмански — раскрытыми ладонями легко коснулась лица.

Яша первый подбежал к машине, забрался на заднее сиденье и тут же отвернулся к краю — оставил место для Сайлихан. Позвал:

— Садись со мной, — похлопал маленькой ручонкой, приглашая ее сесть рядом.

Газик тронулся. Как пронзительно закричал малыш! Соскочил со своего места, готов был броситься из машины на землю. Хорошо, Настя вовремя схватила, усадила к себе на колени. А то быть бы беде. Ганишер не мог совладать с собой. Отвернул лицо. Стыдился, как бы майор не увидел, что такой большой мальчик плачет. Посмотрел на мать — она тоже плачет. И улыбка — такая родная улыбка — на ее лице, а слезы текут и текут.

Скрылась машина. Послушали еще, пока не исчез гул мотора, повернули во двор. Мать вздохнула:

— Слава аллаху!

Ганишер с удивлением посмотрел на нее — с чего это она славит? Хотел даже спросить. Но столько тревоги и боли было в ее лице — лучше молчать. И у самого сердце щемило. Перед глазами — развеваются белые Настины ленты и косички торчат в стороны, как два смешных рога.

Письма от Насти пришлось подождать. Получили только месяца через два.

«Шерка, не обижай тетю Сою!» — так писала в письме Настя. Ганишера дома не было. Сайлихан сама разбирала Настины четкие строки. Она задумалась. До сих пор в ушах отчаянный крик Яши: «Тетя Соня-а!» Маленький не мог понять, как это они уезжают без нее. «Не хочу! — говорит. — Садись рядом!» Якубджан! Очень она скучает по нему. И по Насте тоже. Пока они жили с ней, всегда в доме шумно было. «Слава богу, трое детей у меня!» — говорила, как счастливая мать. Очень прикипела душой к ним. Конечно, она ни на что не претендует. Какой может быть разговор. Дети должны быть с родным отцом — это правильно. А Ипполит Макарыч все же вспомнил о ней. Прислал в Настином к Ганишеру письме: «Передай привет Шелковой тете». Не запомнил, конечно, имя ее.

Однако молодцу было не до приветов. Домой заявился поздно. Да еще нагрубил, когда спросила, где задержался. Лег, не поужинав. Все труднее становится с ним. Растут дети — растут и заботы. . .

Около месяца назад Давлатов свел Ганишера с отцом. С тех пор парень после школы часто заходил к Махамадшеру.

В первый день знакомства Ганишер получил от Махамадшера новый «бекасам-халат». «Хоть Давлатов и

устроил когда-то обрезание и той, но вот, наверно, одежду не удалось тогда надеть на мальчика. И на том ему спасибо, — поблагодарил Махамадшер, — заменил отсутствующего отца. А подарок, хоть и с опозданием, принймай, молодец!»

В своем новом халате, подпоясанном шелковым бельбагом, Ганишер и вернулся в тот день домой. Мать обо всем догадалась, и сердце ее упало. Однако заставить, чтобы возвратил обновку, не решилась. «Душа треснет!» — вспомнила старое поверье. Побоялась за сына. Но с того дня нет ей покоя. Цыпленок он несмышленный, завидует тем, у кого отец есть. А Махамадшер хитрый, умеет, когда надо, приятным словом или подарком расположить к себе. Напрасно она на первых порах погорячилась — допрашивала сына с раздражением, пыталась втолковать, не выбирая слов, кто такой Махамадшер. Только оттолкнула от себя. Домой теперь приходит поздно, в карманах завелись деньги. Сама она лишнего не дает, до копейки приходится считать. Спросит, откуда деньги, — молчит. Не иначе, Махамадшер подкидывает. К уста Умару ходила, советовалась. Отец сказал ей: «Отпусти веревку посвободнее. Придет время, сам научитесь отличать черное от белого». Оно конечно... А если запутается в той длинной веревке? Ведь еще совсем мальчик, а сколько хлопот! О, если бы был рядом Джалалхан!

Как было хорошо. Джалалхан, бывало, копает землю, а Ганишер рядом, тоже рыхлит. Джалалхан в кладовку, и Ганишер с ним — «помогает». Даже ходить старался, как он, и слова его повторял. До последнего времени многое в семье напоминало ей Джалалхана. Поднимаясь от дастархана, приговаривал: «Теперь малость подехканим, а?» — точно как Джалалхан. Больше не дехканил. Как подружился с Махамадшером, стало не до того. Она не выдерживает, начнет иной раз выговаривать — опять у этого человека был? «А что? Отец мой человек хороший. Это вам он не нравится, а люди хвалят. Вон Давлатов говорит: ошибался по молодости. На ошибках учатся. Отец твой, говорит, многого достиг. Золотой человек!»

Для Давлатова Махамадшер, может, и слиток золота. Но перед людьми как он себя обнаружил! Фальшивый человек. Как, как объяснить это, чтобы Ганишер понял?

Сайлихан погрузилась в свои думы, а в комнате гремел репродуктор. Ганишер как-то сказал ей, что у одного

товарища установили радио. Почему у них нет? Она написала заявление в радиосеть — отчего не порадовать мальчика? Пришлось и еще два раз писать, пока не установили и у них радиоточку. Теперь эта «точка» хрипит-шипит с утра до полуночи. Сайлихан не особенно ею интересуется, уходит утром, приходит вечером. Все на ее плечах: и сына накормить, и убрать, постирать. До песен-музыки ли ей? А чуть минутка выдастся — в свои думы уходит. Вот и сейчас: сидит, мысли обступили, и музыка ей не мешает. Потом музыкальная передача кончилась. Началась беседа. Знакомые слова: хлопок, целина, совхоз. . . — скользят, не задерживаясь в памяти. Но вот корреспондент умолк — и другой голос послышался в репродукторе.

— О боже! — Сайлихан вскинула голову. Джура-палван! Его голос! Высокий, добродушный. Она прислушалась. Рассказ вел бригадир из совхоза «Чинабал».

— . . . Всякие люди были. Один старик приехал на целину вместе с семьей, с хозяйством. Однажды встал утром, а семь кур его, оказывается, пропали. Он и сделал вывод: «Лиса ли, шакал — кто-то съел моих кур. Так, пожалуй, могут съесть и из нас кого». Ну и убрался восвояси. Вот так. Росли на целине одни камыши. Кабаны без опаски подходили к самым нашим шалашам.

— Неужели? — удивился корреспондент.

— Да, так и было! — уверенно сказал бригадир, голос которого так был похож на голос Джуры-палвана. — Сколько вреда от этих кабанов бывало. Посеем морковь, лук, а утром встанем — все поле кабаньи клыки распыхали. Но комсомольцы не пали духом. Далеко, вон туда, где озеро, до самого берега отодвинули тугай. Камыши сожгли, выкорчевали. . .

— Сахибджан, расскажите немного о себе, — прервал бригадира собеседник. — О вашей семье, о родителях. Какие у вас планы на будущее?

— Своей семьей пока не обзавелся. Впереди у меня военная служба. Отец мой, Маллабай Абдиваккасов, хотя и не был на войне, активно работал на трудовом фронте. До седьмого пота таскал землю и камни на Фархадской стройке. Все силы ей отдал. Там и погиб, как солдат на посту. От тифа умер. Моя мать Хидай-биби Абдуваккасова. . .

«Хидай-биби?! О боже! — прошептала Сайлихан, сердце ее чуть-чуть не выпрыгнуло из груди. — Хидай-биби. . . Она ли? Но Сахибджан! Почему не Уктамджан?»

Бригадир кончил рассказывать о матери. С гордостью заговорил о товарищах по работе.

Сайлихан верила и не верила. А внутренний голос кричал: он!

Закончилась передача для хлопкоробов. Последние известия сменила музыка. Наконец репродуктор утомился, замолк. Сайлихан погасила свет. Не легла; просто присела на курпачу. В голове — думы, думы. Голос Джуры-палвана, кажется, перевернул ее жизнь.

Очнулась — голова на подушке. Спала ли, нет — помнит одно: советовалась с Джалалханом. Он часто видится ей: и не только во сне. Иной раз сидит, скрестив ноги на курпаче, а она обращается к нему; он молчит, но внимательно слушает. А то, бывает, прогуливается по двору в халате. Она сказала ему, что хочет пойти отыскать этого бригадира. Чует, что это он и есть, их Уктамджан. Джалалхан, он сидел на курпаче, там, где было его постоянное место, кивнул. Одобрил, значит. Смотрел на нее грустно, видно было — печалится, что не может пойти с ней сам.

Сайлихан лежала с открытыми глазами. На небе еще видны звезды, но заря уже подала знак — небо на востоке заголубело.

IV

Сайлихан решительно поднялась. Умылась, причесалась. Засветила лампу, прикрутила фитиль — едва мерцает. Осторожно, чтобы не разбудить Ганишера, открыла сундук. Вот почти новый халат-бекасам Джуры-палвана, его тюбетейка в цветах миндаля — пришла пора достать эти вещи. Сложила, завернула в широкий шелковый бельбаг. Достала белый шелковый платок — его надевала, когда после свадьбы ездили с Джалалханом в Вуадиль и Шахимардан. Как он ушел на фронт, спрятала на самое дно, тут и лежал все это время. Повязала платком голову. Обулась в ичиги с кавушами. Тихонько закрыла сундук, сложила на нем курпачи, подушки прикрыла сверху сюзане. Задув лампу, вышла на айван. Заколебалась, вернулась в комнату. Ганишер спал, сбросив с себя курпачу. Попробовала разбудить — нет, сон у молодца крепкий. Сняла с крючка поношенный коверкотовый камзол. Служил ей службу — и на улице, и в холл — дома. Спрятала в узел.

На шоссе села в первую попавшуюся грузовую машину.

— В гости? — поинтересовался шофер.

«Вряд ли буду я желанной гостьей!.. — подумала Сайлихан. — Что до Хидай-биби — если это та, которую знала раньше, — такая женщина может и кочергой отходить. А вот как встретит он, тот, кого ищу?..»

— В самый раз к ковун-сайли — к празднику дыни угадали, — продолжал болтать, не дождавшись ответа, шофер. — В степи дыни поспели.

«Говорливый какой», — подосадовала в душе Сайлихан. Шофер, наваясь на баранку, расхваливал бахчевые.

— Дехкане взмолились: погрузи, говорят, будь мусульманином, помоги, сгниют ведь. Одна ночь, не тысяча ночей — упростили. С ГАИ, конечно, шутки плохи. Закогтят — не отвертишься. Аллах миловал. Возвращаюсь теперь с базара.

Сайлихан представила себе бахчу: зеленые плети стелются по земле и в них желтые, спелые дыни — поле Уктамджана. Как он сказал насчет моркови и лука? Теперь, наверно, и дыни растит. Посмотрела искоса на шофера. На нем шапка с пятном от мазута, надвинул на лоб, верхняя губа в коричневом пушке. Сама не заметила, как улыбнулась. Наверно, и у Уктамджана пробились усы.

Проселочная дорога, посыпанная гравием, неровная. Порожнюю машину кидает в стороны. Сайлихан то ударится головой в потолок машины, то боком — в дверь. А мотор тарахтит — уши заложило.

Водитель разогнал грузовик: видно, торопится. Они обгоняли попутные телеги, машины. В кабину врывались клубы пыли — глаза не раскрыть. За межой блеснули заросли клевера. Взошло солнце. Машина мчалась наперегонки с собственной тенью. Шофер замолчал, сосредоточился. Мотор сердито вздрагивал, кабина скрежетала, кузов гроыхал.

— Тетушка, вон, видите мост? Там вас и высажу.

Сердце Сайлихан екнуло. Значит, она почти у места. Встретится ли с Уктамджаном? А если даже найдет его, как он ее примет? И Хидай-биби... .

Первый раз посмотрела на себя со стороны. А если скажет: где ты была раньше? Почему не видел тебя, пока был мальчиком? В самом деле: достаточно ли приложила она сил? Могла ли отыскать его раньше? Другие заботы: растерялась, оставшись одна с маленьким Ганишером на руках. Потом непривычная обстановка на ра-

боте. Пока пришла в себя, освоилась, много времени ушло. Вроде бы и паранджу сбросила, а все спутывал старый обычай — уважение к отцу, давшему той семье слово. Нет, нет, душа ее все время рвалась к первенцу, не было такого дня, чтобы не помнила его. Но он сам поймет ли свою мать?

Сайлихан жала губы от сердечной боли. Спорила сама с собой: то оправдывала, то винила, проклинала свою судьбу. Отчетливо видела Уктамджана: ей отчетливо виделся — маленьким, как плакал и тянул свои худенькие ручки к ней, к матери, когда Саттихан уносила его от дома Махамадшера. А вот представить себе лицо Хидай-биби уже не могла. Старалась, напрягала память, но лицо расплывалось перед глазами белым пятном. Помнит небольшую усадьбу у мельницы на берегу бурного арыка. И слова, которые бросила ей Хидай-биби! Клеймом в ее сердце выжжены те слова: «Теперь опомнилась? Забыла обо всем в объятиях жениха! Вам в этом мире оставлены радость да смех, зачем вам ребенок?» Яд брызгал из уст этой женщины. До сих пор сжимается, как от удара камчой, когда вспомнит те слова.

Двадцать лет прошло — немалый срок. За это время увидел свет Ганишер. Мировая война началась и кончилась, оставив кровавый след в судьбе многих семей. Да что там семей. Судьбы целых народов перевернула. За эти годы миллионы умерли, миллионы народились. Уктамджан. . . Не из ее рук пробовал соль вот уже семнадцать лет ее сын. Как же ему узнать ее?

Машина, резко затормозив, остановилась. Сайлихан чуть не ударилась лицом о ветровое стекло. Сердце ее тяжело стучало.

— Приехали! — шофер помог ей открыть дверь кабины.

Совсем чужое место. Глинобитная стена дома почти рядом с дорогой. Крыша, оштукатуренная глиной. Шелковица у забора покрыта пылью. Да, надо же уплатить за проезд! Сунула руку во внутренний карман камзола. Шофер молча ждал. Деньги взял и, видно недовольный платой, резко рванул с места, обдав ее пылью.

Сайлихан в нерешительности стояла на обочине. Куда теперь идти? С моста катил к ней велосипедист. Окликнула:

— Эй, племянник!

Высокий подросток затормозил, остановился рядом.

— Как мне найти Сахибджана?

— Какого Сахибджана?

— Который бригадир.

— Сахиба-чангала, — подросток подвернул повыше брючину на правой ноге, поставил ее на педаль. — Идите за мной, покажу.

«Почему Сахиб-чангал?» — хотела спросить Сайлихан, но подросток уже опередил ее шагов на двадцать. Взяла узелок под мышку, пошла следом. Велосипедист то прибавлял скорость, то замедлял; ехал то ровно, то кругами. Свернули на боковую дорогу.

— Вон в те ворота! — указал в сторону обрубленной ивы и быстрее заработал педалями.

Сайлихан стоит в нерешительности.

— Эй-эй! — пыталась остановить велосипедиста.

Не ворота ей нужны — Уктамджан! Сзади зашлепали шаги. Обернулась. Грузная пожилая женщина несла ведро воды. Увидев растерянность Сайлихан, поставила ведро на землю, обняла ее за плечи, поздоровалась.

Взгляд Сайлихан упал на зоб, напоминавший два спаренных ореха, — он выпирал, не вмещаясь в ворота застегнутого на все пуговицы зеленого платья. «Я уже видела где-то ее!» — мелькнула мысль. Взгляды их встретились и — что случилось с этой пожилой женщиной? Она задохнулась, широко открыла рот, втягивая воздух так, что слышался хрип в легких. Поскорей схватила ведро.

Сайлихан недоуменно смотрела, как захлопнулись ворота напротив обрубленной ивы. И только тут дошло до нее: эта женщина — Хидай-биби. Глаза Сайлихан так и впелись в захлопнувшиеся створки. «Сынок!» Шагнула вперед и остановилась — нет, не откроют ей. Повернула было обратно. Шагнула два раза, опять остановилась. Вся жизнь, можно сказать, искала, нашла наконец и — уйти ни с чем? Хидай-биби! Она... Точно. Была сухая, жилистая, лицом темная. Теперь стала полная, побелела. Сайлихан обернулась, не может оторвать глаз от закрытых ворот. Уктамджан входит в эти ворота и выходит из них. А вдруг и сейчас...

Никуда она не пойдет. Останется здесь, будет ждать.

Час был еще ранний, но солнце уже припекало. Сайлихан сошла с дороги к берегу арыка. Умылась. Вода — мутноватая, но прохладная — освежила. С дороги окликнул звонкий голос:

— Не застали? Напрасно время теряете. Сахиба-чангала теперь в кишлаке трудно поймать! — это кричал знакомый подросток-велосипедист.

— Где же мне искать его?

— В степи, где еще?

— Далеко отсюда?

— На велосипеде часа два, пешком — к заходу солнца доберетесь.

Сайлихан бессильно опустила под шелковицей, жала голову руками. «Вернуться ни с чем?..» Паренек смягчился:

— Пошли за мной. Заглянем в контору, — он сел на велосипед.

В конторе директор бранился с кем-то по телефону. «Не вовремя!» — испугалась Сайлихан и попятилась назад. Директор поднял руку: «Подождите!» С треском бросил трубку на рычаг, встал ей навстречу.

— Слушаю вас! — сказал, сдерживая голос. Лицо было багровым после горячего разговора.

Сайлихан коротко рассказала, кого разыскивает. Директор изумился: «Какое может быть дело у городской женщины к Сахибджану?» Не сводя с нее зеленоватых глаз, сказал:

— С утра уехал. Погрузил недельный запас продуктов для бригады, нужный инвентарь и — в степь. Теперь не скоро вернется.

Сайлихан почувствовала слабость, присела у двери.

— Вам плохо?

Она покачала головой.

— Сынок... — губы ее задрожали. — Взглянуть бы, один хоть раз...

Зеленоватые глаза директора от удивления широко раскрылись. Ничего не понимает. Только и сказал:

— Интересно! — но от вопросов удержался. — Не знаю, чем вам помочь. Машина вернется только к вечеру. Подождите... — Увидев волнение в лице незнакомой городской женщины, круто повернулся, позвал: — Эргашали! Есть тут у нас телега? — И к ней: — Если торопитесь, можно будет...

Сайлихан улыбнулась, смахивая слезы.

В дверь просунул голову знакомый велосипедист.

— Слушаюсь!

— Узнай на складе, телегу с кормом для скота не отправили еще в степь на ферму?

— Телега здесь.

— Вот что, эту тетушку проводишь туда и скажи: я велел подвезти к полевому стану Сахибджана.

Она с пареньком уже выходила из конторы, когда директор крикнул вдогонку:

— Скажи арбакешу, чтоб не ленился.

Арбакеш оказался не из ленивых. Объяснил ей:

— Двумя путями можно. Если по обычной дороге, придется ехать вдоль канала Кызылсу — большой крюк. Можно еще по тропке через тугаи, весь путь будет версты три-четыре. Но кое-где придется пешком. По пути буду выгружать на фермах корм. Не тревожьтесь, — увидел тень на ее лице, — я быстро.

Когда добрались до фермы в тугаях, время приблизилось к полудню. Арбакеш принялся выгружать корм. Ждать его, — пожалуй, не успеет сегодня назад в Маргелан, а завтра с утра ей на работу. Арба еле плетется. Зачем утруждать старого человека? Теперь осталось совсем близко — так и сказал. Почему бы не пойти самой?

— Вы мне путь укажите. Наверно, смогу сама уже добраться?

Арбакеш, ухватив за два конца мешок с кормом, собирался взвалить на спину. Оставив мешок в арбе, молча пошел впереди Сайлихан за ограду. Снял белесую от пота и пыли соломенную шляпу, указал на камыши напротив солнца.

— Вон, видите тропинку. Она вас и выведет прямо к хлопковому полю Сахибджана. Пройдете немного, увидите заросли кизильника. Через них и надо. Потом будет огромная лужа, вот к ней и шагайте. Не бойтесь. Там есть тропинка вокруг болота.

Болота Сайлихан не испугалась. Зато бычки — они бродили в камышах — порядком досадили ей. Особенно один — почти взрослый, громадный, черный бычище. Встал поперек дороги и — ни с места. Она и камни бросала, и камышом стегала, насилу прогнала.

Пробралась сквозь камыши, пошла осокой. Вот и ярко-красный кизильник. Кричит фазан. Сайлихан спешит, задыхается. И все думает, думает — как они встретятся: мать и сын? И как посмела Хидай-биби поменять его имя! Не Сахибджан — Уктамджан он! Сын Джурыпалвана. Голосом как похожи! Наверное, и ростом в отца вышел — высокий. Как радовался Джура-палван. Придет, бывало, с работы, умоется и: «А ну, подайте-ка мне сынка!..» Будет ли Уктаму впору отцовский халат-бекасам? Сама наденет ему на голову тубетейку, в халат отцовский нарядит, повяжет шелковым бельбагом... А он раскроет объятия: «Родная! Наконец-то мы встретимся».

лись! ..» Сынок! Пятнадцать лет ждала я этого дня, пятнадцать лет!» Сайлихан размечталась. Ей казалось, что она уже обнимает своего первенца. Даже заплакала от избытка чувств.

Туган внезапно кончились. Грудь, уставшую в зарослях от духоты, наполнил свежий ветерок. Замечтавшись, она чуть не свалилась в арык. Вода текла у самых ног. Положила узел, присела на корточки, набрала в пригоршню воды, умылась.

За арыком, чуть в стороне начиналось хлопковое поле — вот он, хлопок Уктамджана! Хлопковое поле Сахибджана — так сказал ей арбакеш.

Она дрожала, будто от холода. Скоро, сейчас увидит его, Уктамджана. На дальнем конце хлопкового поля виден стан. «Полевой стан Уктамджана!» И снова перед ней — малыш с маленькими тонкими ручонками и ножками. Головка еле держится на слабенькой шее.

«Жив, жив, слава богу. Вырос, большой стал, вон целину какую поднял», — Сайлихан любит по полю — густое, коробочки полные.

Но как добраться ей к полевому стану? Арык широк, мостка не видно. Она оглянулась растерянно: направо, налево.

— Прыгайте! — услышала голос.

Вздрыгнула. На другой стороне арыка возле приземистой дикой джиды стоял парень. Смотрел на нее, опершись на рукоять кетменя. Остроконечная войлочная шляпа нахлобучена по самые брови. На плече поношенный полосатый халат — самотканый из хлопка. Подпоясан потертым бельбагом. «Поливальщик, наверно», — решила Сайлихан. Прикинула на глаз ширину арыка и крикнула:

— Не смогу я.

— Идите сюда.

Там, где стоял парень, возле джиды через арык была переброшена жердь.

— Держите, — протянул ей рукоять кетменя.

— Пусть будет вам удача во всем! — одолев арык, благословила его Сайлихан. — Мне сказали, поле это, — она показала на хлопок, — бригадира Уктам. . . нет — Сахибджана?

— Да, вам сказали правильно. Только рановато прибыли, если, конечно, вы хлопок собирать, — поливальщик улыбнулся.

Сайлихан смотрит во все глаза на полевой стан — надеется увидеть там Уктамджана. Не ответив на шутку, зашагала к полю. Если пойти наперерез, будет короче. Но грядки водой залиты, не пройдешь.

— А вы, извините; к нему?

— Уктамджан... Нет, Сахибджан мне нужен, родимый.

— Уктамджана не знаю, а Сахибджан — это я.

Узел выпал из рук Сайлихан. Она обернулась и осела на землю.

— Ий-е, что с вами?

Парень бросил кетмень, кинулся к ней.

— Это вы выступали вчера по радио?

— Так говорят, — улыбнулся Сахибджан. — Только сам я не слышал.

— Ваша мать...

— Хидай-биби. А что?

— Ни-ичего, — Сайлихан плотно сжала прыгающие губы. — Просто... У нас в Маргелане раньше жила Хидай-биби...

— Вот как! И мы маргеланские, — лицо Сахибджана опять осветила улыбка.

«Как хорошо улыбается!..» Она все не могла сдерживать дрожь и ответила не сразу:

— Ваша семья случайно не с Мельничной стороны?

— Ий-е, откуда вы знаете?

Сайлихан пропустила вопрос, продолжала расспрашивать:

— И братишка, наверно, есть?

— Нет. Моим родителям судьба подарила меня одного-единственного.

— Тогда... Сколько же вам лет?

Сайлихан уже не просто волновалась — трепетала.

— Двадцать.

— На вид вам больше, — сказала, чтобы еще раз услышать его голос.

— Эх, тетушка! Степное солнце красит лицо в темный цвет, а степной ветер паносит на него узор-сетку. Как на дыню.

Да, тот самый голос, что вчера слышала по радио. Она испытующе вглядывалась в стоявшего напротив нее Сахибджана, мерила глазами с ног до головы. Парень от такого странного разглядывания почувствовал себя неловко. Снял войлочную шапку, стряхнул пыль.

Сайлихан прикусила дрожащие губы. «Выпуклости на лбу, размах бровей! . . . Если б еще усы — вылитый Джура-палван!»

— О боже! — прошептала она.

— Что вы сказали?

— Первенец мой. . . Уктамджан! . . .

— Что поделаешь, — Сахибджан опустил голову. Решил, что женщина страдает по умершему сыну. — Пусть продлится жизнь тех, кто остался.

— Н-нет. . . — Сайлихан больше не могла сдержать себя. Слезы ручьями потекли по щекам. — Он живой. . .

Она, чуть не споткнувшись об узел, кинулась к Сахибджану, обняла его.

— Нашла, наконец нашла! — прижимала его к себе и целовала, целовала — глаза, щеки, лоб.

Сахибджан вконец растерялся. С чего она? Городская с виду женщина. . . молодая довольно. . . Мелькнула даже шальная мысль. Лицо запылало огнем — не дай бог кто из бригады увидит! Что подумает? . . .

— Кого нашли? Ий-е! Интересно получается, — он попробовал высвободиться из цепких объятий.

— Тебя, тебя нашла! Я тебя родила. . . И никакой ты не Сахибджан. Уктамджан — твое имя. Драгоценный мой, мать я тебе. . . — Сайлихан торопилась, захлебывалась. Боялась — вдруг не успеет высказать все, что хотела. — В тот год неурожай был. Голодали. Ты на моих руках. . .

Сахибджан резким усилием освободился из объятий «городской женщины». С опаской поглядел вокруг — не увидел бы кто. Решительно сказал:

— У меня есть мать.

— Я твоя мать! — Сайлихан протянула к нему руки.

— Будете тут сказки рассказывать!

— А ты спроси у Хидай-биби. Если есть у нее совесть, скажет тебе правду.

Сахибджан вдруг вспылил:

— Кто дал право вам обижать мою мать! Она меня растила, берегла, и лучшей матери я не знаю.

Сайлихан поникла, голова упала на грудь.

— Если в Кызылсу есть десять джигитов, что могут ходить с гордо поднятой головой, — продолжал он, — то один из них — я! Что это вы придумали! Хотите, чтобы меня называли — приемыш Сахиб? Услышит кто такие слова и — конец джигиту, навсегда конец! Эй! Зачем вам это?

Сайлихан отшатнулась, будто получила в грудь удар кулаком. Последний раз глазами, полными горечи, взглянула на молодого джигита. Не помня себя, перелетела через арык и скрылась в тугаях.

А молодой джигит чувствовал себя будто канатоходец, у которого выбили из рук шест. Вдали показался конный мираб. Сахибджан невольно пригнулся и бросился в густые заросли осоки. Нет, сейчас он не сможет ни с кем встретиться, не посмеет поднять глаз. «Приемыш!» — это слово преследовало его, как назойливая муха. Он лег лицом вниз. Топот копыт приблизился. Сахибджан вжался в землю и так лежал, пока совсем не затих этот топот. За что навалилась на него такая беда? Ходил всегда радостный, полный сил, желая работать. Не раз, проходя мимо аксакалов-односельчан, слышал, как они говорили: «Всем бы нашим джигитам быть такими, как Сахибджан». А летом, когда по отцу устраивали поминки, белобородые в один голос заявили: «Удачный сынок вырос у садовника Маллабая. Посмотрел бы на него теперь его отец!»

А когда в прошлом году его, парнишку, у которого только-только начали пробиваться усы, дирекция назначила бригадиром целинной бригады, только немногие и удивились. Успел уже к тому времени показать себя на работе. Когда отец уехал на Ферганскую стройку, пришлось отложить учебники и тетради. За полноценного мужчину работал в хлопководческой бригаде. А было с ним, включая бригадира, мужчин всего трое. Остальные — женщины. Бригадир старый, опытный. Назначил мальчика табельщиком. Давал указания, а Сахибджан бегал — исполнял. Сев хлопка, прореживание, прополка, чеканка, распределение работ в бригаде, подсчет работы, взвешивание собранного хлопка, доставка на хлопкопункты — все входило в его обязанности. До полуночи задерживался в полях, выспаться не было времени. Тогда и приобрел опыт. Поэтому и нынешнее бригадирство оказалось по плечу.

Отвоеванные еще до войны у тугаев тридцать гектаров и засевали из года в год рисом и овощами. В войну из-за нехватки людей земля эта была заброшена. Бригадир Сахибджан не только восстановил те посевы, но и еще прибавил к ним столько же вновь освоенной целинной земли. Вот тогда односельчане, даже старики, любу-

ясь всходами, снова вспомнили отца Сахибджана и сказали: «Пострел садовника Маллабая оказался настоящим хозяином!»

Теперь и в районе считаются с ним, забывая о его юном возрасте. Директор совхоза на собраниях обращается на «вы». Об урожае нынешнего года молодой бригадир начал заботиться еще с осени, когда пахали. И зимой, в трескучие морозы, бригада его не грелась у сандалов: таскали сюда, в степь, в такую даль, из кишлаков навоз. Помнили поговорку: «Земля сыта, сыт будет и народ». Вот и результат налицо. А люди теперь говорят: «Везет же тебе!»

Везет ли? Похоже, мать напрасно шептала заклинания против дурного глаза. Вот и первый удар на его голову. Откуда взялась эта безумная женщина? Как у нее горели глаза, когда кинулась к нему!

Сахибджан оперся локтем о землю, сжал ладонями виски. Однако сейчас у него уже не было гнева против «городской женщины». Ему стало даже жаль ее и вроде бы стыдно: оттолкнул ведь несчастную. Приподняв шапку, почесал голову. Бывает же такое! «Я — твоя мать!» Будто он рос без матери. Да есть ли еще на свете такая любящая мать, как его! Сахибджан приподнялся, сел, и взгляд упал на узел — так и остался лежать на краю хлопкового поля. Вещи той женщины. Вскочил на ноги, поднялся на насыпь арыка. На что надеялся — ее и след простыл. Только мираж пылал над раскаленными туфлями.

— О аллах, и правда сумасшедшая!

Однако затронула неожиданная гостья всегда спокойно текущие мысли. Почему все же его семья переехала из удобного, благоустроенного города Маргелана сюда, в иссохшую степь? Покинула привычные родные места. Добро бы из баев, богачи. Тогда понятно, таких ссылали. А они далеко не богатые. Может, и правда — приемыш? Вот и увезли подальше, чтобы никто не узнал, не напомнил.

Опять прилег на землю. Долго так пролежал. Постепенно все встало как будто на место, успокоился. Зажав ладонями уши, прислушался к своим мыслям. «Нет, не может такого быть! Твоя мать — Хидай-биби», — сказал голос из самого сердца. Напряг память, вспомнил себя в детстве — самым маленьким. Сосал ли грудь матери — не знает, но что заснуть не мог, если она не прижмет к своей груди, это помнит хорошо.

Очень хорошо помнится, как мать выходила корчевать гузан, а он сидел, привязанный к ее спине. Потом настал день, она сказала: «Большой джигит стал, должен сам идти» — и поставила на ножки. А он уселся в рыхлую пыль посреди дороги, горько заплакал. Тогда мать взяла его на руки, вытерла слезы, стала уговаривать. Нет, разве ласкает так женщина неродное дитя? Никогда даже не замахнулась на него, не то чтобы побить. Вот какая была и есть у него любящая мать. И он тоже любит ее.

Покойный отец смиренный был. А еще говорят, рыжие вспыльчивые. Молчун, слова не вытянешь. Сдержанный, скромный и кроткий человек. Труженик. В совхозе садовником был. Любил работать в саду. Повяжет, бывало, лоб бельбагом, заткнет за него букетики мяты, а то цветущую веточку вишни или яблони и работает, за весь день слова не скажет. Но однажды разговорился. Это было, когда вернулся больной с Ферганской стройки. Мать ладонью зажала ему рот. Страшные слова говорил. Все норовил прощение у кого-то просить. Бредил. . . Однако эта женщина! . .

Сахибджан тряхнул головой, отгоняя непонятные и потому досадные мысли.

Прошло немало времени с того дня, когда встретил у арыка странную, даже показалось, безумную женщину. Уже и поля опустели. Примораживало. Вот и снег пошел. Ломать голову над словами незнакомой тетушки некогда. Ни минуты не оставалось свободной. Сегодня, с рассвета, не считаясь с погодой, развозил по домам своей бригады курак. Одну арбу и шефам завез, высыпал на школьный айван. Пусть потрудятся шефы — школьники опекают далекую степную бригаду. Ребята шутя справятся.

Настроение у Сахибджана превосходное. Вот и работу сделал, не отложил из-за мороза на завтра и в контору успел забежать. А там старый бухгалтер, оказывается, пересчитал собранный к нынешнему дню курак на хлопок. С вычетом влажности и загрязненности получилось — бригада с лихвой выполнила обязательства.

Сахибджан шагает по хрустящему под ногами снегу и нет-нет да и улыбнется — в ушах гудит довольный голос бухгалтера: «Браво, хозяин целины!» Пожалуй, хвалить пока рановато. Зима в этом году поторопилась. Небольшой клочок с неубранным кураком остался под снегом. Гузапаю тоже не корчевали. И пахота. . . Пора

подумать об урожае следующего года. После этого можно будет... Нет, не выкроить человеку времени для отдыха. Дела подпирают. Сегодня, завтра...

«Эге, удивляюсь тебе, Сахиб! — сказал сам себе. — Молодой парень, здоровье — крепче не бывает. Силы — хоть отбавляй. Не к лицу тебе жаловаться. Паши землю, собирай урожай, работай. Похвала народа — вот тебе и награда и отдых! Что тебе еще надо?»

На мосту, когда подходил к дому, заметил, будто чернеет в сумерках какая-то тень у их ворот. Вроде бы человек. «Неужели мать ждет его? В такой холод!» В последнее время взяла в привычку встречать его у ворот. Заспешил. Обхватил дрожащую Хидай-биби руками за плечи, мягко выговаривая, повел в дом. И как она взглянула на него — такая любовь, благодарность в глазах и беспокойство. Отчего беспокойство? Чувствуется, что «городская женщина» побывала и здесь. Растревожила мать — чем? «Если есть совесть, Хидай-биби скажет правду», — эти слова до сих пор сидят в его голове. Сколько раз пробовал задать матери прямой вопрос — освободиться бы раз и навсегда. Но застал мать совсем больной. Побежал за доктором, лекарство давал — не до вопросов было.

Но слова-то мучат, лезут на язык.

— Мама... — начал было и замолчал. И как стало тихо! Слышно, как за окном, шурша, сваливается с веток деревьев выпавший снег. А сердце стучит — на весь дом, кажется, слышно. — Мама, — решился наконец. — Родила меня та? .. — не договорил. — Вы меня родили?

В легких матери хрипело, и сквозь удушье она выговорила со свистом:

— Я... я тебя вырастила...

Стыд краской бросился в голову. Она его воспитала, растила. Можно ли так мучить мать? .. У нее же астма! Бронхи, врач говорит, совсем никуда. Наглоталась сырого воздуха, все его ждала. А он...

Усадил мать на почетное место, расстегнул пуговицу на воротнике. Ласка сына растопила душу. Хидай-биби печально улыбнулась, а в глазах не просыхали слезы.

— Твой ужин...

И без напоминаний знает — мастава или кувшин с лапшой и чайник всегда ждут его, закопанные в углях сандала. Шагая по снегу домой, он чувствовал, что изрядно проголодался, а сейчас — кусок в рот нейдет. Чтобы успокоить мать, налил чаю.

— Плов сегодня ели, сытый я.

Плов, конечно, они ели на поле. Да только хлебобобу хоть трижды в день плов давай — все сгорает. Да еще в такую зимнюю погоду. Но сейчас и правда не хочется ему есть.

Хидай-биби как будто полегчало. Положила голову на подушки, задышала ровнее, уснула. И Сахибджан раскинулся на курпаче, подставив ноги к сандалу. От керосиновой лампы над сандалом внизу круг красноватого света, а на потолочных закоптелых брусочках круглая тень от жестяного крашеного абажура.

Сахибджан задумчиво смотрит на теневой круг, на часто уложенные между мощными балками брусочки. Керосиновая лампа тихо потрескивает, и в этом потрескивании чудится ему голос матери: «Я тебя вырастила. . .» «Кто родил?» — бьет молотом в голове тяжелый вопрос. И два голоса спорят в нем. Один: «Та маргеланская женщина правду сказала!» Второй: «Нет, нет, вот твоя мать — здесь!»

Ответила бы прямо. Ему достаточно одного только ее слова, всего лишь одного. Легло бы это слово бальзамом на сердце. Пускай другие хоть тысячу раз говорят что им вздумается, он верит только ей. Как мучительно думать, что ты — приемыш. Может, даже подкидыш, плод греховной связи. Рос и знал, что он — сын садовника Маллабая и Хидай-биби. Все называют его Сахибджаном. А позднее, когда сильно когтями вцепился в целину, когда вырвал из спины степи кусок, его еще стали называть «Сахиб-чангал» — беркут.

И теперь «Сахиб-чангал» должен называться «Сахиб-приемыш»! Как будто сажей замазали лицо, опозорили, обечестили. Не зря говорят: «Устыдился джигит, — значит, погиб!»

Сахибджан, не мигая, пристально смотрел в потолок. Под скулами ходили желваки. . .

V

Сайлихан подошла к воротам. Замок висит! Сердце защемило. Но тут же успокоила себя: «Задержался на занятиях».

Ганишер теперь учится в вечернем политехникуме. После седьмого класса она устроила его в «Ривожию». Днем работает в механической мастерской, вечером

учится. Надеюсь, такая нагрузка не оставит времени для встреч с Махамадшером. Оказалось, рука Махамадшера всюду достанет. С должности завмага сразу перескочил на место зампредседателя «Ривожии» по хозяйственной части. Тупахон Шадманова считает, что он чуть ли не осчастливил их комбинат. «Ривожия» объединила в себе три артели. Тупахон говорит: «Наша фирма нуждается в мастере коммерции такого размаха, как Махамадшер». Очень опасается Сайлихан, как бы этот «коммерсант» не испортил ее сына.

Открывая ворота, пересекая темный двор, поднимаясь на айван, она все думала о Ганишере. Включила лампочку, начала переодеваться — тут он и появился. Глаза матери устремились к сыну, молили: «Подойди, обними, два дня ведь не виделись!» Сайлихан уезжала на областной слет передовиков социалистического соревнования работников их отрасли. Чем он занимался в ее отсутствие? Почему нахмурены брови? Может, неприятности на работе?

— Где ты задержался? — пытливо посмотрела на сына.

— Нигде. Пришел, вас дома нет...

— По матери не соскучился? — не выдержала она.

Сын смущенно улыбался, а глаза смеялись. Шагнул к матери. Она притянула к себе его голову, поглаживала и думала: «Тысячу раз спасибо, что есть у меня ты, сынок. Только ты и держишь на свете. А так бы какой интерес у меня в жизни?»

Далеко не всегда утешает ее теперь Ганишер. Грубить стал. Задерживается часто. Очень тревожит крепнувшая связь сына с отцом. Не доведет до добра. И все равно — Ганишер ее единственная надежда и опора в жизни. Уста Умар состарился, самому нужна опора. Джалалхана ждала, глаза проплакала — не дождалась. Мечтала о встрече с Уктамджаном. Все годы лежала в сердце тяжелым камнем боль о потерянном сыне. И вот нашла, чтобы навсегда потерять. Жила надеждой на встречу — и нет больше надежды. Все оборвалось, когда Уктамджан оттолкнул мать — ту, что вскормила его своим молоком. Да с каким гневом...

Она почувствовала боль в груди. Стало вдруг трудно дышать. Закрыв глаза, прижалась лицом к лицу сына. Что бы она делала без него в этих опустевших четырех стенах?

Однако почему он хмурится? Приняла руку с его головы, взглянула в глаза:

— У тебя что-нибудь случилось?

Неловко бывает, когда смотрят так в упор. Ганишер отвел глаза.

— Дедушку...

Не дослушав, кинулась к двери. «Отец ведь лежит в больнице... Что случилось с ним?..»

Ганишер удержал за плечи:

— Да не волнуйтесь. Дедушку я навещал, от него иду.

Держась за грудь, почти упала на постеленную вдоль стены курпачу.

— Так и убить можно, — укорила сына.

Уста Умар, еще лежа в больнице, решил: придет домой и обязательно сразу же навестит свою мастерскую. А когда вернулся, никак не выходило. Каждый день гости: старые друзья-товарищи по ремеслу, соседи. Не забыли, навещали его. Сегодня к вечеру, как разошлись посетители, решился. Доктор, провожая, строго наказывала: «Покой! Вам нужен покой». И так уже сколько дней у них пролежал — покоился. Да еще лекарства! Искололи всего, места живого не оставили.

Спустился с айвана. Как хорошо! Уже и шелковица распускается. В последний день внук Ганишер принес ему в больницу букетик подснежников. Уста поднес букетик к глазам: «Спасибо аллаху, дожил до новой весны!» Вот и двор покрылся нежной зеленью. Со скрежетом отпер замок мастерской. Пригнув голову, шагнул, разорвав нависшие над порогом тенета. На лице, усах, бороде налипла паутина. Холодом, заброшенностью потянуло из мастерской! Он так всегда следил, чтобы все лежало на своих местах. Порядок, чистота — первое для мастера правило. «Э-э, постарел ты, уста, другим теперь делать твое дело. Ноги даже не разогнешь!» Уста Умар уперся ладонями в колени, медленно встал во весь рост. Оглядел свою мастерскую, горестно покачал головой и вышел. На дворе мелькнула чья-то тень. И чего человек испугался, спрятался за косяк ворот! А ведь он узнал — тот самый, который как раз ему и нужен.

— Мирали-им! — позвал и пошел вперед, помогая себе посохом.

Сам бог направил к нему Миралима. Однако с чего парень вздумал прятаться? Миралим был очень кстати. В больнице Умару однажды привиделся уста Ташпулат. «Пусть душа его попадет в рай!» Идет Ташпулат по улице, проходит мимо друга своего Умара и даже головы не повернул. О здоровье не справился. Удивился уста Умар такому поведению друга. Окликнул: «Ташпулат!» Тут и проснулся от собственного крика. Долго не мог прийти в себя, целый день пролежал, закутавшись в простыню, и все думал — к чему сон? «Душа покойного недовольна мною. Должно быть, потому, что не исполнил их обоюдного обета. Хотели, чтобы дети их прожили жизнь вместе в согласии и мире, закрепили бы дружбу отцов кровным родством. Ушел из этого мира бедный уста Ташпулат, ушел, горюя». Но он сам, уста Умар, живой еще. Как он смел забыть клятву?! Вот что хотел сказать ему умерший друг, явившись во сне.

За косяком ворот и правда прятался Миралим. Пришел специально — повидаться с отцом Саттихан. А когда старик неожиданно для Миралима появился из двери мастерской, удалец скакнул точно заяц к воротам. И сам же над собой посмеялся.

К стуку посоха прибавилось шарканье калош. «Идет к воротам». Стыд какой: больного старика заставил беспокоиться, да еще и обидел. Быстро пробежал под навесом. Тут когда-то играли в лаббай он и девочка с рассыпанными мелкими косичками. Тяжелое дыхание уста Умара совсем рядом. Молодого человека в пот бросило — стыдно.

— А-с-салам алейкум! — сложил на груди руки.

Уста Умар дышал трудно, будто проделал длинный путь. Хмурился, жевал губами. «Так и есть, обиделся уста», — совсем смутился Миралим. Старик сделал знак пальцем: «Иди за мной!» На кирпичной лестнице споткнулся. И упал бы, если б Миралим вовремя не подхватил.

— Мускулы мои высохли, скрипят, как несмазанные колеса, — то ли усмехнулся, то ли всхлипнул уста.

Кряхтя, устроился на курпаче с краю айвана.

Миралим не знает, куда глаза деть, вобрал голову в плечи. Так получилось... Даже в больнице не навестил. А ведь сын самого близкого друга!

— Пр-ростите меня!.. — хотел еще что-то сказать, но в это время скрипнула дверь. Он оглянулся. Саттихан вышла из дома на айван.

— Добро пожаловать! — приветливо улыбнулась ему.

Джигит застыл. Не мог слова вымолвить, только улыбался и все смотрел, смотрел на девушку. Не помнил уже о том, что здесь сидит уста Умар, а ведь как раз его, больного, пришел навестить. Э-э, оно, конечно, так, только и кого-то другого надеялся увидеть.

— Добрый вечер! — вымолвил наконец.

Саттихан, как хорошая хозяйка, заставила гостя встать, постелила еще новую курпачу. Дастархан расправила перед отцом и гостем и скрылась с чайником в руке.

Уста Умар сидел, покачиваясь, глаза прикрыты.

— Ташпулата видел во сне, — заговорил задумчиво. — Шел уста по улице. Сколько ни звал я его, не обернулся. . .

Миралим, услышав имя отца, встрепенулся, подвинулся ближе к хозяину. Но об отце уста Умар больше ничего не сказал.

— Уста Миралим, сыном своим называю вас.

— И я. . . я т-тоже. . . Своим отцом вас считаю, — заволновался Миралим и еще придвинулся к мастеру.

— Вот что хочу сказать, — вздохнул старый мастер. — Моя мастерская и все, что в ней есть, с этого дня — ваша.

— Зачем вы так, сами еще поработаете, — запротестовал Миралим.

Уста Умар покачал головой, ткнул себя пальцем в кадык:

— Вот здесь, висит на волоске. Чуть посильнее кашляну — и оборвется.

— Внук у вас, Ганишер.

— Да разве он оценит? Говорят, из металла станок соорудил. А про этот, вскормивший дедовский род, заявил — «В музей надо сдать!» Вот как!

Миралим и сам согласен с Ганишером. Но зачем расстраивать старого уста?

Саттихан внесла касу с супом. Не успели опустить в нее ложки, во дворе появился. . . Махамадшер! Миралим поднялся, Махамадшер в «Ривожии» теперь третье лицо. Шадманова своего заместителя по хозяйственно-торговым делам недавно на планерке поставила в пример другим руководителям производства: «Вот это голова! Из ничего может сделать все!»

Зачем же владелец столь замечательной головы пожаловал сюда? Что ему понадобилось от бывшего тестя? Миралим поднялся из вежливости, но зорко вглядывался в лицо этого мастера «из ничего сделать все», старался разгадать причину визита. Махамадшер просто так ничего не делает. Прошлой осенью договорился с колхозом, обеспечил работников «Ривожии» картошкой на зиму. А потом все, конечно, благодарные ему, проголодовали за улучшение его жилищных условий в первую очередь.

— Салам! — склонил голову, поднявшись на айван. — Сидите. — Нажал на плечо Миралима и опустил ся на курпачу у входа. — О, тысячу раз слава аллаху! Вижу, вы поправляетесь, — поклонился хозяину. — А я все собирался почтить вас, но — служба! Минуты свободной нет. Предприятие большое. Заботы-хлопоты — все на моих плечах. Однако через него, — кивнул на Миралима, — о вас все знаю. Не даю покоя ему, прошу: «Я никак не вырвусь, так ты хоть не бросай их!»

Он вынул завернутую в бумагу самсу, положил на дастархан.

— Чтoб не с пустыми руками. Немного, но от души, дада.

Уста Умар поежился.

— Напрасно беспокоились.

— Не обижайте, дада. При чем здесь беспокойство? На руках вас должен носить. Дед моего единственного сына!

«Подбирается ведь к чему-то!» — Миралим за ним наблюдал.

— Кушайте, пока теплая! — упрашивает Махамадшер.

— Зубы уже не те, — отклоняет уста Умар.

— А вы начинку, мясо, — разламывает самсу пополам и кладет перед бывшим тестем.

Уста Умар ищет глазами Саттихан. «Хочет, чтобы она принесла еще касу супа», — догадывается Миралим и спешит выполнить его желание.

Саттихан будто того и ждала. Встретила парня смеющимся взглядом.

— Побеспокоила я вас, уста! — весело выглянула из за зарешеченной двери кухни.

Нет, не похоже, чтобы она чувствовала себя виноватой. В письме намекала на что-то. А сейчас, наоборот,

на него смотрит насмешливо, мол: долго ли еще в молчанки будем играть?

Сведя как бы умоляюще брови, подала ему касу с клубами пара.

— Простите, что затрудняю, уста. Не хочу выходить к этому дяде Поруму.

Миралима бросило в жар — не от паров горячей шурпы, игривый тон девушки смутил. И почему она говорит «уста»? Его, правда, так называют уже в «Ривожии». Но она явно смеется. Уходя, укорил все-таки:

— Н-нет, что еще за «уста»?

С касой в одной руке и с чайником в другой поднялся на айван.

Махамадшер изливал «боль» своего сердца:

— Покойный мой дед говаривал: «После хорошего человека остается в памяти имя, после плохого — страдание». От него ли пошло, не знаю, но по мере сил стараюсь делать людям добро. Вот вам, дада, скажите по чистой совести, причинил ли какое зло? Прошу, прямо в лицо говорите. Если было, то по нечаянности, во что бы то ни стало искуплю вину...

«Замучил он уста». Миралим кашлянул.

— Ах, это вы? Похоже, у нас с вами одна беда. Плачем вместе, может, тронут уста наши слезы.

«Пьяный, что ли?» — удивился Миралим. Махамадшер взял из его рук касу, как бы в задумчивости проглотил две ложки, поставил касу на дастархан и продолжал свои излияния:

— Говорю, в крови у меня доброе людям делать. Возьмите те тридцатые голодные годы. Голод гнал к нам людей, и они, несчастные, замерзали на улицах — зима была суровая, — валялись, как головешки. Да и из нашего народа тоже немало гибло. Многим я тогда вдохнул жизнь. Только не все это поняли. Но вы хорошо знаете: правильно ли я говорю?

Уста Умар покачнулся. Воспоминания о том годе всегда причиняли ему боль.

— Да пошлет вам бог... — еле смог пошевелить губами.

Миралим разлил в пиалы чай.

— Не все, конечно, помнят хорошее. Хэ-э, только на бога и надежда.

Уста Умар отпил глоток, поставил пиалу на дастархан, прикрыл глаза.

«Да замолчите, видите, ему совсем плохо», — собрался уже сказать Миралим. Но тут Махамадшер пошел в другое русло:

— Дада, застраиваю для вашего внука участок.

«Успел!» — подумал Миралим.

— Закончим строить и свадьбу под вашим почетным руководством сыграем. С карнаями, сурнаями — все как положено. Что на это скажете?

Уста Умар приоткрыл глаза, слабо улыбнулся.

— И невесту недалеко искать. Рядом участки Шадмановой и Давлатова. У соседей и поищем. Хочешь повеситься, выбирай крючок повыше. Верно говорю, родственник? — дружески хлопнул по плечу Миралима. — Для кого же еще мне стараться? Только и есть у меня сын Ганишер.

«И в самом деле, только он», — вынужден согласиться в мыслях Миралим.

— Один-единственный наследник у меня — Ганишер. Ради него живу на этом свете, ради него тружусь. Все, что добыл, ему достанется. А вот ваша дочь не хочет понять этого. Ради счастья Ганишера я простил ее — и она пусть простит меня, если что было. Я вам честно покаюсь. Склоняю голову к вашим ногам. Женщин на свете хватает. И у меня было их достаточно. Когда вернулся из своего «путешествия», два раза женат был. Но чувства мои были не с ними, оттого и рассчитал их быстро. Одна мечта моя — Ганишер. Ради него и в «Ривожию» согласился поступить. Поближе к сыну. Уговорите дочь, прошу вас. Ради счастья вашего внука, — он склонил голову перед уста Умаром. — И вы тоже не чужой, — закинул руку на плечо Миралима. — Не ослеп, все вижу. — И зашептал в самое ухо соседа: — Одна цель у нас. Деверьями будем. Постарайтесь уговорить Сайлихан. Она вас уважает, послушает. Эй, родственник, взгляните мне в глаза, — сильно сжал плечо Миралима, — мы не из тех, кто забывает услугу.

— С-сватовство...

— Сватовство, посольство — назовите, как удобно. Главное, убедите ее, — прошептал в ухо и все похлопывал по плечу.

Миралим покачал головой и сказал громко:

— Я зайка, мой язык, — показал на рот, — не годен для свата.

— Вай, зачем так, родич? — Махамадшер говорил, уже не таясь. — Да вы, смотрю, юморист. В нашем слу-

чае не язык важен. Важно доверие, которое питает к вам Сайлихан. Убедите ее. — И снова зашептал: — Увенчаю венком из сторублевков.

— Д-д-ден-ньги!.. — Миралим не мог выговорить слово от возмущения.

— Не надо. Понимаю, знаю ваше бескорыстие. Но для хорошего дела отчего и не взять денег, — снова тот же шепот в самое ухо. — Не стесняйтесь, если понадобится...

Миралим скривил губы:

— Спасибо за заботу...

— Родич! Жалея вас, говорю! — сморщился Махамадшер. Миралим побледнел. Такая жалость оскорбляла. А этот «финансист» все не мог уняться: — Молодой человек, руки золотые! И так бессмысленно погубили здоровье.

— Бессмысленно?! — изменился в лице Миралим.

— Не торопитесь, родич! Оговорился, жалея вас. Я тоже понимаю. Защищали Родину! Наш долг...

Миралим усмехнулся:

— И вы говорите о долге?

— Забываетесь, молодой человек, — глаза, которые только что просяще улыбались, похолодели. Теперь они угрожали. Махамадшер вытащил из галифе носовой платок, вытер лицо, встал с места. — Не обижайтесь, дада! Мы пошутили, — лицо опять сладко улыбалось, и следа не было недавней злобы. — У молодых бывает.

Уста Умар кивнул устало:

— Да, в молодости по-всякому шутят.

— Ну, родич! — повернулся к Миралиму. — Пойдем, что ли, вместе?

— Не могу. Наши с вами пути-дороги не сходятся.

Махамадшер не ответил на нелестные слова и, обратив лицо к уста Умару, тонко улыбнулся, мол: что с него взять — заяка, не в себе человек.

Миралим кипел. Встал, чтобы уйти, — не дай бог еще разволнует уста Умара. И вдруг сквозь оставленную Махамадшером открытой настежь дверь услышал залиvistый хохот. На дворе на кухне захлебывалась смехом Саттихан. Лучшее лекарство для Миралима не придумаешь. Тотчас спустился к ней.

— Никак не ожидала! — выговорила, давясь смехом.

И Миралим, сам того не заметив, рассмеялся вместе с нею.

— Чего не ожидали?

— Да как же, обратили в бегство дядю Порума! А вы, оказывается, отважный.

— Не очень, — Миралим покачал головой, а в глазах смешинки.

— Кого же вы боитесь, если не секрет?

— В-вас.

В сумерках двора громко отозвался их дружный смех. Смеялись, забыв обо всем. Даже об отце, который все еще сидел на айване.

VI

Сахибджан, сняв сапоги, поставил их на айване. Заглянул в дверь. Мать сидела у ниши спиной к нему и что-то разбирала в сундуке.

«Слава аллаху! Курпачи — подушки прибраны, — обрадовался сын. — Поправляется».

По холодной подстилке прошел к сандалу, присел. Сандал хоть и не пышет жаром, но тепло сохранил.

— Ужин твой. . . — Хидай-биби оперлась рукой о край сундука, хотела подняться.

— Я сыт, — мягко остановил мать.

— Чаю выпей.

— Не беспокойтесь. Сам достану. — Просунул руку под сандал, нащупал чайник, но оставил на месте. Привалился к продолговатой подушке, заглянул: что там она делает? — Не иначе к торжеству готовитесь!

Думал развеселить мать. А она обернулась к нему — на осунувшемся лице печаль и страдание.

— Эти вещи, — положила руку на узел, повязанный большим цветастым бельбагом, — отложила для моих похорон.

Будто ледяной ветер коснулся лица Сахибджана.

— Запомни, сынок, чтобы потом не суетиться. — Приняла руку с первого узла, положила на другой: — Это для савана. А здесь, — показала на узел, увязанный в зеленый бельбаг, — отрезки материи. Раздадите тем, кто придет на мои похороны. . . после того, как засыпят меня землей. И вот еще. . . — Вынула из внутреннего кармана черной душегрейки газетный сверток. — Здесь тысяча рублей. — На его удивленный взгляд сказала: — Яйца продавала, вот и накопила.

Сахибджана поразило, как тщательно мать готовилась к своей смерти, задолго, оказывается, собирала,

складывала вещи, копила деньги. Но спокойствие и основательность, с какими показывала все эти узелки, невольно все это передалось и ему. Он даже грустно усмехнулся. Вспомнилось, что и к похоронам отца все так же было припасено. Да, сколько он себя помнит, и отец, и мать трудились не покладая рук. И все несли в дом — трудолюбивые муравьи, складывающие в кучу былинки и травинки. Таков обычай. В сундуках хранится имущество и для похорон, и для свадьбы. Так в каждой узбекской семье. Всю жизнь собирают, чтобы потом враз, не жалея, истратить. Когда отец покинул этот мир, все ушло на похороны, на траурные обряды. И на его свадьбу, он знает, мать тоже накопила все что положено.

Сахибджан задумчиво посмотрел на мать. Сколько себя помнит, жили они в этом доме. Дружная семья. До войны втроем. А потом, когда мобилизовали на строительство Ферганской ГЭС, остались вдвоем с матерью. Мать уже и тогда жаловалась на нездоровье. Жилось им нелегко. По крохам собрала все-таки денег, купила на базаре халат и тюбетейку. Радовалась, делилась с сыном: отец вернется, будет что надеть. Надеть-то надели, только не в радостный день.

Вернулся отец домой незадолго до Победы, наши войска были уже в Берлине. Сахибджан хорошо запомнил тот вечер. Он пришел раньше обычного и на своей усадьбе прореживал кукурузные строчки. Смеркалось. Заскрипели ворота, во двор вошел отец. Сын кинулся навстречу, хотел обнять. Но мать опередила, не подпустила к отцу. Теперь он понимает — она берегла сына. «Согрей воды в старом казане!» — сказала, встав между ними. Лицо отца горело, расширенные зрачки блестели. Сахибджан счел даже, что он пьяный, и очень удивился — знал, что отец не терпит спиртного. Мать сразу все поняла. В дом не пустила, сначала повела в хлев. Там она — очень чистоплотная женщина — купала мужа в горячей воде. Обрядила во все чистое и только тогда ввела в дом, уложила в постель. Снятые с него обноски бросила в казан и до полуночи стирала. А полагалось бы все сжечь. Тиф ведь был у отца. Но это он теперь так соображает. А тогда шестнадцатилетний парнишка не очень и понимал, что творится в их доме.

Случайно его рука коснулась руки отца. Она горела как раскаленная медь. Очень испугался, закричал: «Мама!» Мать во дворе за стиркой не услышала зова. Вско-

чил с места, хотел бежать за врачом. Отец, казалось, лежал в забытьи. Но тут открыл глаза, попросил:

— Спасибо, не надо. Не уходи от меня.

Сахибджан удивился: разве сына благодарят? Присел около отца. Отец заволновался, принялся сбивчиво рассказывать что-то, и, пока он говорил, сын все больше и больше удивлялся.

Начал с того, что долго ругал какого-то человека. Называл его «Порум». Помянул весь род этого Порума до седьмого колена. Говорил странно, отрывисто. Словно бредил. Какого-то тракториста вспоминал:

— Тракторист доказывал, убеждал Порума: надо в объезд, мост прогнил, не выдержит! А Порум уперся на своем: «Ты мне голову не морочь. Большевики не сворачивают с прямой дороги! «Не выдержит!» Скажи уж — испугался. А еще Джура-палван называешься. Тьфу!» И даже плюнул. Мы с этим Порумом стояли на другом берегу, но все равно плевков был как в лицо тому Джуре-палвану. Парень услышал — почернел. Вскочил на трактор. Я кричу, руками ему машу — что делаешь? А Порум на меня зашикал. Тракторист и не смотрел в мою сторону. Рванул рычаг. . .

Заброшенное было место. Гиблое. Людей кругом — никого. Обходили стороной. «Чертов мост» прозывался. . .

Я и Порум смотрели с противоположного берега. Передние колеса трактора прошли, задние тоже. Был уже на середине. И тут мост затрещал. Гнилой был чертов этот мостик. Трактор рухнул в болото. Спасать надо, а Порум стоит наверху и еще ругается: «Паразит, вредитель, советское имущество губишь!» А бедного тракториста не видно, тонет. Я бросился на помощь. Порум меня за халат: «Назад! Бегн к людям. Пусть все, кто на пахоте, гонят сюда с волами». Вернулся я с людьми и с волами. Порум стоит на берегу, руки в свои галифе засунул. Даже сапог не замочил! Бесчестный! Должность, что ли, потерял бы, если бы скинул свою форму да вытащил из воды сына человеческого? Навалились все вместе, вытащили и трактор, и тракториста. Поздно однако. Захлебнулся человек. И на мне вина, сынок. Зачем Порума послушал, не кинулся в воду? Не могу забыть. . . Никогда. . . В глаза твои как посмотрю? . . Э-эх! — Отец приподнял голову с подушки, пристально посмотрел. — Э-эх! — покачал головой, нетерпеливо отбросил одеяло. Глаза лихорадочно блестели. Он весь горел. — По совести сказать вам, сынок. . . — Сахибджан

вконец растерялся. С чего это отец говорит ему «вам»? — По совести, тот тракторист, пусть душа его будет в раю, ваш... — Лицо его еще больше запылало, в глазах — боль. Не договорил, оборвал себя: — Мать не оставляйте... Обещайте мне...

Сахибджан ничего не мог понять. Зачем ему оставлять мать? Конечно, всегда будет с ней. Отец не отрывал от него глаз. Словно бы хотел еще что-то добавить. Причмокнул пересохшими губами. Сильно забеспокоился, попытался подняться — упал на подушки.

— Вы, конечно, простите нас, — глаза выпучились, он странно, вроде с мольбой посмотрел на сына и опустил веки. — Да на том свете не простят.

Разговорился, а ведь всю жизнь молчуном был. Что ему, больному, привиделось? О чем он? Никогда ни на кого голоса не повысил и пальцем не тронул никого. А тут опять принялся громко ругать Порума.

В это время в комнату вошла мать. Рукава подвернуты до локтя. Прижала голову отца к подушке, зажала рот расперенной от стирки ладонью.

— Не болтайте! — прикрикнула, и отец послушно закрыл рот. — Не слушай, сынок, бредит он, — и погладила Сахибджана по голове.

Отец утих. Он и здоровым не смел поднять на жену голоса, а тут — вытянулся. Лежал спокойно, только дышал часто и тяжело. В ту же ночь перешел его отец в мир иной.

Сахибджан с беспокойством взглянул на мать, все еще копящуюся в узлах. «А вдруг и она уйдет?» — от этой мысли даже дыхание перехватило. И словно в ответ Хидай-биби сказала:

— Отца твоего в последние дни все во сне вижу. Зовет, значит, к себе. — Хидай-биби вздохнула. — А я еще с делами на этом свете управиться не успела. Женить бы тебя, хоть свадьбу твою увидеть. Тогда спокойно можно вытянуть руки-ноги. — Пальцами вытерла слезы.

— Ну вот, сами видите, спешить некуда, — попробовал повернуть на шутку. — Простаков, мама, здесь нет, чтобы отпустить вас к отцу. Ваши планы... Их, знаете, положено с перевыполнением делать.

Хидай-биби попробовала засмеяться. Смех перешел в мучительный кашель. Дыхание со свистом вырывалось из легких. Она грустно покачала головой.

— Планов у меня целая куча. Только выполнить их

вряд ли смогу, — принялась складывать узлы обратно в сундук. Напомнила: — Видишь, все тут. Есть у меня еще что сказать тебе.

Замок тихо звякнул. Хидай-биби спрятала ключ под сложенным ковром и снова многозначительно посмотрела на сына.

Сахибджану был понятен ее взгляд. Новый яркий-красный, как огонь, ковер давно лежит в нише, дожидается своего часа. Покойный отец однажды привез его с базара, купил на деньги, вырученные от продажи телки. Сахибджан помнит, с какой гордостью вручил он матери эту красоту. А потом, сидя на супе, торжественно объявил: «В подарок невесте!» Об этой мечте и говорил взгляд матери, когда прятала ключ под ковер.

Хидай-биби, держась за стены, с трудом добралась до сандала. Лицо побелело, хватала воздух открытым ртом. Сахибджан протянул ей пиалу с чаем. Хидай-биби отвела его руку.

— Не хочу, чтобы за мной остался неоплаченный долг... — зоб на ее шее судорожно дернулся.

Сахибджан придвинулся к матери, поднес к ее губам пиалу.

— Хлебните!

Хидай-биби сделала глоток, отдала пиалу, закрыла глаза. Так просидела довольно долго. Сахибджан с тревогой смотрел на нее. Вот она глубоко вздохнула, подняла отяжелевшие веки. Лицо усталое, будто проделала тяжелую работу.

— Чтобы потом не обижался на нас с отцом, должен теперь узнать...

Начала рассказывать издалека, о том, что за человек был Маллабай.

Давно не слышал Сахибджан рассказов-историй, с которыми раньше нередко коротали вечера. Облокотясь о сандал, приготовился слушать. Но непривычная значительность ее слов настораживала, тревожила.

Отец Маллабая был садовником. Когда дед Махамад-порума, разбогатеv, надумал вырастить сад за чертой города, как раз отец Маллабая и взялся растить его. За ним бегал в сад, а затем и помогал сын Маллабай. Позднее сад унаследовал Сайфитдин-махсум. А как началась коллективизация, сад отобрали у муллы Маха-

мада, по прозвищу Порум. Порум остался ходить в начальниках. И Маллабай, теперь он стал садовником в колхозном саду, оказался у него в подчинении. В это время случилась темная история. Из-за этого Порума погиб тракторист Джура-палван.

Маллабай, как и отец, был человек неразговорчивый. Видно, работа в тиши сада располагает к тому. Небольшого роста, сложения некрепкого, движения — скупые. Говорил мало, но если скажет слово — всегда к делу. За что Маллабая уважали. Когда женился, стал еще молчаливее, избегал шумных сборищ. Если сверстники собирали пирушку, Маллабай находил отговорку, уклонялся. Товарищи подкалывали: «Этот сын садовника, не иначе, завязывает заработанное в девяти мешках, а сам никак жиру не нагуляет». Жиру он и правда не нагулял. Всегда, сколько помнит его Хидай-биби, все ребра наружу, пересчитать можно. Лицо худое, с вислыми щеками. Редкая рыжая бороденка едва прикрывала аврат — то место, что положено по шарияту прикрывать. А глаза у него были — большие, голубизны небесной, глядели всегда печально.

Нет, Маллабай никогда не был скупцом. Да и складывать в девять узлов было нечего. Слава богу, черный казан кипел и на двоих хватало. А что к сверстникам не тянулся, на то своя причина. Год от году ждали они ребенка и наконец перестали ждать. Вот какая незаживающая рана мучила его. А товарищи, известно, любят подтрунивать, шутить. Их шутка — соль на рану несчастного. Народ бывает разный. Одни сочувствовали их бездетности, а находились и такие — обдавали презрением. И то и другое больно. Вот и ходили оба, втянув в себя шею. К аллаху взывали, слезы лили, затаенно ждали. Печаль не разъединила их, наоборот, сблизила, но от людей удалила. Находились советчики: «Да что ты с ней связался, других, что ли, нет? Подумаешь, какую луну ухватил! Оставь ее, бесплодную».

А Хидай-биби разве не человек? Ей что — легче? Вздохнет муж, она над ним мотыльком вьется. Детство было у нее несладкое. Только бы и порадоваться замужем. Если б покинул, растоптал — умерла бы. Маллабай утром позавтракает, сядет на ишака и со своей печалью с сад. В руке одноручная пила, за поясом садовые ножницы, за плечом — кетмень — и до вечера. Со своими деревьями и про горе забудет. Вернется вечером, вроде и повеселел. Если еще и она встретит с улыбкой, вечер

пройдет хорошо. А как заметит муж следы слез на ее глазах, примется утешать: «Хидай-Хидай! Что поделаешь! Видно, так богу угодно».

О, сказать легко, да горе от того не убудет. Бывали дни, сидят муж и жена, в разные стороны уставятся, друг другу слова не скажут. И чем дальше, тем больше наваливалась на них тоска, чаще наступали такие безмолвные дни. А если услышат — заплакал соседский ребенок или, наоборот, смеется-радуется, тут уж совсем поникнут. Было даже так: возится она как-то с домашними делами, видит, Маллабай сидит гуча тучей и шепчет что-то себе под нос. На улице, как раз у их двери, дети разыгрались. Услышала она, что шепчет муж: «Дом, где есть дети, — базар, дом без детей — мазар», — душа упала. И сказала себе: не будет у них с Маллабаем жизни, и вправду дом их станет могилой.

И тут случилось. Чуть ли не назавтра заходит к ним во двор разодетая в атлас и бенаресскую кисею Анзират — свояченица того Порума, который был начальником Маллабая. С чего эта «ханум» явилась? Хидай-биби в этот час толкла зерно в большой ступе. Поздоровалась гостя вежливо, а то ведь и кивком не устаивала. Не иначе, понадобилась ей зачем-то Хидай-биби. В дом, правда, войти не согласилась.

— Есть у меня для вас хорошая весть, — заговорила, поддериывая подол. — Ребенок остался без матери, можете усыновить.

Рассказала, что сейчас он у стариков. Только бабка очень больная. Бойтся, умрет — и дитя одно, без призора останется. Да и бедные они, самим есть нечего.

— Посоветоваться с мужем надо, — так ответила ей Хидай-биби. Ушла «ханум», но как найти тех людей, на всякий случай подробно рассказала.

Ждала Хидай-биби мужа — терпенья не было. Знала ведь, что придет, когда солнце закатится. Все равно то и дело на ворота поглядывала. Наконец, в пору вечернего намаза, с улицы донеслось мычанье коровы. Скоро с другой стороны и теленок заревел. Хидай-биби кинулась открывать ворота. Привязала корову, бросила в ясли шелухи. Теленка распутала, подпустила к вымени. Тут и Маллабай входит. Присела на корточки, зажала между коленами кувшин — молоко, звеня, ударилось о дно. Дойт, а сама глаз с мужа не спускает. Он в это время умывался у арыка. До сих пор у них не возникало

разговора, чтобы усыновить чужого ребенка. Время было голодное, лишний рот — обуза.

Вот муж поднялся. Она расстелила скатерть на супе под виноградным навесом. Принесла похлебку из джугары, с кислым молоком. Тут за ужином и осторожно намекнула, какие, мол, дела бывают. Одни без детей тоскуют, другие ищут, кому бы отдать ребенка, не нужен, видишь... Маллабай покончил с похлебкой, тщательно выскреб чашку, облизал ложку и, глядя в сторону, буркнул: «Чужой ребенок своим не станет».

Малыш из махалли Ходжагай не выходил из головы. Она думала, размышляла, и все для нее сводилось к одному — взять его. Анзират сказала, что отец ребенка умер, мать вышла замуж за другого. И теперь остался сирота никому не нужный. А ей очень нужен. Целую неделю, ходит ли, сядет ли, все мысли о нем. Хоть и не видела еще, а так полюбила, сделалась точно пьяная, не слышала и не видела ничего вокруг.

Прошла неделя. Она решилась. Ноги сами несли к махалле Ходжагай. Свернула в улицу и, как объяснила ей Анзират, направилась ко вторым воротам, считая от угла. Пухленький мальчик, сидя прямо в пыли, играл перед воротами. Она засмотрелась на ребенка, обошла вокруг дважды. «Может, он!» С радостно бьющимся сердцем пролетела через крытый проход в маленький дворик, окруженный постройками со всех четырех сторон. На супе под шелковицей сидел старик. Опустила паранджу, поприветствовала. И тут разобрала — не годами старик, нужда, видно, состарила. С айвана донесся слабый женский голос. Там на курпаче лежала пожилая женщина с отеками бледно-желтым лицом. Хидай-биби назвала себя и объяснила, что направила ее сюда Анзират-апа. В ответ на эти слова больная заплакала.

— Посмотрите на меня, дорогая. Немного дней протяну еще. Когда живот пухнет — это конец. Не о себе, о внуке тревожусь. Совсем маленький... На кого оставляю?... Вот бы скромный мусульманин нашелся... Устроить внука. Тогда со спокойной душой покину этот мир.

Со двора послышался плач ребенка. Сжимающий сердце плач приближался. Хидай-биби оглянулась. Девчушка с ребенком на руках поднималась на айван. Что это был за ребенок! Глаза на бескровном личике ввалились. Непомерно большая голова качалась на тоненькой шейке. Ноги, руки совсем как камышинки.

— Воспитайте его, дорогая! Аллах не оставит вас. Пусть будет вам в жизни радость, удача, — запричитала больная. — Сатти, передай тете братишку.

Хидай-биби взяла плачущего младенца на руки и невольно вспомнила малыша, который играл на улице.

— Навсегда отдаем. И расписку дадим. . .

— При чем тут расписка? Слово ваше нужно. Воспитаю его во имя аллаха.

— Слово наше одно, — сказал тот старик, что поздоровался во дворе. — Ребенок ваш!

Больная и аксакал благословили ее, и Хидай-биби вышла со своей ношей за ворота. Вдогонку неся отчаянный крик девочки: «Братик, братик мой!»

Всю дорогу ребенок беспрерывно плакал. Из носа лило. Он размазывал синими кулачками новые потеки по тем, что насохли раньше. Весу в нем совсем не было — кожа да кости, прикрытые лохмотьем. И запах. . . Похоже, неделями не мыли. Стыдно, если кто из прохожих увидит. Прикрыла паранджой и задохнулась. Потихоньку, чтобы не заметили люди, отворачивала лицо в сторону — глотнуть воздуха.

Вошла в свою Мельничную махаллю. На дороге беседовали две соседки. Одна из них ахнула, заметив ее ношу.

— Вай, горемыка! Неужто усыновить взялась?

Хидай-биби кивнула. Другая тоже со своим советом:

— Поберегись, Хидай, не станет он человеком.

— Может, и станет, попробую.

— Гиблое дело, только на саван потратишься.

— А вам какая забота?

— Ва-ай, зачем злишься? За твой труд обидно. В младенце душа еле держится.

— За меня не переживайте! — резко оборвала их. — Умрет, небольшой расход — всего и потребуется в кисейную рубашку завернуть.

Наконец добрались до своей усадьбы. Первым делом накипятила воды в казане. Одежду — никуда она не годилась — сунула в очаг. Малыша посадила в таз, искупала. Несколько раз меняла теплую воду. Целый кус мыла ушел, пока сошла с него вся грязь. Больная женщина, вручая ей внука, сказала: «Три годика исполнилось». А вынула Хидай-биби голого мальчика из воды, и показался он ей младенцем, которому и года нет. Она обмакнула палец в сметану, ребенок жадно принялся

лизать. Никак не мог насытиться, бедняжка, все разевал рот, как птенец. Успокоился немного, уснул.

Как обычно, на заходе солнца подъехал к воротам на ишаке Маллабай, погоняя рыжую корову. Жена в этот вечер особенно старалась угодить. Приняла повод. Подставила плечо, чтобы удобнее было спуститься на землю. Маллабай вошел в дом и тут же с раздражением вышел. Видно, заметил ребенка. За ужином хмуро молчал. Хидай-биби не успела и двух ложек хлебнуть, в доме захныкал ребенок. Налила пиалу чая, понесла в дом. Ребенок затих. Когда вернулась, похлебка давно остыла. Маллабай пил чай, и лицо его вроде бы просветлело. «Все в руках божьих», — обрадовалась Хидай-биби. Тут она и рассказала, где нашла ребенка, как принесла его в дом.

— Подарки наши, видно, приняты святыми ясновидцами. Исполнилось наше желание, отец! Сам бог послал его нам! — Хидай-биби старалась размягчить сердце мужа. Не он ли сам мечтал как о счастье — услышать слово «отец».

— За добрые дела в награду или в наказание за грехи наши посланец этот — известно только богу, — с сомнением ответил муж.

— Зачем так говорите? В награду, конечно.

— Хочу тебе кое-что сказать, Хидай!

Хидай-биби забеспокоилась. Непохоже ведь на него, чтобы так много говорил.

— Ты знаешь хоть, чей этот ребенок? Твоя Анзират, что тебя направила в махаллю Ходжагай, кем она приходится Махамад-поруму, ты знаешь. А знаешь ли ты, что за него, за Махамад-порума, выдали мать этого ребенка, Сайли, вдову погибшего тракториста? Смекай, за кого хлопотала твоя Анзират! А что касается младенца, мудрые оставили такое изречение: «Возьмешь к себе осиротевшего ягненка — будешь в масле кататься, усыновишь сироту — изойдешь кровью. . .» Ты слышала это?

Хидай-биби испугалась:

— Эй, не гневите аллаха!

Долго сидели молча. Стемнело. Спустилась ночная тишина. Только и слышно было — лягушка квакает на большом арыке.

— Послушай, Хидай! Хочу рассказать тебе притчу.

«Ой, как разговорился сегодня!» — Хидай-биби насто-рожилась.

— Однажды Махаммад-пророк вышел из мечети после утреннего намаза — и послышался ему плач младен-

ца. Пошел на голос. На обочине лежал ребенок. Пророк постоял над ним и вдруг — улыбнулся. Приближенные — они шли за ним — не знали, что означает такой знак. Тогда святейший Али Шахимардан спросил: «Вы знаете, почему плачет этот маленький иноверец? В его плаче слышу я вот что: усынови меня, а я со временем доберусь до твоей головы!»

Хазрат Али был истинно правоверный, но мягкий душой. Он наклонился к ребенку и поднял его.

«Во имя аллаха усыновляю!»

Усыновленный вырос, стал джигитом. Как-то пригнал он коня своего к реке, хотел напоить. И увидел: купается в реке девушка невиданной красоты. Приеммыш святого Али. . . Эх, как же звали его? Сайфитдин-махсум говорил мне. Совсем позабыл. Тот, значит, приемный сын, начал девице слова любви петь. Она в ответ — только смеется. Джигит преградил ей путь. Тогда она и скажи: «Чем докажешь свою любовь?» — «Хочешь, брошусь в реку?» — сказал юноша. «Какой толк! Если любишь, убей Али. Тогда и я полюблю тебя». Вот как эта неверная ненавидела бога и святых пророков его. Юноша испугался: «Он ведь святой! Меч не возьмет его тела». Тут колдунья-иноверка раскрыла ему тайну: «Когда Али переступит порог мечети и начнет класть поклоны, благость растопит его тело, станет оно как ртуть. В этот миг не то что меч, игла убить его может».

И приемный сын. . . Эх, как же его звали? . . . Ну, собрался святой Шахимардан в мечеть к полуденному намазу, а приеммыш вслед. Хазрат Али склонился в земном поклоне. Тут названный сын и взмахнул мечом. Благословенный. . .

— Ой-й! — вскрикнула Хидай-биби.

В комнате заплакал ребенок. Хидай-биби вскинулась бежать. Маллабай задержал.

— Почему плачет этот сирота? — повторил слова пророка.

— Да ну вас, не накликайте! — махнула на него рукой, как бы отталкивая и свой собственный страх.

— Эта история записана в мусульманских книгах. Не я выдумал. Сайфитдин-махсум лично изволил прочитать ее нам. Ребенок ведь сын того тракториста.

Хидай-биби засветила керосиновую лампочку. Ребенок все плакал. Муж посмотрел, наморщил лоб и ушел в хлев.

Нет, Маллабай не был жестоким человеком. Наоборот, очень мягкий, детей любил. Мечтал, чтобы жена подарила ему сына. Хотел передать наследнику свое умение. Садовники в их роду от деда. Продолжатель рода! Несчастливая семья, где нет его. Она понимала мужа. Если бы хоть ребенок был со стороны, от незнакомых родителей. А тут ведь что оказалось? Пасынок Махамадпорума. С тех пор как погиб на его глазах Джура-тракторист, Маллабай не мог слышать этого имени — Порум. Хорошо еще, что тот уже был не начальник мужу, на другое дело перешел. Считал муж его причиной беды. И себя в чем-то винил.

Чей бы он ни был, для Хидай-биби все равно. Младенец уже врос в ее сердце. А Маллабай? Она знает его: привяжется, полюбит. Она не сомневалась — от бога этот младенец.

Маллабай подбросил корму корове с телятком, проверил ишака. Припер ворота. Вернулся в дом. Она косилась в окно, следила за ним.

Ночью муж толкнул ее в бок:

— Хидай!

Проснулась. Что такое? Пошарила вокруг себя — младенца в постели нет. А ведь заснула, прижимая его к груди. У двери кто-то скребется, вроде кошка. Поднялась.

— Тавба! — вскрикнула удивленно. — До самого порога добрался.

Положила ребенка между собой и мужем. Несчастный прохныкал всю ночь. Маллабай ворочался, кряхтел. Проклинал про себя неожиданную обузу. Хидай-биби тревожилась и тоже не спала. Утром муж раздраженно сбросил с себя курпачу. В первый и последний раз за всю их совместную жизнь прикрикнул на жену:

— Выбрось этого бесхозного!

Хидай-биби промолчала. Но когда он за пиалой чая пришел в себя, сказала мужу, глядя прямо в глаза:

— Если понадобится его выбросить, уйду и я. Пусть вам будет спокойно.

Маллабай не ответил. Вышел во двор. У жены твердый характер — это ему хорошо известно. А тут видел — она просто пылает. Досталось ей дитя, и вцепилась в него. Ни перед чем не остановится.

И назавтра проснулись от детского плача. И послезавтра. И надо же: проснутся ли в полночь, под утро — ребенок, который лежал между ними, оказывается ка-

ким-то образом под дверь, скребется и хнычет. А то так и заснет около двери.

— ... Вот так и растила тебя. Думаешь, легко мне досталось? Пришло время. Вы оба — и отец, и сын — признали друг друга. Да еще как полюбил отец тебя. Все лучшее, что появится в доме, — тебе. Нальется соком урюк — первый плод сыну. Зарумянится яблоко — обязательно принесет тебе. Завернет в бельбаг фрукты и — домой, сынишке. Подрос ты, крепкий мальчик стал. Тут уж — отец в сад на работу, и ты не отстаешь. Посадит тебя перед собой на осла, и едете вместе. Очень вы сдружились. Старое имя ты позабыл. Отец назовет, бывало, тебя: «Сахиджан!» — а ты в ответ: «Яббай?!» — значит: «Слушаю». — Не «яббай», пострел, лаббай, учил тебя. Скажи: лаббай.

Увядшее лицо Хидай-биби засветилось, редкие ресницы затрепетали. Она прижала кончик кисейного платка к глазам.

— А что с ним сделалось, когда ты в первый раз назвал его «папа»! Как безумный стал. Не ходил — летал. И плакал. И потом всякий раз, как скажешь «папа», крылья у твоего отца вырастали. Полюбил тебя крепко. И чем больше любил, тем сильнее боялся за тебя. Стал настаивать, чтобы переехали. Ты помнишь, как мы переезжали сюда?

Сахиджан напряг память, но ничего вспомнить не смог. Покачал головой.

— Да, ты заснул тогда, что тебе помнить. Отец твой договорился с караванщиком. Он возвращался порожним из Маргелана сюда. За одну ночь и перебрались. Соседи даже не услышали. С того дня в городе совсем не бываем. Думаю, теперь даже дом свой не найду, за была.

Она задумчиво крутила в пальцах бахрому скатерти.

— Отец перед смертью хотел открыть тебе тайну. Вообразил, несчастный, что в чем-то виноват перед Джурой-трактористом. А в чем мог быть хоть перед кем-нибудь виноват? Ты сам хорошо помнишь отца. Такой тихий, мягкий и добрый, разве мог он кого-то обидеть? Упрекал себя, что не успел спасти тракториста. Оттого в первые дни и смотрел на тебя чуть не с ужасом. Считал божьей карой. А после, наоборот, думал, что сам погибший отдал младенца в его руки. И поклялся Маллабай

воспитать тебя честным джигитом. Таким ты и вырос. А уж любил тебя названный отец так, как и не всякий родной полюбит. А я?.. Не было света в моей жизни, кроме тебя. — Она помолчала. — Я помешала отцу открыть тебе правду, помнишь, наверно, как положила ладонь на его рот, успокоила. Пусть не падет тень на твою жизнь — так хотела я. И сейчас не стала бы ничего тебе рассказывать. Не облегчит мое признание твою жизнь. Однако пришлось. Боялась, что та... Да, боюсь, что после нашей смерти тебе расскажут, да не так, как оно было на самом деле.

Вот, сынок, выслушал ты меня. Теперь, слава аллаху, большим джигитом стал. Своя голова на плечах. Сумеешь отличить хорошее от плохого. — Она глубоко вздохнула, замолчала, как бы собиралась с последними силами. С тревогой и мольбой посмотрела на него. — Да, та молодая ткачиха, что приезжала сюда, сказала правду. Она родила тебя. Та самая Сайли, что вышла замуж за Махамад-порума и бросила тебя своим старикам. Я сдержала свое слово. Вырастила тебя. Мы с Маллабаем тебя усыновили. А чтоб никто не нарушил нашей мирной семьи, не отнял данного богом сына, переменяла имя твое. Вот и все.

Последние слова подкосили ее. Хидай-биби упала на подушку. Испуганно взглянула на Сахибджана, будто теряла его, и закрыла глаза.

Сахибджан не отрываясь смотрел в потолок, на круглую тень от абажура висячей керосиновой лампы. Странное чувство владело им. Будто повис над землей и не достает ее ногами. Был он всегда прямым человеком. Зря слов не бросал. Если говорил что, отвечал за свое слово. Если обещал — исполнял обязательно. А брался за дело — доводил до конца. Ноги его прочно стояли на земле. Товарищи знали такого Сахибджана, уважали и верили ему. И что ж? Выходит, он, хоть и невольно, обманывал их. Сын уважаемых родителей стал ничем. Приемыш. В один час все перевернулось и сделалось зыбким. Посмеет ли посмотреть теперь в глаза односельчанам?

Он застонал. Плотно сжал веки. В темноте перед ним вдруг возник маленький мальчик. В доме спят, а он, малыш, беспокойно скребется в дверь, плачет. А вот уже уснул — свернулся у самой двери. То ли и правда все это вспомнилось ему, то ли под впечатлением от рассказа Хидай-биби привиделось. Но картина была такая жуткая, что сердце его сжала ненависть к той маргеланской

женщине, ткачихе. Родила его!.. И ушла ко второму мужу, а ребенка бросила. Хорошо, что хоть чужие люди подобрали. «Уктам», «Джура-палван» — преследовали его, не умолкали незнакомые имена. От той «гостьи» услышал их. Однако Джура-тракторист — это имя и мать сейчас назвала, и отец перед смертью несколько раз повторял его. Что он говорил тогда про Джуру-палвана? Мост какой-то. Рухнувший трактор. И мать обмолвилась: отец винил себя. Надо все узнать, чтобы не осталось ничего неясного.

Рванул себя за ворот. Открытым ртом глотал воздух. Спросить ее, сейчас же спросить. . .

Но мать, уронив голову на руки, лежала тихо и спала. Сахибджан сделал над собой усилие, склонился. Пригасил лампу, вышел на айван. На дворе выпал снег.

VII

Шли годы. Раны войны постепенно заживали. И город, и кишлак, и человек включились в новую жизнь, забывали недавние мучения — телесные и духовные. Занятая в цехе своей работой, Сайли нет-нет и посмотрит на сына. А сын ремонтирует старый ткацкий станок. Наклонился над ним, обдумывает что-то. Глаз невозможно отвести: «Родимый мой! . . .»

Ганишер — помощник мастера по технике. Хорошая молва идет о нем. Только и слышно: «Сайлихан-апа, сын ваш очень. . .» Не дослушав, Сайли опустит голову смущенно, а тут еще кто-нибудь подойдет: «Видели, каков ваш Ганишер?»

Пусть будет им счастье в жизни. Хотят, видно, хоть как-нибудь поднять ее настроение. И на том спасибо. «Не беда, что хлеба пшеничного нет у тебя, — пусть слово твое будет пшеничным», — любил говорить ее отец. Правильно, правильно, так и есть. Пшеничный хлеб насыщает тело, а слово пшеничное — душу человека переполняет. Что может быть лучше, чем радость души!

А «родимый»-то техникум текстильный кончил! Как отучился семь классов, сразу и поступил. Днем работает учеником в механической мастерской «Ривожин», а вечером бежит в техникум. Теперь уже диплом получил. Технолог!

В прошлом году весной Ганишер вместе с бригадой рабочих притащил из механической мастерской какую-то железную диковину. Установили ее вместо кустарного

станка, на котором работала Сайлихан. А кустарный, прозванный «аэропланом» за его неуклюжесть, разобрали.

— Мама, — сказал тогда Ганишер, похлопывая рукой по новому станку. — Вот мы с дядей Мишей довели до конца то дело, что начал еще папа. . .

Дядя Миша — это старый слесарь Еременко, с которым сын подружился.

Конечно, Ганишер за это время успел ближе познакомиться и со своим отцом Махамадшером. Давлатов устроил эту встречу. Немало горьких минут пришлось пережить Сайлихан, ведь у нее на глазах все происходило. Однако здесь, у станка, говоря «папа», Ганишер, конечно, имел в виду Джалалхана. Это было ясно как день. Папа. . . Когда Джалалхан, бывало, услышит от маленького Ганишера это слово, так и просияет. Такое волшебное это слово. . .

Теперь, когда Сайлихан уже привыкла к новому станку, перед ее глазами часто возникает огромный красноватый камень, служивший противовесом на ее кустарном «аэроплане». Сейчас он лежит в кладовой. . . Но разве не Джалалхан, чтобы облегчить ей тяжелый ручной труд, начал эту работу? Разве не он заменил двухпудовый противовес, снял камень, поставил две пружины? «Работу, которую начал папа», — очень много значили для нее эти слова. Они были наградой за все, что пришлось пережить.

— Пусть паду я жертвой за тебя. . . — шепчет она всякий раз, как подумает об этом. — Продолжай, продолжай, сынок, дело отца.

Новый станок, хоть и законченный наполовину Джалалханом, не сразу дался в руки молодому специалисту и его товарищу — дяде Мише. Созданный ими перегонно-механический автомат «ПМ» вхолостую работал прекрасно, однако, когда уложили в него основу, из которой должны были выткать шестьсот метров атласа, и нажали кнопку, он почему-то стал останавливаться. Шелковые волокна застревали, не проходя через гребенку, и, не выдержав быстрого вращения вала, рвались.

Много пришлось поломать голову авторам новой машины, пока она не стала наконец выдавать настоящую ткань. Но зато какие перемены пришли в цех! Раньше три работницы с утра до вечера с трудом заготавливали двести метров сырья. А сейчас благодаря станку «ПМ», созданному Ганишером и дядей Мишей, Сайлихан, на-

пример, со своей ученицей всего за два часа готовит шестьсот метров сырья! А какие умные слова сказал ее сын, когда Тупахон Шадманова перед всем коллективом вручала ему свидетельство об изобретении:

— Мы с дядей Мишей просто соавторы. Наша работа — всего только небольшая часть всего дела. Настоящий автор — мой отец Джалалхан Джамалов. Мы только продолжили его работу.

И сейчас Сайлихан работает на том самом станке, который был задуман еще Джалалханом. На нем — клеймо Ташкентского завода текстильных машин. Эти станки уже пошли в серийное производство.

Благодаря новой машине Сайли выполнила план прошлого месяца на двести процентов. Две нормы! Она одна работала за двоих. Можно сказать, работала за себя и за Джалалхана. . . Теперь она всегда будет так работать. Его станок и сам он — как будто рядом. Помогает. . . И Ганишер с ними.

Совсем взрослым парнем стал ее сын. Усы уже пробились. Недавно Сайли и Ганишер вместе возвращались домой. В пути им несколько раз пришлось разминуться с девушками. Если навстречу попадалась миловидная, сын не мог удержаться, искоса поглядывал. Вот еще новости, бычок сыскался! Кого же он приведет с собой в их дом? Друга или врага?

Да, он основательно повзрослел. Изменился, стал серьезным. Не любит, когда его ласкают, словно маленького ребенка. Все равно она не может удержаться: нет-нет да и погладит густые пряди волос, поправит, уберет с широкого лба.

Иногда она заходит в гости к мастерице Карамат. У них всегда весело и шумно. За низеньким столом — хантахтой сидит отец, напротив него мать, а вокруг взрослые дети. Веселые, радостные голоса. Как хорошо! Такую бы радость в ее дом. . . Но не все складывается так, как ты захочешь. Нашла ведь своего Уктама, а он не признал ее своей матерью. Даже толкнул в грудь. А ведь этой грудью она вскормила его!

И Ганишер. . . Пришел однажды домой, мать посмотрела на него и изменилась в лице. У него был верный способ, не раз проверенный в таких случаях: расцеловал ее в щеки. Но Сайлихан не обняла приласкавшегося к ней сына. Даже поморщилась. Толкнув в плечо, сказала:

— Выпил?

Ничего от матери не скроешь. Пришлось признаться. В этот день Шадманова как раз вручала им с дядей Мишей авторские свидетельства на их изобретение. А потом, когда уже собрались расходиться, вдруг сказала такие слова:

— Сайлихан придется раскошелиться на угощение!

И Махамадшер был тут как тут, в конторе. Все слышал, сразу и слово свое ввернул:

— Матери здесь нет, но отец рядом, Тупахон Шадмановна! Приказывайте, мы готовы. Лицом в грязь не ударим.

— Плов отца будем кушать не в кредит, а наличными, — сказал Давлатов, оказавшийся тут же в конторе. Он сидел на диване, поджав под себя ноги. — Пожалуйста, после собрания прошу к нам.

Ганишер думал, что он шутит. Но все было сказано всерьез. Вместе с Шадмановой все пошли к Давлатову.

Ганишер уже был у него однажды — осенью сорок первого года. Тогда ему и его шестерым сверстникам сделали обрезание. Все лежали в ряд на старой курпаче, а на отдельную постель, на разноцветные одеяла, постеленные в несколько слоев, уложили сына Давлатова. На голове у капризного толстячка была шапка с пушистым пером филина, на плечах — халат-бекасам, на ногах — лакированные сапоги на высоких каблуках. Тем не менее легенда про Давлатова, который в тяжелые военные годы шефствовал над сиротами и вдовами, до сих пор переходит из уст в уста.

После «плова отца» шли от Давлатова вместе — Ганишер и Махамадшер.

— Ну и как? — спросил тот.

«Наверно, спрашивает об угощении», — подумал Ганишер и ответил, улыбаясь:

— Ничего, стол богатый.

Но он почувствовал: Махамадшер своим вопросом метил глубже. Никогда еще Ганишер не видел такого богатства. И столовые ложки, и ложечки для варенья — из золота и серебра! Правда, в сорок первом году ему, чтобы утешить после обрезания, дали красного леденцового петушка на палочке. Всего лишь! Маленький еще был мальчишка, радовался даже этому петушку несказанно!

А Махамадшер, шагая с ним рядом по улице, на которую уже набросила свою сеть темнота, молча смотрел на него, и глаза его в темноте блестели. Он гордил-

ся Давлатовым. Почувствовал, что Ганишер, побывав в гостях, не остался равнодушным. Он начал горячо перечислять замечательные качества Давлатова:

— У него, сынок, многому можно научиться. Хоть и не кончал вуза, ум у него как у десяти инженеров. Держись за Довулбека, слушай, не прогадаешь. Каждый шаг у него измерен, каждое слово как на весах. Старшую дочь выдал за героя войны. Зять сейчас одна из опор, на нем держится область. И дальше будет расти. А для сына своего, твоего ровесника, сосватал дочь Шадмановой, — Махамадшер подмигнул Ганишеру. — Укрепляет позиции! Если под тобой прочная почва, будешь стоять и не пошатнешься, даже если ударят. Такая жизнь. Много значат родственные связи!

И тут Ганишер вроде бы кое о чем догадался. Не обилие и не недостаток угощения имел в виду Махамадшер, а милостивую дочь Давлатова, которая вынесла полотенце, когда Шадманова мыла руки.

Махамадшер был сильно навеселе. За столом он так и сыпал сладкими словами в адрес Шадмановой. Предлагая за нее тост, сказал: «Вы — одна из первых ласточек нового, революционного мира». Стоило лишь его устам прикоснуться к водке, слова сами потекли, нанизываясь одно к другому, как яркий бисер. «Я горжусь тем, что судьба послала мне такого сына», — сказал он и выпил за Ганишера. На этом пиру, участников которого можно было перечислить по пальцам, Махамадшер был и виночерпием, и тамадой. И говорил больше всех он. А в тосте за хозяина дома особенно отличился. Перед Давлатовым он расстелил целый ковер из слов, и видно было, что это не пустые слова. Перед этим человеком Махамадшер благоговел.

И на улице, идя с Ганишером, он продолжал славить хозяина пирушки:

— Благодаря кому цветет «Ривожия»? Ну, скажи! Кто отец всех ваших успехов? — И сам же ответил: — Давлатов. Только он. Голова у него! Как работает эта голова! Другие артели сидят только на фондах шелка, на том, что дает государство, сами пальцем о палец не ударят. А «Ривожия» всегда работает в одном ритме. Почему? Потому что у руля стоит такой человек, как Давлатов. Дай ему волос, он и волос на сорок частей разрубит!

— Простите, директор у нас все-таки Тупахон-апа...

— Апа — почетный председатель. Все дела в руках Довулбека. Апа — ее имя на Доске почета — она и рада. Крепко держится за Давлатова. И правильно делает. Даже во время войны обеспечила ему броню.

— По-моему, волшебники давно уже перевелись. Которые могут сделать все из ничего.

— Наивный, наивный ты человек! Пойми, сынок! Если сумеешь найти способ — и снег загорится. Секрет Давлатова именно в этом — он находит способы. Вот тебе пример. Есть артели, которые шьют из искусственного шелка, из вискозы всякую всячину: кушаки, бахрому для сюзане, шторы. Скажи, кому нужен этот товар?

— Да, да, сейчас уже появились вещи получше...

— Именно! Товар устарел, вышел из употребления. А в артелях продолжают шить! Потому что государство спустило план. Не выполнишь план, в высоких инстанциях перестанут уважать руководителя. Вот и выполняют. . . А сшитые вещи не пользуются спросом, пылятся в магазинах и на складах. Ну и, конечно, ткачи и портные не получают зарплаты. Ругаются, понимаешь. А что делать, слушай? Нужно работать за Родину, за Сталина. И вот в такой критический момент в контору артели входит умный человек. «Я вам помогу», — говорит и показывает пачки денег. Чудотворец, как ты правильно сказал. Волшебник! Вдвоем они идут в магазин готовых промтоваров, к завмагу. К надежному завмагу. Волшебник говорит: «Я покупаю у вас все вещи из искусственного шелка» — и бросает на стол целый кушак денег. «Аллах с вами, берите!» — говорит завмаг и чуть не плачет от радости. «Нет, не те вещи, а вот эти», — и чудотворец указывает на фактуру, что лежит на столе председателя. «Слушайте, вы действительно волшебник: как я продам вещь, которая не существует?» — испуганно спрашивает завмаг. Чудотворец выкладывает за товар, который еще не прибыл в магазин, но указан в документе, дополнительно по два рубля за вещь. Значит, вместо десяти тысяч двенадцать. И все, купля-продажа состоялась. Чудотворец получает у артели вместо готовой продукции, за которую заплатил деньги, сырье. То есть если вискоза стоит, допустим, два рубля за килограмм, готовая продукция, скажем, восемь. . . По два рубля завмагу — всего по десять рублей за килограмм. Погрузил кучу шелка на машину и уехал. Рабочие артели получают зарплату, председатель тоже довольна, ее имя на

Доске почета, и завмаг в восторге — без всякого труда в кармане очутилась кругленькая сумма денег!

— Ну, а чудотворец? Бескорыстно услужил всем, за свой счет — он тоже рад? — Ганишер пожал плечами. — Это же басня!

— В основе басни всегда лежала большая и очень серьезная, сынок, правда. — Махамадшер остановился и поднял вверх палец. — Чудотворец смешал искусственный шелк с настоящим — и возник умопомрачительный атлас. А? Додумался бы ты до такого? Смотришь, десять рублей превратились в двадцать пять! И волки сыты, и овцы целы. И государство не пострадало, у него, наоборот, — и половник в масле, и ложка. Вот как можно одним выстрелом убить сразу трех зайцев.

— Но разве это не мошенничество? Атлас, говорите, умопомрачительный. А качество?

— Нет, ты, сынок, еще зелен. Зелен! Если в ведро попадет две-три капли дождя, разве вкус воды изменится?

Вот эти слова Ганишер и передал матери — про ведро воды и про две-три капли дождя. Он сказал ей это как бы от себя, в ответ на ее замечание. Она ведь тоже заявила, что делишки с вискозой — мошенничество. Сказал и сразу почувствовал, что мать обиделась.

Попытался оправдаться перед нею. Все рассказал, объяснил и причину выпивки.

— Давлатов? — удивилась Сайлихан. — Свидетельство об изобретении получили вы с дядей Мишей, а угощение дает он?

— Он тоже получил. . .

— Ничего не понимаю.

— Того. . . Нашего изобретения он тоже соавтор, оканчивается. Вроде как под его руководством работали.

Хозяином авторского свидетельства, которое по праву принадлежит Джалалхану Джамалову, оказался Давлатов. Когда Ганишер наконец сумел растолковать это матери, когда поняла все, она свела брови и подобрала ставшие жесткими губы. И сказала такие слова:

— На жатве его не было, на подборке колосьев тоже. А на току он тут как тут!

В воскресенье весь день стояла духота. Жажда измучила Сайлихан. Выпив целый ковш холодной воды, она на айване стала ждать Ганишера. Попыталась успокоить себя: «Выходной сегодня. А он молод. Наверно, пошел прогуляться».

Но в душе не было покоя. Взывая к памяти Джалалхана, Сайли просила у него поддержки. Даже показалось, что увидела его живого — вышел из гранатовой рощи, что росла на краю двора. Как всегда летом, в длинной белой рубашке навывпуск, подошел к сури, снял с плеча кетмень, которым мотыжил землю, и взглянул на жену: мол, слушаю, что там у тебя стряслось?

— Боюсь, что сына моего Махамад-порум сбивает с пути.

— Не беспокойся. Ганишер не маленький ребенок.

Да, Джалалхан так и сказал. Она отчетливо слышала его голос.

— Ты прав, он мальчик умный, слова его не лишены смысла, — прошептала Сайли.

И в этот момент открылись ворота. Во двор вошел Ганишер. На нем белая бязевая рубашка с короткими рукавами, коломянковые брюки, на ногах легкие брезентовые туфли. Все же покраснел от жары, обмахивается цветастой тубетейкой. С первого взгляда определил, что мать ждет его уже давно. Оставив туфли на ступеньках, поднялся на айван.

— Немножко запоздал. Вызывали меня...

Хотя Сайлихан сразу догадалась, кто именно вызвал сына, все же спросила:

— Что же это за срочное дело?

— Я уже говорил... — нехотя ответил Ганишер. — Опять о том же. Старые разговоры. Привел меня на участок, где у него строительство. Если б ты видела... Люди строят такие дома! Фундамент — сплошной бетон, крыша — железо. Подвальные помещения, балахана! Такие дома!..

— Завидуешь?

— Удивляюсь. Сколько бы ни было у человека добра, все ему мало.

— Эй-эй! На чужое посматриваешь. Сад у завистника не цветет. Война кончилась, люди истосковались по хорошей жизни. Или, может, снесли у них дома, переехали на новые участки?

Ганишер усмехнулся:

— Разве снесены дома Шадмановой или Давлатова?

— Ой, что ты говоришь... У них крепкие еще. Шикарные дома!

— А те, что они строят, еще шикарнее. Посмотришь — ахнешь. Просто загляденье. Как дворцы! И мой отец тоже с ними... Говорит...

— Что говорит?

— Говорит, давай запишем участок на твое имя. Сделаем так — все кляузники умолкнут.

— А ты что ему на это?

— Что я? .. Ну, я сказал: крыша есть над головой.

— А он?

— Скажи матери. Новый дом специально для вас строю. Переезжайте.

— Ну и как ты? Поедешь?

Ганишер пожал плечами.

— Сами знаете...

— Тебе все равно?

Ганишер опустил глаза.

— Нет... Как вы захотите, так и будет. Хорошо было бы, если бы вы с ним помирились.

— А ты не подумал, почему это вдруг Махамад-порум стал заботиться о нас? Ведь от меня он ничего хорошего не видел.

Ганишер, сидевший против нее, поджав ноги, поигрывал бахромой скатерти.

— Говорит, годы проходят. Ты мой сын. У меня нет никого ближе тебя.

Сайлихан надолго задумалась. Исподлобья поглядывала на сына. Да, мог, мог он поддаться на эти разговоры.

— Много обещал?

— Мама! — Ганишер еще ниже опустил голову. — Почему вы так не любите его? Он же готов за нас жизнь отдать! Только забыть бы прошлое, зажили бы вместе в мире и согласии. Говорит, ничего мне больше не надо.

— Он нажил свое богатство на горе людей. И меня когда-то поймал на свой крючок. Купил!

— Но он же раскаивается! За прежние свои дела он получил наказание, отбыл все, перестрадал. Страдание оправдывает... Очищает...

— Ты думаешь, сейчас он на правильном пути?

— Администрация его ценит. И люди уважают.

Сайлихан подумала: «Сказывается в нем отцовская кровь». Но промолчала. Когда Ганишер поднялся с места, хотела остановить его, подтвержде сказать ему несколько слов, вразумить. Но тут же и остановила себя. Парень взрослый, если переусердствуешь с опекой, это может его и задеть. Сам разберется, — решила она.

Несмотря на то что этот разговор с сыном прошел без криков и обе стороны сдерживались, берегли друг

друга, у Сайлихан на сердце остался чувствительный след. Ее стало беспокоить то, что Ганишер перед уходом на работу так старательно гладит новенькие брюки и, наспех позавтракав, долго стоит у зеркала, причесываясь, и приглядывается к своему лицу. «Он становится франтом. Легко может попасть под влияние отца. Как бы не стал, как он, рабом вещей», — это пугало ее. Она исподволь, прячась, поглядывала за ним. Когда сын со своими товарищами задерживался, гуляя в парке, или слишком поздно возвращался со свадьбы, она, уже не тая озабоченности, расспрашивала его, старалась осторожно привести в порядок его горячие мысли. Но никогда не устраивала допросов: «Если начну досажать, все это может ему опротиветь. Он же еще юноша. Станет делать все наоборот, назло, и могут порваться все связи сыновней и материнской любви». Она так берегла дружбу с сыном! Ганишер — ее опора, радость. Все ее надежды. Не перечит ей. Вот он куда-то собирается. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Мог бы привольно посидеть возле нее, выпить чашку чаю из ее рук... А он торопится куда-то. Заново отгладил отутюженную ею сорочку. Взбив мыльную пену, тщательно побрился, с пристрастием осмотрел лицо. Раздевшись до пояса, помылся в холодной воде. Оделся, причесался. Сорвав в завитой лозами шпалере янтарную кисть хусайни, подошел наконец к матери:

— Вы не пойдете на свадьбу?

Вспомнила: у Шадмановых и Давлатовых свадьба. И артисты, говорили, будут. Но без Джалалхана... Сайлихан покачала головой:

— Иди один...

— Жених — мой друг, — сказал Ганишер. — Не знаю даже, что делать. Раис-апа наказывала прийти помочь...

— Чего уж тут не знать... Звали помочь — помоги. Освободишься — иди к жениху. Только не заснивайся до рассвета... Хорошо?

Ганишер ушел, но тайна его не давала покоя. «Сколько бы ни было у человека добра, все ему мало». Несколько раз она повторила шепотом эти слова. А перед глазами открылась площадь, заполненная женщинами в паранджах. На трибуне — молодая, быстрая в движениях. Волосы коротко обрезаны. Зеленая гимнастерка. Летят ее горячие слова — о тяжелой женской доле. Закончила свою речь и вскинула руку: «Пусть сгинет паранджа! Пусть сгорит дотла!» Шум, крики. Сайлихан

видит все, всю площадь. Как будто это происходит сейчас. Как будто и она сегодня там, на площади.

— Аллах, и эта женщина может так... — Сайли взяла себя за ворот, скомкала ткань...

Да... Где бы ни работала Тупахон Шадманова, в Маргелан приходили слухи — и хорошие, и плохие. Раньше апа была молодой, способной. К тому же она всегда — руководитель. Значит, много имела и друзей, и врагов. На все рты сеть не накинешь, пускай говорят, Сайли не обращала внимания на болтовню скорых на слово людей. Но вот с некоторых пор поползли разговоры, будто в атлас добавляют искусственный шелк — вискозу.

А в ушах слова сына. Неужели человеческая жадность всегда берет верх над совестью! Чтобы такой человек, как апа... Не может быть!

Ведь в избирательных списках для выборов в Советы есть и кандидатура Тупахон-апа. Может, ее нынешний дом не подходит для ее депутатской деятельности? Не нужно ли для ее авторитета, чтобы дом был побогаче? Кроме того, она же еще раис! Может, она просто обязана жить в блестящем дворце? Но ведь «Ривожия», дающая многим людям хлеб и одежду, позволившая встать на ноги, учиться, расти, — эта самая «Ривожия» по-прежнему остается в старой, отсыревшей от времени мечети. Странно, очень странно...

А где-то вдали уже размеренно и четко били в свадебный бубен, ревел карнай, сзывая гостей на торжество.

VIII

Сайлихан слышала, конечно, кое-что о раис-апа, но многого, оказывается, не знала. Например, того, что Тупахон Шадманова родилась в зажиточной семье, была любимой дочерью. И все-таки сбежала из дома в Самарканд учиться. Там она стала комсомолкой, отрезала косы и каким-то образом заняла ответственный пост. На каком-то курултае корреспондент сфотографировал ее вместе с Надеждой Константиновной Крупской. Снимок был помещен в нескольких газетах...

Обо всем этом Сайлихан узнала, когда пришла на встречу с Тупахон Шадмановой — кандидатом в депутаты райсовета.

— Вся сознательная жизнь Тупахон-апа Шадмановой была отдана служению людям. Тупахон-апа — верная

дочь народа! — этими словами закончил свою речь человек, представлявший избирателям их кандидата.

В зале загремели аплодисменты. Сидевший в первом ряду какой-то товарищ в галстуке, вскочив с места, прокричал:

— Да здравствует наш кандидат Тупахон Шадманова!

Аплодисменты вспыхнули еще жарче. Да, этого человека в галстуке Сайлихан хорошо знала. Ишь ведь вырядился... Вот он, высоко подняв руки с короткими пальцами без ногтей, дирижирует, старается, чтоб люди хлопали громче, чтоб никто не останавливался.

— Кто-нибудь желает выступить?

Все молчали. Только из задних рядов донесся голос:

— Мы хорошо знаем апа. Многословие — груз осла. Скажете нам — голосуйте, мы проголосуем, все как один.

Карамат-ая бегло оглядела зал, и взгляд ее остановился на сидевшей в средних рядах Сайлихан.

— Товарищ Джамалова, вы видели Тупахон Шадманову на трибуне в тот праздник? Помните — Восьмое марта, тридцать четвертый год?..

«Почему это вдруг — я?» — Сайлихан смутилась. И в это время сидевший впереди, в первом ряду, Махамадшер высоко поднял руку. Он просил слова.

Почему — он? Что-то горячее захватило дух. Трибуну, которую уже предоставили ей, займет какой-то... Только вчера пришедший в «Ривожню»...

Сайлихан вскочила с места и твердо зашагала к сцене. Даже не взглянула на Махамадшера, который развернулся ей навстречу, шагнул в сторону, уступая дорогу.

— Правильно сказала мастерица... — сказала она и остановилась, переводя дыхание. Оглядела притихший зал. Все слушали, и это ее испугало. Что она скажет? Оглянулась на мастерицу Карамат. Увидев ее светлое, открытое лицо, сразу же словно бы нашла то, что потеряла. — Впервые я увидела Тупахон Шадманову в тридцать четвертом году, когда праздновали Восьмое марта. До сих пор не могу забыть ее речь. Она призывала сечь паранджу. Говорила об освобождении угнетенных женщин. Я по вашему призыву, Тупахон-апа, открыла лицо, покинула дом своего мужа... Который был из той породы мужчин... На улице весельчаки, а дома — тираны. И поступила работать в «Ривожню»...

Она волновалась. Но это уже было другое волнение. Она уже не боялась множества блестящих в зале глаз — теперь это были глаза ее собеседников.

— Не только слова Тупахон, но и сама она вся — в зеленой мужской гимнастерке с нагрудными карманами, подпоясанная ремнем... Ее коротко остриженные волосы... весь ее вид поразил меня. Ведь ходить с открытым лицом и коротко остриженными волосами — это было тогда протестом против власти мужчин! Хоть и редко встречала ее после митинга Восьмого марта... Но ведь о ней шли легенды! Из уст в уста! Мы гордились ею. В годы войны возглавила нашу артель, нашу «Ривожню». Хотя постная похлебка из маша и кусок ржаного хлеба не могли насытить нас, но под ее руководством мы работали дни и ночи... Копали могилу Гитлеру...

Вдруг ее глаза встретились с глазами Махамадшера, сидевшего в первом ряду, прямо перед нею, и она загнулась. Немного постояла, хмурясь. Почему-то вспомнилось, как впервые почувствовала в душе холодок к Шадмановой. Когда Тупахон работала в каком-то районе, ходили слухи, что она вышла замуж за своего молоденького заместителя, заставила его бросить свою семью. Кстати, не эта ли именно история с разрушенной семьей заместителя стала причиной ее прихода в «Ривожню»? В артели она работала неплохо. Старших называла опа-ака, младшие все у нее были сестричками, братишками. Она всегда помогала семьям, пострадавшим от войны. И сама в эти годы похудела. Похождения Шадмановой, о которых сначала говорили в народе, почти забылись. Только вот этот Махамадшер, это чучело... Да, его взяла под свое крылышко. Сейчас если правая рука апа — Давлатов, то левая — Махамадшер. Все руководство в их руках. Беспечная!.. Снова пополнела. Совсем ушло куда-то очарование тридцатых годов. Похоже, чем больше стареет человек, тем больше... как бы это сказать... Нуждается в похвале, а? На любом собрании, будь то производственное или другое какое, обязательно повторяют с поклоном имя Шадмановой. Такие, как Махамадшер и ему подобные, для официальности сначала упомянут вождя, а затем так поют хвалу деяниям Шадмановой, так превозносят ее качества, что даже стыдно становится слушать. Мужчины — и такие лизоблюды!

— ...Заслуги Тупахон Шадмановой перед партией, перед Родиной велики. Мы все это знаем...

Сайлихан на миг умолкла. Сейчас избиратели встречаются с кандидатом в депутаты. Можно давать наказания. . . А если покритиковать? Уместно ли будет? Может, на этом и остановиться? Но если закрыть глаза, то какая получится разница между нею, Сайли, и вон теми, сидящими в переднем ряду?

Как только подумала об этом, кровь ударила в голову. Вот так бывает, когда пускаешь воду из основного арыка в борозду: чуть замешкался, вода тут же вырвется из-под твоей власти, все сломает на своем пути. Не смогла Сайли удержаться свой язык.

— У нее очень много хорошего, и это все знают. . . — повторила она, выигрывая время. А сама собиралась с мыслями.

— Да! Ийе! Еще бы! — поддержал ее толстый уста, сидевший в первом ряду возле Давлатова. Оглянувшись на зал, словно приглашая поддержать его, и захлопал в ладоши.

Но поддержка оказалась жиденькой, всего несколько неуверенных хлопков. И Давлатов. . . Сидит и бровью не поведет. Понятное дело, он же творит добрые дела! Во время войны, когда подошло время ему устраивать торжество обрезания собственного сына, он собрал детей, у которых отцы были на фронте, сделал обрезание и им. За свой счет. И Ганишер оказался в числе «очищенных», вместе с другими мальчиками попал на подстилку в доме Давлатова. Сайлихан сначала противилась, но старики — аксакалы махалли — уговорили ее. У нее ведь свои планы были: как приедет с фронта Джалалхан — отпраздновать сразу две радости — его благополучное возвращение и торжество «очищения руки» сына.

В те дни глаза у нее были сухие, но внутри кровавыми слезами исходила. В самом деле: ты здорова, работать можешь, но бедность не позволяет тебе раскошиться на необходимый обряд, должна идти к кому-то на поклон. . . Это ли не обидно для человека?

А у Довулбека Давлатова дела всегда на мази. Он и щедрый, и для гостей его скатерть всегда обильна. А по улице когда идет, старики спину гнут, кланяются чуть ли не в пояс. В мечети, говорят, все ковры и паласы — дар Давлатова. Говорят, бог воздаст тому, кто щедр на жертву. Может быть, и старый двор, и новый участок с домом, похожим на дворец, и все эти богатые свадьбы его детей — воздаяние бога за его щедрость? Большой

проныра, скользкий, хитрый человек. Не зря с Шадмановой породнился, женил сына на ее дочке. Не зря!

Сердито сверкнув глазами, Сайлихан отвернулась.

— У меня накопились в душе слова. Если позволите, выскажу их... — она посмотрела в сторону президиума.

Худенькая мастерица Карамат с белыми как снег волосами улыбнулась ей, одобряя. И Шадманова дала знать, что она довольна речью Сайли, — величественно качнула головой.

— Пусть говорит! — слышались голоса из зала.

— Зимой меня посылали на областную конференцию профсоюзов. Это было на Ферганском текстильном комбинате. В свободное время мы обошли цехи. Знакомились с опытом передовых текстильщиц. А я, когда ходила по этим цехам, все думала о своей родной «Ривожи». А почему? Сын все время ворчал — то то ему не нравится у нас, то другое...

Нет, она не стала говорить о подробностях, сразу перешла к сути дела:

— Если правду говорить, настоящим рассветом, новым, передовым предприятием является тот комбинат! Когда артель нашу создавали, ее поместили в старой мечети-медресе, восстановленной тем самым ишаном, которого называли «пиявкой на теле народа». И до сих пор мы теснимся в этом темном, полуразвалившемся здании, глотаем пыль и сырость. Так что если говорить красивыми словами доверенного лица, только что прославлявшего наших женщин... Как он сказал? «Которые нежнее и крепче, чем шелк, в труде не отстают от мужчин, а в красоте от Зухры и Ширин...» Сможем мы их всех укутать в атлас? От имени мотальщиц, расправщиц и ткачих, таких, как я, передаю наше общее пожелание. А вернее, наказ. Нашему кандидату, руководству артели и городскому комитету партии. Пора на смену старым ручным станкам поставить быстроходные машины и чтобы их двигал электрический ток! Надо переоборудовать все предприятие — и тогда оно по праву будет называться передовым. Тогда это будет настоящий рассвет!

Мастерица Карамат удивительная женщина — встала с места и зааплодировала. А за нею весь зал. Сайлихан даже порозовела от волнения. Но тут прямо перед нею, в первом ряду слышался громкий шепот:

— Appetit хорош, а? Намекает на изобретение сына!

Нет, она сама себя еще не знает. Вспыхнула как порох:

— Зачем это мне намекать? Чего мне бояться? Не вижу, для чего мне стесняться изобретения сына. Разве комсомольцы зря его посылали на свой съезд? Наоборот, скажу прямо, без намеков. Почему те машины не выпускают тысячами? Откуда такая медлительность? Разве сейчас время выпускать пять — десять станков, словно для выставки, и любоваться ими? Не только нам — всем, кто выпускает атлас, они нужны. . .

Сайлихан остановилась. Думала: сказать или не сказать? Но тут же сомнения уступили гордости, переполнившей ее: «Чего стесняться! О чем молчу!»

— Ручные станки в цехе заготовки начал переоборудовать мой муж Джалалхан. Он отдал жизнь за Родину. А довел эту работу до конца мой сын Ганишер вместе с уста Еременко. . .

О Давлатове она специально умолчала, хоть у него и есть свидетельство.

— А теперь послушайте, что я узнала недавно. Что мне сказали. . . Экспедитор какой-то артели всучил кому-то на заводе Климовска взятку! Хотел приобрести для своей артели ткацкий станок и чуть было не заплатил за это. Что, выходит, законным путем приобрести нельзя? Если в плане не учтено обеспечение артелей станками, давайте тогда объединяться в фабрику! До каких пор двигаться черепашьими темпами? Знаю, наш председатель не любит лишних хлопот. Ноги у нее побабливают. Давление появилось, одышка. Всех это ждет, однако, возраст. . .

— Если так сокрушаетесь о ее здоровье, зачем тогда критиковать? — бросил снизу Давлатов.

В рядах слышались смешки. «Над кем смеются? Зачем?» — Сайлихан оглядела зал.

— Я говорю это оттого, что душа болит. Ведь здесь прошли почти двадцать лет моей жизни! Муж работал. Сын работает. Да и отец работал тоже в этой артели! А что касается критики. . . Шадманову уже хвалили здесь. Если этого мало, то вот сидят здесь внизу. . . которые с нетерпением ждут слова. Они похвалят вволю, только дай!

Она быстро взглянула на тех, кто сидел в первом ряду. Махамадшер чуть побледнел. И Давлатов был неспокоен — бросил ногу на ногу, что-то шепнул на ухо Махамадшеру, опять перебросил ноги, поменял местами. Сайлихан, не обращая на них внимания, продолжала:

— . . .Спасибо, жизнь наша улучшается из года в год.

Наши женщины и девушки хотят носить атлас, особенно атлас самых красивых, ярких расцветок. Еще наши деды и бабушки жаловались на свою жизнь и говорили при этом — знаете что? «Сам ткач, а без кушака». И мы до сих пор видим атлас, но не носим. «Саккиз-шепки» — восьмикрасочный атлас — ходкий товар. В магазинах его нет, весь уходит из-под полы. Покупатель хватает и даже на качество не смотрит. А некоторые ловкие на руку снабженцы, пользуясь этим, уменьшают количество шелка в ткани. Добавляют побольше вискозы. Такие слухи ходят среди ткачей.

— Выдумки, — проворчал внизу Давлатов.

— Дыма без огня не бывает, — отрезала Сайлихан.

— Доказательства, доказательства давайте!

— Потому я и ставлю этот вопрос на собрании! — холодно ответила Сайлихан, решив быть сдержаннее. — Хотелось бы спросить, знает об этом председатель-апа? Если не знает, пусть прислушается. Следовало бы ей проверить шелк, который мы выпускаем. . .

Сидевшая в президиуме рядом с представителем городского комитета партии — доверенным лицом — Шадманова непрерывно вытирала платком покрасневшее лицо. Словно ей было жарко в платье из китайской чесучи, сшитом специально к этой встрече.

Махамадшер вскочил с места и перебил Сайлихан:

— Вискоза употребляется для утка. Вы же это хорошо знаете!

Карамат-ая постучала карандашом по графину.

— . . . По-разному можно ее использовать, — Сайли даже не взглянула на него. — А кроме того, можно ведь вместо одного килограмма вискозы вложить три. А шелку недодать. . .

— Бросаете пятно на честных работников! . .

— Вот именно, на честных! Председатель не смотрит куда надо, а вокруг нее, как мотыльки, вьются вот эти самые работники, в честность которых никак не могу поверить. Если бы руки у них были чистыми, так бы не подхалимничали!

— Постыдитесь!

Сайлихан покачнулась, как будто не это резко прозвучавшее слово, а камень попал в нее. Обернувшись к президиуму. Прямо на нее, в упор смотрела постаревшая женщина, затянута в упругое белое платье из чесучи, с почерневшим от злости круглым лицом. Тяжело

дышала, опершись обеими руками о стол. Как она огрубела за это время...

— Другого места не нашли? Принесли сюда свою личную вражду?..

Сайлихан опешила:

— Какая личная вражда? К кому?

Шадманова через плечо хмуро обернулась к мастерице Карамат:

— Хватит слушать эту болтовню. Председатель, переходите к основному вопросу.— И во рту ее полыхнула желтая вспышка — золотые зубы.

«Какой мужчина может влюбиться в это мужеподобное существо?» — исподлобья наблюдая за Шадмановой, Сайли вдруг увидела, что та, юная Тупахон, срезавшая когда-то свои косы, совсем исчезла, осталась в своих далеких тридцатых годах.

Карамат-ая, негромко постукивая карандашом по графину, спокойно оглядывала зал. То тут, то там вспыхивали перебранки. Когда все успокоилось, графин ее зазвонил громче.

— Товарищи, соблюдайте порядок! Не мешайте ораторам.— И Карамат кивнула Сайлихан: продолжай.

Сайли задумалась: что говорить дальше? Еще раз оглядела зал. Увидела тех, кто сидел в первом ряду. Они теперь не шептались, не наклонялись к уху соседа. Сидели молча, опустив глаза. Словно решали что-то сообща. «И за эту высокомерную, мужеподобную начальницу, попавшую на удочку этих... я должна буду голосовать?»

— Отдать голос... За кого? За Шадманову? — прошептала Сайлихан. Она сказала это чуть слышно, но услышали ее слова почти все. Зал затих, оцепенел.— За такого человека мне голосовать? — Она задумчиво покачала головой.— Раньше я завидовала ей. А теперь нечему завидовать. Это не та Тупахон, что прежде была... Для которой все были равны... Теперь ее глаза заплыли жиром...

Сказав это, Сайлихан сошла с трибуны. Шла к своему месту и видела: люди оглядывались друг на друга, не зная, хлопать им или нет. Только мастерица Карамат захлопала. И еще — Балтабай-ака...

А когда сядила на свое место, соседи ее боязливо отодвинулись. Ведь случилось что-то новое. Странное и страшное. За время существования артели такого еще не было. Чрезвычайное происшествие!

Она проснулась от какого-то шороха. В темной комнате будто кто-то ходил. Четко слышались тихие, крадущиеся шаги.

— Кто? — Сайлихан вскочила.

— Я, мама. Не хотел вас будить.

Ганишер и в самом деле боялся потревожить мать и потому перемахнул через дувал.

Он зажег свет. Одежда в пыли, глаза ввалились. Чем-то явно встревожен. Сайлихан осторожно спросила:

— Есть хочешь?

Ганишер покачал головой. Не до еды ему было.

— Мы приехали на машине.

Восемь часов тряски в кузове грузовика, конечно, утомят кого угодно. Но еще большей мукой для Ганишера были четыре часа, проведенные в управлении милиции. Это были муки совести, о них рассказывать матери не стал — побоялся. Вернее, не хотел обижать мать, хватит и того, что испугал, разбудив среди ночи. Лучше сообщить ей приятную вест, ради которой спешил сюда...

— Мама, — сказал, загадочно улыбаясь.

— Что? — Сайлихан посмотрела на сына, и опять сердце сжалось, поднесла руку к груди. — Может, поешь — осталась вчерашняя шурпа. Давай подогрею, а? А ты пока умойся, пыль отряхни.

— Мама...

Сайлихан уже повязала платок на голову. Направлялась к выходу.

— Мама... — Ганишер чувствовал, что у него дрожат губы. Прижал их пальцами. — Я брата нашел... — прошептал он.

Боялся, как бы от радости у нее не разорвалось сердце. Нет, мать печально села. Почему-то сильно побледнела.

— Я нашел брата! Мама, слышите?

— Не кричи, я не глухая.

Стал бесшумно рассказывать о том, как встретился с братом.

А случилось это так. В Ташкент прибыл утром. С вокзала отправился прямо в ЦК ЛКСМ Узбекистана. Зарегистрировался. Дали место в «Зарафшане». В этой одноэтажной гостинице Ганишера поместили, наверно, в один из самых холодных и сырых номеров. Хоть в поезде и не

пришлось заснуть, не лег. Отправился погулять по городу. Это было его первое свидание с Ташкентом.

Прогуливаясь, вышел к базару. Галоши, ичиги, шелковые, хлопчатобумажные ткани... Один вытаскивает из-под руки, другая вынимает из-за паранджи — бери! Он сразу вспомнил о матери. Что же для нее купить?

Шагах в десяти впереди него через толпу пробирался высокий крепкий парень в тюбетейке с цветками миндаля, вышитой в Маргелане. По его загорелой шее и обожженным солнцем ушам Ганишер сразу догадался — сын полей. Кстати, не с ним ли столкнулся утром в длинном сумрачном коридоре гостиницы? Тоже, наверно, прибыл на съезд.

Обошел круг по базару. Все думал — чем бы порадовать мать. Вдруг опять увидел того парня. Окружившие его люди показались подозрительными. Таких встретишь только в городах, в самых людных местах. Один в шапке, сбитой на затылок, шептал что-то на ухо юноше, расхваливал какую-то вещь. Другой — с волосами, спадающими до глаз, похлопывал парня по спине, ощупывал со всех сторон. Как друг, советовал:

— Бери, приятель, потом рад будешь!

Когда Ганишер подошел, загорелый парень уже запустил руку во внутренний карман — полез за деньгами, а колечко, которое наконец решил купить, поблескивало на ладони человека в шапке.

— У нас найдется кое-что и для невесты, — он подмигнул. — Если подождешь, принесем из дому.

Крестьянский парень попался в руки городских мошенников, надо было предупредить его.

— Съезд-то уже начался, — как старому знакомому сказал Ганишер, потянув парня за локоть. — Потом купишь, пошли скорей!

— Ломаеть нам дело, все уже сторговано, — вполголоса прогудел тот, что в шапке. И добавил, уже с угрозой: — Тебя не хватало! Убирайся живо!

— Матери своей отдай эту драгоценность! — Ганишер протиснулся между парнем в тюбетейке и продавцом кольца. — Или шум будем поднимать? Милиция — рядом.

Человек в шапке, сбавив тон, улыбнулся:

— Э, дорогой, это же базар! У кого что есть, тот и продает. Кто с деньгами — покупает. У милиции — свои дела, зачем ей мешать? Прекрасное кольцо! Не берешь — пожалуйста.

Когда отошли в сторону, крестьянский парень в тюбетейке с цветами миндаля сказал, хмурясь:

— Нехорошо получилось, значит?

— Что?

— Опоздаем на съезд?..

Ганишер засмеялся.

— Съезд откроется вечером. Я просто так... Смотрю, вы такой же ферганец, как и я. Хотел выручить, увести от этих мошенников, пока вас не околпачили.

— Ведь сказали, из чистого золота...

— Они и не такое могут наговорить!

Парень бесхитростно засмеялся.

На этом их базар и кончился. Пока шли в гостиницу, болтали о всякой всячине, а вот познакомиться поближе забыли. Не пришло Ганишеру в голову спросить у парня, кто он и откуда. И тот не расспрашивал. По лицу было видно — ферганский. Лет на пять старше Ганишера. А имя его узнал только на съезде, когда председательствующий предоставлял парню слово. Оказывается, это бригадир комсомольско-молодежной бригады хлопкоробов из Ферганы, освоитель чинабадской целины Сахибджан Маллабаев. Сахибджан... — где Ганишер слышал это имя? Пристально смотрел вслед высокому «освоителю целины», который, чуть согнувшись, направлялся к трибуне.

— Вы братья? — вдруг спросила сидевшая рядом золотоволосая девушка.

Ганишер удивился. Никогда не думал, что может быть похож на кого-нибудь или не похож. Внимательно посмотрел на Сахибджана. А тот увлеченно рассказывал сидящим в зале, как они отняли у степи, покрытой тугаями и камышом, свою долю и подняли целину.

Сахибджан — стройный парень, сложенне у него сухое. И ростом чуть повыше Ганишера. Уши и нос его иссушил суховей, на лице — темный степной загар. В общем, красивый парень, выросший в поле. А Ганишер — горожанин, работающий с утра до вечера в помещении, куда не достает солнечный луч. Что может быть общего между ними? Наверно, разговоры о производстве надоели этой красавице, оттого она и сказала так.

Ганишер чуть наклонился к девушке и, глядя на комсомольский значок на ее пышной груди, прошептал:

— Это верно. Если мы и не родные братья, то во всяком случае — духовные.

А девушка, улыбнувшись, тряхнула золотыми волосами и, настаивая на своем, повторила:

— Нет, вы очень похожи!

На трибуне Маллабаев, не подозревая о том, что он на кого-то похож, заканчивал рассказ о своей бригаде. Теперь он выдвигал свои соображения о том, как надо добиваться высоких урожаев. Если Ганишеру предоставят слово, и у него найдется чем поделиться. Он скажет два слова о своем изобретении. А в основном он будет говорить о шелково-атласных артелях, таких, как «Ривожия». Не изжила ли себя артельная форма в промышленном производстве?

Но слова ему не дали. Когда съезд окончился и новые друзья возвращались после концерта в гостиницу, Сахибджан сказал:

— Та девушка, что танцевала «Муножат», очень похожа на одну маргеланскую ткачиху.

«Теперь сравнивает он», — заметил про себя Ганишер.

— Та танцовщица, которую вы сравнили с какой-то женщиной из Маргелана, моя родная тетка. А музыкант, что играл на дутаре, — ее муж.

«И вообще наша фирма славится не только своим атласом. Там есть и самодеятельный кружок, известный всей республике», — хотел было похвастаться Ганишер. Но удержался.

А когда, добравшись до своей комнаты в гостинице «Зарафшан», стал раздеваться, в дверь постучали и вошел Маллабаев.

— Друг, давайте посидим, поговорим. Или, может, вы устали?

Тут Ганишера прямо толкнула в грудь догадка: «Неужели он влюбился в мою тетю? Ничего удивительного — этот высокий целник, задевающий головой верхнюю часть дверного проема, вполне мог потерять покой из-за Саттихан, прекрасно исполнившей «Муножат». Только лишь бы не вздумал делиться с ним своими чувствами. Это может задеть самолюбие племянника.

Маллабаев, сунув руку за воротник рубахи, почесал грудь и сказал, как бы собираясь уходить:

— Вам это не интересно... Все-таки поговорим. Мучит меня одно дело...

— Ладно, рассказывайте, — пришлось согласиться Ганишеру.

Маллабаев, не спросив разрешения, вдруг распахнул окно. Постоял немного, словно прислушиваясь к звукам ночи, и, обернувшись, посмотрел на Ганишера:

— Друг, ваши родители живы?

Сидевший в майке на краю кровати Ганишер кивнул. Маллабаев слабо улыбнулся, словно завидуя.

— Вам повезло, — сказал, тяжело вздохнув. — А я с самых малых лет рос у чужих. Приемьш я, оказывается. . . Эх! — он зашагал к двери, потом вернулся. — Долгая история. Не утомил я вас?

Ганишер даже поднялся с места — так взволновала его внезапная откровенность нового знакомого.

— Три года назад я встретил в степи одну женщину. До этого никогда не видел ее. Подходит и говорит: «Я твоя мать». А я до этого дня был единственной зеницей ока покойного садовника Маллабая и Хидай-биби. Как у нас говорят, был настоящий Сахиб-чангал, сокол с острыми когтями. Всегда у меня тибетейка была набекрень, всегда шел с песней и — когда с тугаями боролся, вырывал у них свою долю — тоже пел. И вот весь прекрасный мир, который меня окружал, перевернулся как после землетрясения. Пошел в кишлак, чтоб разузнать все у матери, а она нездорова, пришлось бежать за доктором. У нее астма. В хлопотах все как-то незаметно отошло в сторону. А тут уборка надвинулась. Не было времени даже голову почесать, но я все-таки спросил. И знаете — правдой оказалось. Приемьш я. . . Та маргеланская женщина меня родила. Сама Хидай-биби сказала. И так тошно стало жить. . . Иду, и кажется мне, что все смотрят, тычут пальцами: «Приемьш! Приемьш!» Хорошо, что призвали в армию. Очень далеко — на Дальний Восток. Мы там наводили понтонные мосты через большие реки, открывали дорогу для войск, техники. Служба была хорошая, мне даже мысль пришла: останься там. Обидно же: родная мать жива, а тебя кто-то усыновил!

Ганишер отводил глаза от его прямого, страдающего взгляда. Ведь он знал только одну мать — свою. И не мог себе представить, что может быть на свете такая мать, которая не любила бы своих детей. Что это за мать, которая может бросить своего ребенка на улице?

— Наверно, у вашей матери была причина? . .

— Причина? — Маллабаев усмехнулся. — Молодая, красивая — разве это не причина? Захотелось выйти замуж — разве до ребенка ей? — Маллабаев, говоря это,

резко двигался по комнате, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, нервно перебирал пальцами. Он словно ругался с кем-то. Потом навалился на подоконник, стал смотреть на темную улицу. Опять усмехнулся. — Несмотря на свой возраст, она еще не потеряла красоты. На ту самую... на танцовщицу похожа. Вылитая она...

И сразу что-то выжидательно напряглось в душе Ганишера.

— Как ее зовут? — спросил он.

— Называют мастерицей Сайли. — Маллабаев стоял к нему спиной. — Оказывается, по голосу меня узнала! По радио услышала и принялась искать. А может, о славе моей прослышала? Захотелось, чтобы опора была на старости лет...

Ганишер побледнел: мастерица Сайли... Мать его отправилась однажды искать... Вдруг сразу все стало ясно. Но никому, даже брату он не позволит говорить такое про свою мать! Кулаки его сами сжались, он выпрямился.

— Она не нуждается ни в вашей славе, ни в вашей помощи.

Должно быть, в лице его произошла сильная перемена. Увидев его состояние, Маллабаев удивился:

— Ийе! Что это с вами?

— Со мной? Мастерица Сайли, о которой вы говорили... У нее отняли сына во время войны. Это был ее первенец, Уктам. Всю жизнь она искала его, казнила себя за то, что не смогла по-настоящему за него бороться. Но ведь тогда был голод! Вот она, эта мастерица Сайли, и пришла к вам в степь. Сына ведь искала! И получила от вас пинок... Мастерица Сайлихан — моя мать. Мать! Как могли вы о ней так... Такие слова...

Из глаз Ганишера брызнули слезы.

Маллабаев то бледнел, то краснел. Часто мигал от удивления. Хотел было улыбнуться, но губы подвели — задрожали.

— Правильно, она сказала: Уктам... — заговорил наконец. — И Хидай-биби... Сама ведь подтвердила. Значит, вы и я... Слава богу, у меня есть младший брат, оказывается! Не один я на белом свете. Брат!.. — крепкие руки обняли Ганишера, прижали к широкой груди.

Братья долго стояли, обнявшись. Смеялись, не сдерживая слез. И говорили, говорили, ничего вокруг не замечая. Даже в стену кто-то постучал — разбудили соседа. Сразу умолкли, взглянули друг на друга и рассмеялись.

И еще горячее зашептались — Сахибджан хотел знать все о своей родной матери, и Ганишер спешил все рассказать. А между словами, рассказывая, то и дело вставлял: «Как она обрадуется! Какое для нее счастье!»

— Как же я покажусь ей на глаза? — Сахибджан даже ударил себя по голове. — Ведь я же обидел ее! Недотепа!

— Да нет же, нет! — радостно закричал Ганишер. — Она будет счастлива! Она такая добрая! Как только увидите — миг обо всем забудет.

Братья не могли нарадоваться, не сводили глаз друг с друга. Не заметили, как и ночь прошла. Зарозовели стены, вдали за домами поднялась яркая заря. Начался новый день, нужно было спешить. Они быстро побрились, оделись и, покончив с прочими мелочами, отправились в столовую.

А когда вышли из гостиницы, встретили Махамадшера. На нем была его обычная летняя «форма»: коломьянковая фуражка, китель, галифе и брезентовые сапоги. Он весело поздоровался с Ганишером.

— А вот и ты! Расспросил, сказали, что ты в этой гостинице. Оказывается, так и есть! Ну как Ташкент? Понравился?

— Спасибо. Осмотреть как следует еще не удалось. У меня ведь новость! — в глазах Ганишера блеснула радость. — Я здесь нашел своего брата Уктама! — Схватив за локоть стоявшего чуть поодаль Маллабаева, подтянул к себе, обнял за плечи: — У него теперь два имени: Уктам и Сахибджан!

Ганишер ждал, что они сейчас обнимутся. Но вместо этого Махамадшер как бы погас и стал бледнеть. Потом овладел собой и холодно, безразлично протянул руку. Здоровался, а смотрел только на Ганишера.

— Я приехал вчера. Сегодня возвращаюсь. Могу захватить с собой, есть машина.

Скорее, скорее в Маргелан! Ведь нужно сообщить матери радостную весть! Ганишер бросил быстрый взгляд на Сахибджана.

Тот взглянул на брата, потом на Махамадшера. Покачал головой.

— Сегодня нас будут знакомить с новинками сельскохозяйственной техники. Придется идти туда...

Не пошел с ними — что-то ему напомнила напряженно оцепеневшая фигура Махамадшера, его медленно залившая лицо бледность.

— Я отведу тебя к моим ташкентским друзьям, — величественно проговорил Махамадшер, давая понять, что новые друзья пригодятся не только Ганишеру. — Решай скорей, такие знакомства не валяются на дороге.

— Поезжайте, — Сахибджан еще не привык обращаться к брату на «ты». Он дружески похлопал Ганишера по плечу. — Мы еще увидимся. Я приеду скоро, навещу мать...

— Когда?

— Перед началом сбора хлопка... — Сахибджан колебался — боялся подвести. — Нет! Я повезу всех вас в степь на ковун-сайли — праздник дыни. А сейчас... Не позавтракать ли нам вместе?

— Мы спешим, — бросил небрежно Махамадшер и потянул Ганишера за руку. — До свиданья! И за нас тоже осмотрите как следует новинки механизации!

Такси уже ждало. Махамадшер повез своего сына по окраинным, незнакомым для Ганишера улицам. Побывали в конторе какой-то артели, потом поехали на склад. Здесь Махамадшер представил его своим друзьям: «Мой сын Ганишер». Пока шла беседа, в трехтонный «ЗИС», стоявший возле склада, рабочие грузили какие-то круглые тюки. Наконец на этом самом грузовике отправились в путь. Лишь после того как последние дома пригорода остались позади, они подъехали к уединенной чайхане и здесь перекусили. Есть не хотелось, было душно — уже набирала силу дневная жара. Даже под карагачом чувствовалась духота.

Когда шофер включил мотор, Махамадшер решил ехать в кузове.

— Будем ехать и разговаривать, — сказал он, найдя себе удобное место среди мягких тюков.

А когда машина выехала из-под карагача на шоссе, Махамадшер поднял бровь:

— Всех запомнил?

Ганишер не сразу понял, о ком идет речь.

— Это нужные люди, — продолжал Махамадшер. — Запомни их как следует, мы часто будем к ним обращаться. Иногда и тебе придется съездить в Ташкент. Вместо меня. Знаешь, всякое может случиться. А ты не маленький. Один день так, другой — этак. Довулбек не каждому доверяет такие тонкие дела.

Они ехали некоторое время молча. Потом Махамадшер еще свободнее раскинулся на сложенных в кузове тюках и прикрыл лицо фуражкой.

— Знакомство, я тебе скажу, тоже большое искусство, — слышался его голос из-под фуражки. И вдруг, как бы опомнившись, он спросил: — Ты пробовал поступить в институт? На вечернее или на заочное отделение?

— Да как вам сказать... В общем, такое намерение...

Ганишер не знал, что сказать. А его спутник уже пустился в свои назидания:

— Подгоняй, подгоняй коня! Я сам помогу, когда задумаешь. У меня есть через кого действовать. А если друзья не смогут, попросим Давлатова. Его слово и в Ташкенте имеет вес.

— Я и сам... — хотел было возразить Ганишер.

— Пока ты будешь кряхтеть и почесываться — «я сам», твое место захватят дети какого-нибудь языкастого, с длинной рукой. И еще тебе один совет... — Махамадшер развивал свои мысли спокойно, все так же прикрыв лицо фуражкой, не обращая внимания на тряску. — Очень важный совет, учти. Тебе надо вступить в партию. Когда у человека в руке диплом специалиста с высшим образованием, а в кармане красная книжечка — тут для него все пути открыты. Выбирай любой. Знай посматривай, не сиди сложа руки. Вовремя схватил свой кусок и держи, не отдавай. Все ступени карьеры — твои. И еще, — Махамадшер ткнул в свой рот. — Надо овладеть даром речи. Язык тебе уже дан — пусть работает, слушай...

Эти советы вызывали у Ганишера улыбку.

— Что же получается — любой продавший свою веру может...

— Оставь эти религиозные разговоры. До другого случая побереги, пригодятся. И не перебивай меня, сынок. Зелен еще. Жизнь — это бо-ольшая книга. Жаль, не смог с собой рядом водить тебя. Многому бы обучил. У матери твоей нечему учиться. Ей достаточно куска черного хлеба, глотка воды, и она будет довольна. Скажет, такова жизнь. Да еще работу ей нужно, чтоб не сидеть сложа руки. И приятное слово чтоб ей при этом говорили... Приятное слово для нее — все!

Лицо Ганишера осветилось:

— Да, это верно вы сказали. Многого она не требует. Главное — чтоб человек был добрый.

— А я что говорю? Этим своим характером она и завоевала уважение. Будет, будет еще и депутатом вместо

Шадмановой. Как раз таких и выдвигают. Могут и в Верховный Совет республики послать. И даже Союза. Поэтому что похвалишь — она и будет работать, пока не упадет. О себе не думает. А ты не лыком шит, сынок, далеко пойдешь, если не будешь хлопать ушами. Вот только я... — тут Махамадшер, должно быть, сильно огорчился и умолк, еще сильнее надвинув фуражку на лицо.

Х

Ганишер, оказывается, заснул. Очнулся, когда машина свирепо завизжала тормозами. Внизу постукивал мотоцикл, слышались голоса.

— Вам придется краснеть от стыда, вспомните еще мои слова! — слышался в темноте голос Махамадшера.

— Ради вас можно пойти и на это. Разворачивайте машину и гоните в отделение!

Этот голос Ганишер сразу узнал — их остановил на шоссе дядя Наркузи.

— Не знал, что вы такой упрямый, — пытался вывернуться Махамадшер.

— Уж какой есть...

— В полночь-то! Не мучайте людей! Соберу документы и приду утром...

— Сейчас поедem. Полезай в машину.

— Хоть вы и на хлебах у правительства...

— Отгадал! Договаривай! Да, гончая, и, похоже, не самая плохая. Взял след, кажется, а? Это видно, иначе ты бы так не шумел. В прошлый раз ты обставил меня. Теперь не выкрутишься. Поехали!

Машина остановилась во дворе городской милиции. Когда Ганишер, выпрыгнув из кузова, направился к воротам, Эсанбаев окликнул его:

— Куда?

А Ганишер и не собирался ничего скрывать от дяди Наркузи. Он просто считал, что между ним и возникшим недоразумением нет ничего общего.

— Куда же еще? — ответил он. — Домой!

— Нет, брат! Ты заодно с отцом. И сядешь вместе с ним. Вот сюда! — и Эсанбаев показал рукой в сторону подвала.

— ... И зачем это мне понадобилось спешить? Не спешил бы — сейчас сошел бы с поезда, явился бы домой. И не было бы никаких конфликтов, не сидел бы в подвале. Не вызывали бы на допрос.

Ганишер, говоря это, с улыбкой смотрел на мать. Сайлихан понимала: ему хотелось казаться беспечным.

— А что я тебе говорила? — Она боялась, как бы обвинение не прилипло к ее ребенку. — Эй, если возле казана ходить, сажа обязательно пристанет! А если поведешься с плохим человеком, наберешься от него той же самой заразы. Не послушался! Отцом стал называть, бегаешь к нему. Он тебя научит. . . — И, глядя прямо в глаза сыну, спросила: — За что его посадили?

Ганишер низко опустил голову:

— Откуда мне знать? Но отец, по-моему, показал им все накладные на груз, который он вез.

— Ну, а ты что сказал?

Ганишер пожал плечами.

— Только не лги матери. Может, и не знал точно, но ведь чувствовал? Так ведь?

Ганишер поморщился. Ему было неприятно слушать это.

— Ох, как бы его порода не заговорила в тебе. Ладно, защищай его, выгораживай. Только помни: будешь упираться, твердить «не знаю», все равно они во всем разберутся.

Сколько в это время разных чувств, совсем противоположных, сталкивались, боролись в ней. Сайлихан радовалась: братья нашли наконец друг друга, и старшего «аллах образумил» наконец, парень обещал навестить свою мать. Но в то же время она и горевала: «беда прицепилась как репей» к младшенькому, к Ганишеру. То светлела ее душа, как в солнечный день, то вдруг затягивало ее мраком. То и дело вспоминался ей Джалалхан, представлял перед ее взором. Смотрел на нее с упреком: не уберегла сына. . . Может быть, поэтому утром, когда входила в ворота «Ривожии», еще не успев прикоснуться к работе, казалась усталой, измученной.

— Сайли!

Это ее догнала сзади Карамат-ая. Остановились.

— Слыхала? С целой машиной вискозы попался Махамад-порум! — сказала мастерица Карамат, едва по-

здоровавшись. — Вай, зачем же вы сына своего допустили к ним?

И без того Сайлихан не знала куда деться. А упрек Карамат-ая прямо ее доконал. А Карамат словно ничего не заметила, заговорила о встрече с избирателями, о том дне, когда Сайлихан первый раз оказалась на трибуне.

— Видите, критика, невзирая на лица, не прошла даром. Доказательства требовали, язвы их в душу! Вот вам и доказательства!

«Невзирая...» Да, получилось именно так. Ведь все подозревали, что Давлатов и Махамадшер нечисты на руку, что Шадманова им потворствует. Боялись обидеть! И сама она — как ей не хотелось ронять честь этой женщины. Рассуждала: «Тупахон одна из первых женщин вступила в партию, одна из первых в Маргелане сбросила паранджу. Получила образование, грамотная женщина! Деятель!» А про Давлатова какая шла молва! Только и говорили: щедрый человек, широкая душа, всегда, кто ни приди, дастархан расстелет. Может, его хлеб-соль и закрывали людям рот, не давали сказать правду?

А между тем милиция не дремала. У Давлатовых даже в стенах нашли сокровища, обнаружались мешки денег, драгоценности. Подпольный миллионер! — вот какие слова стали слышны среди молодых. А верующие старики, те смотрели на все иначе: «Мечети он пожертвовал такие ковры! Не повезло бедняге!» Сайлихан хорошо помнит некоторые встречи с этим Довулбеком. Был случай — еще во время войны. Она задержалась на работе, хотела закончить свое дело. А Давлатов вдруг подошел сзади и обнял. Зло взяло, изо всей силы оттолкнула, тот так и отлетел. «Женатый человек! Детей своих хоть постыдились бы!» — начала было она его костить. Да разве он знает, что такое стыд? Однажды опять полез. На этот раз она не стала стесняться, рванула его за усы. «Вот это я сохраню! — сказала, поднеся к самому его носу пучок седых и крашенных волос. — Если еще будете приставать, всем это покажу, даже вашей жене!» Только после этого случая стал побаиваться. Теперь, когда сталкивались нос к носу, он с наигранной обходительностью улыбался. Однако обиды, которые он нанес таким же вдовам, как и она сама, продолжали мучить ее. Вот и, слава аллаху, настало время, возьмет свое справедливость!

Удивлял ее Махамадшер. Первый раз, когда он оказался в тюрьме, пригрозил ей: «Это твой длинный язык,

твоя работа. Ничего, я тебя еще проучу». И правда, когда вернулся, пробовал ведь «проучить». Потом отстал. А тут вдруг открылось новое. Стал твердить: «Давай помирился». Что это с ним? Какая цель? Решил добром искупить старые грехи? Или связать хочет, так, что назад хода не будет?.. Вот опять из-под стражи прислал письмо: «У меня на свете нет людей ближе, чем вы. Загляните разок...»

Она не пошла. А вот Ганишер собрался.

— Плохой он или хороший, вор или нет, все равно отец мне. Даже нищего, если постучится в дверь, мы не отпускаем с пустыми руками! — И пошел...

Как только вошел в комнату для свиданий с заключенными, тут же из дальней двери ввели Махамадшера. Тот ускорил шаги, бросился сыну на шею. Всхлипывал, но слез не было. Никогда прежде Ганишер не видел отца таким.

— Спасибо, — шептал Махамадшер, обнимая его. — Я боялся, что мать не пустит тебя.

— За что спасибо? Даже чужие люди приходят на свидание!

— Спасибо, спасибо тебе. Те, кто окружают тебя в хорошие дни, сразу исчезают, как только тебе свалится что-нибудь на голову. Ах, сынок, не зря говорят: чужим ты нужен, когда катаешься в масле. А родным — когда глотаешь кровь. Ты мне вернул жизнь своим приходом...

Ганишер опустил глаза. «Он не охрип, случайно? Почему шепчет?» Однако Махамадшер не был похож на больного. Только сгорбился слегка, а в остальном — такой же, как всегда. В том же коломянковом кителе, в брюках галифе. И те же на ногах брезентовые сапоги.

— Не думай обо мне плохо, сынок. Не надо. Единственная моя вина — жить хотел хорошо. Хозяйство хотел завести, чтоб ни от кого не зависеть. Так это же любой, кого ни спроси, жить хочет. Или, может, я не прав? А что касается урона, который мы будто бы нанесли государству, все это выдумка, ни копейки мы не украли. Наоборот! Атлас берут нарасхват. Мы старались, чтобы досталось всем. Ну, пусть ушло вискозы чуть больше или чуть меньше — какая разница? Покупателя не это заботит. Ему давай добротный многоцветный маргеланский атлас. Не смотри, не смотри на меня так. Пойми, мы внесли маленькое изменение в технологию, только и всего. Малая доля шелка экономится, вместо

нее добавляется вискоза. Одного не учли: делали это без разрешения, тайно — потому только и сочли за преступление. А теперь эта тайна уже не тайна. А завтра наша технологическая новинка широко пойдет в промышленности. Тогда и ты будешь говорить то, что я тебе сейчас сказал. То, что сегодня считают преступлением, завтра будет изобретением. И потом: для чего делается искусственный шелк, который называют вискозой? Для чего, если не для того, чтобы использовать как шелк? Если будет спрос, завтра не то что добавлять вискозу в шелк — из одной вискозы будут гнать атлас! Дядя Довулбек, скажу я тебе, оч-чень знающий! свое дело человек. Собственная мудрость подвела его... Могут и расстрелять. Но дело его будет жить...

Ганишер усмехнулся:

— По-вашему, мошенничество... вечно?

— Ах, дурачок. Молод, молод еще. Поживешь еще, увидишь сам. Вспомни тогда, кто тебе говорил эти слова.

Увидев, что единственный стол в комнате освободился, Махамадшер потащил сына туда. Садясь за стол, прошептал:

— Мой новый дом — твой, помни. Я сказал, что построил его на те деньги, что ты получил за изобретение. Смотри не забудь. Дом твой. Для тебя строил. Думал, женю тебя, поселишь свою невесту в этом доме. Жалко вот, ухожу. Может, и не придется свидеться... Возраст уже приличный. Вернусь оттуда живым или нет, один бог знает. Рабу этого знать не дано.

Упоминает бога... Раньше у него не было такой привычки. Выступал с речами, приложив руку к груди: «Здесь бьется большевистское сердце». Странной показалась Ганишеру эта неожиданная перемена.

— Я очень переживаю... Не смог оставить тебе что-нибудь получше. Но и дом... — Он испуганно огляделся и, вытянув шею, негромко зачистил: — Будут допрашивать, стой на своем. Дом построен на твои деньги. Ладно? А то ведь конфискуют...

Но тут же, пристально посмотрев, махнул рукой. Недотепа его сын, никак не поумнеет. Ведь так просто можно отделаться! И дом в руках останется. Голова и язык, пусти их в ход — и жизнь обеспечена. Какая жизнь! Нет, ребенок еще, ребенок...

— Ну что ты переживаешь! Поздно! От переживания никакого толку. Ты учти это. От матери такого совета не дождешься. Там честность, честность и только

честность. И все вокруг тоже у нее честные. Как она сама. Но разве у тебя все пять пальцев одинаковые? Смотри! — он растопырил пятерню с отмороженными кривыми пальцами. — Видишь? И люди такие же. Один умный, другой дурачок. Третий — теленок. А этот вот за что ухватится — вырвет с корнем. Сколько ни говори «халва», во рту не станет слаще. Сколько ни тверди «советский человек», все равно все они разные, и вовсе не обязательно, чтоб все были понимающие, честные и трудолюбивые. И другие найдутся. Вот хорошо есть, пить, одеваться — это хотят все. И недотепы, лежа в постели, мечтают о дворцах. Такое разнообразие, скажу тебе, найдешь везде, куда ни глянешь... Я с первого взгляда определяю такого! По тому, как дышит, определяю...

Махамадшер огорченно вздохнул. После долгого молчания печально прошептал:

— Как увижу, бывало, тебя, всегда радуюсь. Думаю, вот под чьей крышей проведу остаток жизни. Не думай, когда состарюсь, обузой для вас не буду. Во всяком случае, как нужно жить в наше время, я знаю лучше, чем вы. И дом построил, чтоб жить вместе в покое и достатке...

Дальняя дверь приоткрылась. Вошел военный с наганом в расстегнутой кобуре.

— Время окончилось!

Махамадшер побледнел.

— Ты не забудешь, что я говорил? — Он взял со стола сетку с передачей. Обнял было сына, но тут же тихо отстранился. Печально посмотрел на желтую сетку в руке. — Запомни, кроме вас, никого у меня больше нет...

Когда дверь за ним закрывалась, Ганишер еще раз почувствовал на себе пристальный тоскливый взгляд отца. Сам не заметил, как оказался на улице. Голова гудела. Солнце давно зашло, были первые сумерки. Над плоскими крышами тянулись к небу струйки дыма. От накалившейся за день каменной мостовой поднимался горячий пыльный воздух.

Открыв ворота, Ганишер увидел на айване свет. Но матери там не было. Еле хватило сил подняться по ступенькам. Так и рухнул на курпачу, даже туфли снимать не стал. Всю дорогу преследовали его глаза отца. «В тюрьме пройдет вся жизнь», — не покидала мысль.

Из кухни вышла Сайлихан. Протянула ему большую касу с шурпой. Давно уже не ел ничего, но есть не хотелось.

— Мама, — сказал Ганишер, не поднимая головы, лениво шаря ложкой в шурпе. — Почему вы так не любите папу?

Сайлихан уже сидела за дастарханом. Разломив лепешку, замерла. Долго смотрела на сына.

— Жалко стало?

— Постарел он, — Ганишер, положив ложку, поднял голову. — Оказывается, новый дом он построил для нас...

В голосе сына Сайлихан услышала что-то, похожее на радость. Испугалась. Да, она уже давно замечала у них обоих некоторые общие черты. Только бы характер не оказался похожим, молила она.

— И на допросе он заявил, что дом строился на деньги, полученные за мое изобретение.

— Ладно, он сказал так. А ты как скажешь?

Не выдержав взгляда матери, Ганишер опять опустил глаза и уронил ложку в шурпу. Долго молчал, чему-то грустно усмехнулся. Потом нерешительно заговорил:

— Я понимаю, вы его ненавидите... А вот он вас... Он о вас совсем другое говорит... Честной женщиной вас назвал, — тут Ганишер заторопился, словно боялся, как бы мать не ударила его по губам; — И мною доволен... Изобретение хорошее, говорит. И еще... Еще говорит, когда состарюсь, хотел бы с вами жить. Вместе...

— А-а... — протянула Сайлихан.

Ему показалось, что мать задумалась. Подумал: «И она жалеет...» На самом же деле Сайлихан только сейчас поняла, почему Махамадшер так хочет примириться с ними, несмотря на ее отказ. Верно, Ганишер его сын. Хоть и женился несколько раз, других детей у Махамадшера не было. Понял, наверно, что их и не будет больше, — возраст ведь приличный. Значит, Ганишер — вся его надежда. И, конечно, «дефицитных» своих делишек не бросит. Только надеется прикрывать их за спиной двух уважаемых в «Ривожии» членов семьи. Ведь сама Сайли долго и честно работала в артели, ее имя все знают. И Ганишер уже успел заявить о себе. А Махамадшер — о чем, кроме собственного брюха, может он думать? Теленок всегда бежит к сараю с сеном...

Устало вздохнув, Сайлихан покачала головой. Тихо спросила:

— Что ты теперь собираешься делать?

Ганишер сразу все понял. Однако ответа не нашел, пожал плечами.

Перед ним ярко белел красавец дом, отделанный сна-

ружи и внутри алебастром. Окна его блестели, словно поверхность тихого озера. Жить в таком доме! Даже в горле пересохло. Но голос матери пробудил его, заставил насторожиться:

— Как веревочке ни виться, конец все равно придет. Кривда раскрывается и через сорок лет, — серьезно сказала она. — Если бы Махамадшер построил свой дом на честно заработанные деньги, зачем ему прятаться за тебя? Раз соврал, значит, украл. В чужой, в народный карман залез! Неужели до сих пор не понимаешь?

Ганишер молчал. Потом глянул исподлобья:

— Что бы он ни сделал, все равно отец. Жалко его... Говорит: «Кому охота плохо жить?»

Ничего не сказав, Сайлихан стала собирать посуду. Ганишер почувствовал: мать обиделась. По курпаче перекатился к ней, обнял за шею.

— Отец твой правильно сказал. Все хотят жить, — сурово проговорила она. — И те фашисты, что напали на нас... Убивали, жгли... И твой отчим... Ты раньше не знал, что он не родной тебе. Джалалхан — он тоже хотел жить... И мы с тобой хотели и хотим... он и за нас отдал жизнь...

— Ма-ама! Я же не маленький, понимаю!

— Ничего ты не понимаешь. Ведешь себя как маленький — это точно. Увидел чужой дом, и он потряс твоё воображение! Потом посмотрел на наш старый глинобитный дом — и расстроился! Совсем забыл разницу между совестью и подлостью!

— Ма-ама!..

— Что — «мама»? — Сайлихан резко сбросила руки Ганишера со своей шеи. «Кем он станет? Кем?»

Всю ночь до рассвета она советовалась с Джалалханом. И еще думала: жаль, что далеко от них старший сын. Уктам бы помог.

Утром, причесываясь, заметила: седины в волосах прибавилось. Посматривала на Ганишера. Тот что-то затих, молча заваривал чай. Сам и налил матери, поднес пиалу. Посмотрел со значительной, особенной улыбкой.

Ах, вот в чем дело. Длинная, черная чашка тихо плескалась посередине пиалы. Стояла прямо, предвещая чье-то скорое прибытие. Не тот ли появится наконец, кого так долго, всю жизнь искала?

Не отводя засветившегося взгляда от этой чашки, Сайли прошептала:

— Гость будет!..

Суннатулла Анарбаев

САЙЛИ

М., «Советский писатель», 1986, 248 стр.

План выпуска 1986 г. № 351

Редактор Э. О. Амитов

Худож. редактор А. С. Томилин

Техн. редакторы С. Л. Шереметьева и Г. В. Белькова

Корректор Г. И. Иванова

ИБ № 5578

Сдано в набор 19.04.86. Подписано к печати 24.10.86. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 13,02.
Уч.-изд. л. 14,10. Тираж 30 000 экз. Заказ № 237. Цена 95 коп. Ордена
Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Во-
ровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография
№ 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная
ул., 1/3